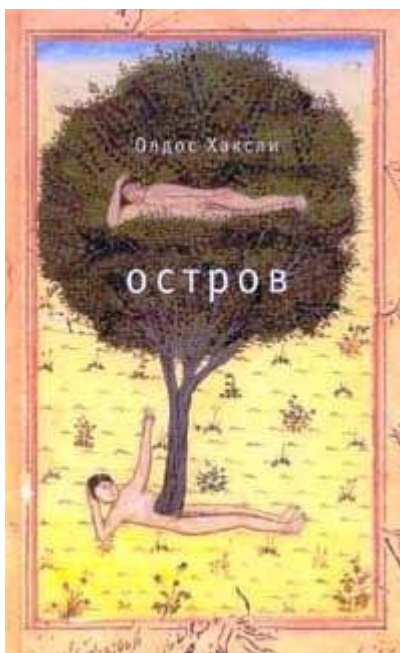


Олдос Хаксли Остров



«Хаксли Олдос. «Остров»»: Академический проект; СПб; 2000

ISBN 5-7331-0207-1

Оригинал: Aldous Leonard Huxley, "Island"

Перевод: С. Шик

Аннотация

Если в своей знаменитой антиутопии «Прекрасный новый мир» (1932) классик современной английской литературы рисует жуткий образ грядущего, где предельная рационализация жизни приводит не только к материальному прогрессу, но и к духовному одичанию людей, то в последнем своем романе «Остров» (1962) писатель ищет выход из духовного тупика в обращении к буддистским и индуистским учениям. На вымышленном острове Пала люди живут свободно и счастливо, не прибегая к рецептам западной цивилизации. Глубокое философское содержание сочетается в романе с острым авантурным сюжетом.

Олдос Хаксли ОСТРОВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

– Внимание, – раздался голос, тонкий и гнусавый, будто гобой заговорил. – Внимание, – прозвучало вновь с той же монотонностью.

Уилл Фарнеби, простертый, как мертвец, в сухой листве, со спутанными волосами и грязным лицом в кровоподтеках, в разодранной, испачканной одежде, неожиданно вздрогнул и проснулся. Молли звала его. Пора вставать, одеваться. Необходимо успеть на службу.

– Спасибо, дорогая, – сказал он и сел. Острая боль пронзила правое колено; болели спина, руки, голова.

– Внимание, – настойчиво требовал голос, не меняя тона. Опершись на локоть, Уилл осмотрелся и с удивлением увидел не серые обои и желтые занавески своей лондонской спальни, но лесную поляну, длинные тени деревьев и косые лучи утреннего солнца. «Внимание»? Почему она говорит: «Внимание»?

– Внимание. Внимание. – Голос не умолкал, чужой и бесстрастный.

– Молли? – переспросил Уилл. – Молли?

Имя это словно бы приоткрыло оконце в его памяти. Внезапно вернулось чувство вины, засосало под ложечкой, и он ощутил запах формальдегида, увидел проворную сиделку, торопящуюся впереди него по коридору с зелеными стенами, и услышал четкое шуршание ее накрахмаленного халата. «Пятьдесят пятая», – сказала сиделка, остановилась и толкнула белую дверь. Уилл вошел: там, на высокой белой кровати, была Молли. Бинты закрывали ей пол-лица; открытый рот зиял, будто яма.

– Молли, – позвал он надтреснутым голосом, – Молли... – Теперь он готов был плакать, заклинать. – Моя дорогая!..

Она не откликнулась; только хриплое дыхание вырвалось из зияющего рта, – частое, неглубокое...

– Дорогая моя, дорогая...

Вдруг ее рука, в руке Уилла, ожила на миг и вновь замерла.

– Это я, – сказал он. – Я, Уилл...

Пальцы опять шевельнулись. Медленно – наверное, это стоило огромных усилий – они согнулись, сжали ему руку и снова безжизненно застыли.

– Внимание, – позвал странный голос. – Внимание.

Несчастный случай, поторопился убедить себя Уилл.

Мокрая дорога, машину занесло на белую полосу. Подобные происшествия не редкость. Не сам ли он сообщал в газетах о десятках аварий. «Мать и трое детей погибли при лобовом столкновении...» Но не в этом дело, нет. Было так: она спросила – правда ли, между ними все кончено, и он ответил – да. Менее чем через час после этого позорного ответа (Молли сразу же ушла, и как нарочно лил дождь) ее доставили, умирающую, в больницу.

Уилл не смотрел на Молли, когда она уходила. Не смел смотреть. Вновь увидеть это бледное, страдающее лицо было выше его сил. Молли поднялась со стула и медленно вышла из комнаты; вышла из его жизни. Отчего он не окликнул ее, не попросил прощения, не заверил, что по-прежнему любит? Но любил ли он ее когда-нибудь? В сотый раз говорящий гобой призвал ко вниманию. Да, любил ли он ее?

– До свидания, Уилл, – вспомнил он ее прощальные слова. Ведь это она сказала ему – тихо, из глубины сердца: – Я все еще люблю тебя, Уилл, несмотря ни на что.

Дверь квартиры закрылась за ней почти беззвучно. Сухой щелчок замка, и она ушла.

Уилл бросился к входной двери, распахнул ее и услышал удаляющиеся вниз по лестнице шаги. Слабый аромат духов таял в воздухе, будто призрак после первого крика петуха. Уилл закрыл дверь, вернулся в серо-желтую спальню и посмотрел в окно. Вскоре он увидел, как Молли прошла по тротуару и села в машину. Заскрежетал стартер – еще и еще раз, и наконец заработал мотор. Почему Уилл не открыл окно? «Молли! Молли! Остановись!» – казалось, он слышал свой голос, и все же окно оставалось закрытым. Машина тронулась и свернула за угол; улица опустела. Опоздал. Хвала Господу, опоздал! – повторил кто-то насмешливо и развязно. Да, слава Богу! И вновь с ощущением вины засосало под ложечкой. Он виноват, его гложет раскаяние – и все же, как это ни чудовищно, Уилл чувствовал радость. Некто подлый, похотливый, безжалостный, чужой и ненавистный – но разве это не он сам? – радуется, что теперь ничто не помешает исполнению его желаний. А желает он вот чего: вдыхать аромат других духов и ощущать тепло и упругость более юного тела.

– Внимание! – напомнил гобой. Да, внимание. К мускусной спальне Бэбз с землянично-розовым альковом и двумя окнами, выходящими на Чаринг Кросс Роуд, в которые всю ночь, с противоположной стороны улицы, светило мерцающее пламя огромной рекламы джина

Портера. Джин озарялся царственным пурпуром – и на десять секунд альков превращался в Сакре-Кёр; дивные десять секунд лицо Бэбз пылало рядом с его лицом – огненное, как серафим, и словно преображенное пламенем любви. Затем наступала глубокая тьма. Один, два, три, четыре... Господи, если бы так длилось вечно! Но неизбежно на счет «десять» электронные часы открывали новый мир – мир смерти и Вселенского Ужаса, ибо освещение теперь было зеленым, и на десять секунд розовеющий альков превращался в могилу с тленом, да и тело Бэбз на ложе приобретало трупный оттенок – мертвец, гальванизированный приступом посмертной эпилепсии. Когда джин Портера рекламировался в зеленом цвете, трудно было забывать о том, что случилось. Оставалось только зажмурить глаза и как можно глубже нырять в другой мир – мир чувственности, погружаться неистово и увлеченно в странные безумства, от которых Молли – Молли («Внимание») в бинтах, Молли в склизкой могиле на Хайгетском кладбище (да, на Хайгетском кладбище – вот почему надо было закрывать глаза всякий раз, когда зеленоватый свет придавал трупный оттенок ногте Бэбз) – всегда была далека. Да и не только Молли. Мысленным взором он увидел и свою мать – бледную, как камень, с лицом, одухотворенным перенесенными муками, и руками, изуродованными артритом. А позади нее – стоящую за креслом-каталкой располневшую, дрожащую, как студень, сестрицу Мод, обуреваемую чувствами, которые так и не получили своего выхода в супружеской любви.

– Как ты мог, Уилл?

– Да, как ты мог! – слезливо отозвалась Мод вибрирующим контральто.

Ему нечего ответить. Нечего ответить, ведь что бы он ни сказал этим мученицам – матери с ее несчастным браком, сестре с ее набожной любовью к родителям, они навряд ли поймут. Ибо ответ можно выразить только в точных до неприличия словах, непозволительно откровенных. Почему он так поступил? Да потому, что такова была насущная необходимость... потому что Бэбз, видите ли, имела, в физическом смысле, некоторые преимущества, и в определенные моменты делала то, чего Молли и вообразить не могла. После долгого молчания странный голос вновь принялся повторять:

– Внимание. Внимание.

Внимание к Молли, внимание к Мод и матушке, внимание к Бэбз. Внезапно иное воспоминание возникло из туманной путаницы. Новый гость под сенью землянично-розового алькова, и тело его владелицы, содрогающееся в экстазе от новых ласк. Чувство вины и сосание под ложечкой сменились болью в сердце, стало трудно дышать.

– Внимание.

Голос прозвучал ближе, откуда-то справа. Уилл повернул голову и попытался приподняться, но рука, на которую он оперся, задрожала, ослабла, и он опять повалился в листву. Он слишком устал, чтобы и дальше предаваться воспоминаниям, и потому лежал, глядя сквозь полуприкрытые веки на непостижимый мир вокруг. Где он, и почему он здесь? Хотя какое это имеет значение? Боль, непреодолимая слабость – вот что теперь важнее всего. И все же, если посмотреть на все глазами исследователя...

Например, дерево, под которым он сейчас почему-то лежит, с огромным серым стволом и шатром ветвей в пятнах солнечного света, – наверное, это бук. Но в таком случае (Уилл был восхищен своей логичностью) – в таком случае, почему у него настолько мощная, очевидно вечнозеленая листва? И почему он растет, опираясь на корни, располагающиеся над землей? И эти несуразные одеревенелые подпорки, на которых держится псевдо-бук, – где бы они могли вписаться в картину? Вдруг ему припомнилась любимая из поэтических строк: «Ты спросишь: кто поддержит разум мой?» Ответ: сгустившаяся эктоплазма, ранний Дали. Что исключает Чилтерн. Бабочки порхали в маслянистой толще солнечного света. Отчего они так огромны, и крылышки их невообразимо голубые или бархатно-траурные, броско расцветенные глазками и пятнами? Пурпур оттенен каштановым, изумруды, топазы, сапфиры припудрены серебром...

– Внимание.

– Кто здесь? – Уилл Фарнеби попытался спросить громко и внушительно, но

послышался только жидкий, прерывистый хрип.

Наступило долгое и, как ему показалось, угрожающее молчание. Из норы меж двумя корнями-подпорками выползла большая черная сороконожка и сразу же заторопилась прочь: пурпурный полк ее ножек пришел в движение, и насекомое исчезло в расселине, покрытой лишайником эктоплазмы.

– Кто здесь? – снова прохрипел Уилл.

Слева в кустах зашуршало, и вдруг, как игрушка из часов в детской, оттуда выскочила крупная черная птица, величиной с галку, – но стоит ли говорить, что это была не галка. Птица сложила крылья с белыми концами и, метнувшись через прогалину, опустилась на нижнюю ветку высохшего дерева, примерно в двадцати футах от Уилла. Клюв птицы был оранжевый, и под каждым глазом находилась желтая проплешина; сережки окантовывали голову птицы толстой складкой, напоминая парик. Птица вздернула голову и посмотрела на Уилла сначала правым, а потом левым глазом. Приоткрыв оранжевый клюв, она насвистела арию из десяти-двенадцати нот пентатонического лада, издала звук, напоминающий иканье, и, на мотив до-до-соль-до, пропела:

– Здесь и теперь, друзья, здесь и теперь.

Слова эти нажали на некий спусковой крючок: внезапно Уилл все вспомнил. Он находился на Пале, запретном острове, где не бывал еще ни один журналист. Сегодня, очевидно, второй день, с тех пор как он, самонадеянный глупец, в одиночку пустился в плавание из гавани Рендан-Лобо. Уилл вспомнил все: белый парус, выгибающийся на ветру, будто лепесток огромной магнолии, вода, шипящая у носа яхты, сверкание алмазов на гребнях волн, морская гладь, зеленоватая, как нефрит. А дальше к востоку, через пролив, – что за облака, что за чудеса скульптурной белизны над вулканами Палы. Сидя за румпелем, Уилл, неожиданно для самого себя, запел в порыве невероятного, ничем не замутненного счастья.

– «Трое, трое было соперников; двое, осталось двое белокожих, как лилия, одетых – о! – во все зеленое; а потом один – совсем один»...

Вот и он был совершенно один. Один на огромном драгоценном камне морской пучины. «И так будет всегда».

И вдруг случилось то, о чем предупреждали опытные яхтсмены. Невесть откуда налетел черный шквал, и началось беснование ветра, ливня и волн...

– Здесь и теперь, друзья, – пела птица, – здесь и теперь.

Удивительно, что он оказался здесь, подумал Уилл, здесь, под деревьями, а не на дне пролива Палы, или, что еще хуже, разбившийся насмерть у подножия утесов. Но даже когда он, что было несомненным чудом, ухитрился провести свое тонущее судно через буруны и пристать к единственной отлогой полоске посреди многих миль неприступных скал, – даже тогда злключения не закончились. Над Уиллом нависали утесы, но от бухты тянулось продолговатое ущелье, по которому, с уступа на уступ, плечатыми водопадами сбегал ручей; там же, окруженные серыми известковыми стенами, росли деревья и кустарник.

Шесть или семь сотен футов он карабкался в теннисных туфлях по камням, скользким от воды. И – о, Боже! – змеи!.. Черная змея обвилась вокруг ветки, за которую он хотел ухватиться. Несколько позже Уилл чуть было не шагнул на огромную черную гадину, свернувшуюся кольцами на самом краю уступа. Ужас следовал за ужасом. Увидев змею, Уилл вздрогнул, отдернул ногу – и потерял равновесие. В течение бесконечно долгого мига он, испытывая тошнотворный страх, с чудовищным сознанием конца балансировал на самом краю обрыва, и затем упал. Гибель, гибель, гибель. Услышав треск сучьев, Уилл понял, что запутался в ветвях невысокого дерева; лицо его исцарапалось, колено было ушиблено и кровоточило, и все же он остался жив. Вновь Уилл предпринял мучительное восхождение. Боль в колене была нестерпима, но он упорно продолжал подъем. Выбора у него не было. И затем свет стал меркнуть. Уилл карабкался во тьме, почти наугад, побуждаемый отчаянием.

– Здесь и теперь, друзья, – повторяла птица.

Но Уилл Фарнеби был не здесь и не теперь. Он был там, на скалах; он переживал

ужасный миг падения. Сухая листва шуршала под ним; его била дрожь. Не в силах справиться с собой, Уилл дрожал всем телом.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вдруг птица перестала скандировать и издала пронзительный визг.

– Минах! – прозвучал звонкий человеческий голос, добавив еще несколько слов на незнакомом Уиллу языке.

Послышался шорох шагов. Кто-то предупреждающе вскрикнул, и наступила тишина. Уилл открыл глаза и увидел двоих детей, изысканно-красивых, которые смотрели на него как зачарованные широко открытыми от изумления и ужаса глазами. Младший был крошечный мальчик лет пяти-шести, в зеленой набедренной повязке. Рядом с ним, держа на голове корзину с фруктами, стояла девочка лет десяти. На ней была длинная, едва ли не до лодыжек, красная юбка, но выше талии ничего не было надето. Кожа ее, озаренная солнцем, блестела будто медь, отливая розовым. Уилл смотрел на детей. Красота их была совершенна, изящество безупречно! Они походили на двух чистокровок. Крепыш с лицом херувима – таким был мальчик. Девочка была иного рода – с точеной фигуркой, узким, строгим личиком, обрамленным черными косами.

Вновь раздался визг. Птица, сидя на высохшем дереве, будто на насесте, вертелась и так и сяк и потом ринулась вниз. Девочка, не сводя глаз с Уилла, протянула к ней руку. Птица забила крыльями, уселась, затрепыхалась, удерживая равновесие, и наконец, сложив крылья, принялась икать. Уилл смотрел не удивляясь. Теперь все возможно. Даже говорящие птицы, сидящие на пальце у ребенка. Уилл попытался улыбнуться, но губы все еще дрожали, и вместо дружеской улыбки получилась страшная гримаса. Мальчик спрятался за сестру.

Птица прекратила икать и повторила слово, непонятное Уиллу: «Руна» – так, кажется? Нет, «Каруна». Да, точно: «Каруна».

Подняв дрожащую руку, Уилл указал на круглую корзину с фруктами. Там были манго, бананы... Его пересохший рот увлажнился слюной.

– Я голоден, – сказал он. Подумав, что в этих странных обстоятельствах его поймут лучше, если он будет изъясняться, как китайцы в мюзиклах, Уилл выдал из себя: – Я очень голоден.

– Ты хочешь есть? – спросила девочка на безупречном английском.

– Да, есть, – повторил он. – Есть.

– Лети прочь, минах! – девочка тряхнула рукой. Птица, недовольно заверещав, вернулась на прежний насест.

Подняв руки плавным, будто в танце, жестом, девочка сняла с головы корзину и поставила ее на землю. Выбрав банан, она с сочувствием, хотя и не без страха, предложила незнакомцу. Мальчик остерегающе вскрикнул и схватил сестру за юбку. Девочка, успокоив малыша, встала с безопасного расстояния показала Уиллу банан.

– Хочешь? – спросила она.

Продолжая трястись, Уилл протянул руку. Девочка осторожно шагнула вперед – но вдруг замерла и, прищурившись, испытующе глянула на Уилла.

– Скорее, – мучимый нетерпением, сказал он. Но девочка не торопилась. С опаской глядя на его ладонь, она наклонилась вперед и осторожно протянула руку.

– Ради бога! – заклинал Уилл.

– Ради бога? – с неожиданным интересом переспросила девочка. – Которого из них? Ведь богов так много.

– Ради любого, кто тебе по нраву.

– Мне ни один из них не нравится, – ответила девочка. – Я люблю только Сочувствующего.

– Так прояви же сочувствие, – взмолился Уилл. – Дай мне этот банан.

Настроение девочки переменялось.

– Прости, – сказала она. Выпрямившись во весь рост, она стремительно шагнула вперед и вложила банан в его дрожащую руку.

– Вот, – сказала она и отпрыгнула, словно крохотный зверек, избежавший ловушки.

Мальчик громко засмеялся и захлопал в ладоши. Девочка обернулась к брату и сказала несколько слов на непонятном языке. Мальчик кивнул круглой головкой: «О'кей, босс», – и затрусил прочь, сквозь занавесь из голубых и зеленовато-желтых бабочек в лесную тень на противоположной стороне поляны.

– Я велела Тому Кришне пойти и привести кого-нибудь, – пояснила девочка.

Уилл доел банан и попросил еще один, а потом третий. Голод был утолен, проснулось любопытство.

– Кто научил тебя так хорошо говорить по-английски? – спросил он.

– Все говорят по-английски, – ответила девочка.

– Все?

– Да, если не по-паланезийски.

Судя по всему, беседа не слишком ее занимала. Девочка отвернулась, взмахнула тонкой коричневой рукой и свистнула.

– Здесь и теперь, друзья, – повторила птица, вспорхнула с ветки высохшего дерева и села ей на плечо. Девочка очистила банан, две трети дала Уиллу. А остальное – минаху.

– Это твоя птица? – поинтересовался Уилл. Девочка покачала головой.

– Минахи, как электричество, не принадлежат никому в отдельности.

– Почему они говорят все это?

– Потому что их научили, – терпеливо ответила она. «Вот так тупица!» – подразумевал ее тон.

– Но почему именно это – «Внимание», «Здесь и теперь»?

– Ну... – Девочка подыскивала ответ, чтобы объяснить очевидное этому взрослому недоумку. – Ведь мы постоянно забываем о таких вещах. Забываем внимательно относиться к тому, что вокруг. А это и значит пребывать здесь и теперь.

– А минахи летают повсюду, напоминая нам эту истину, верно?

Девочка кивнула. Да, разумеется. Они помолчали.

– Как тебя зовут? – спросила девочка. Уилл представился.

– А меня зовут Мэри Сароджини Макфэйл.

– Макфэйл? – Это было просто невероятно.

– Макфэйл, – подтвердила она.

– А братца твоего зовут Том Кришна?

Девочка кивнула.

– Ну и ну, черт побери!

– Ты добрался до Палы на самолете?

– Нет, морем.

– У тебя есть лодка?

– Была.

Уилл в воображении увидел волны, разбивающиеся о врезавшийся в отмель корпус, и услышал треск от удара.

Девочка принялась расспрашивать, и Уилл рассказал ей все, что случилось, о том, как вдруг начался шторм и как удалось пристать к отлогому берегу, и об ужасах подъема на скалы – о змеях, о падении с обрыва... Вновь его стала бить дрожь – еще сильнее, чем прежде.

Мэри Сароджини слушала внимательно, не вставляя замечаний. Когда его сбивчивый рассказ наконец завершился, девочка приблизилась, с птицей на плече, и опустилась подле него на колени.

– Послушай, Уилл, – сказала она. – Давай-ка избавимся от этого.

Говорила она со знанием дела, спокойно и властно.

– Хотелось бы, но я не знаю как, – ответил Уилл, стуча зубами.

– Как? – переспросила девочка. – Так, как это всегда делается. Расскажи мне еще раз о змеях и о том, как ты упал с обрыва.

Уилл покачал головой.

– Не хочу.

– Конечно, не хочешь, – заметила она. – Но тебе обязательно надо это сделать. Послушай, что говорит минах.

– Здесь и теперь, друзья, – продолжала увещевать птица. – Здесь и теперь, друзья.

– А ты не сможешь быть здесь и теперь, пока не избавишься от змей. Говори.

– Нет, не хочу, не хочу. – Он готов был разрыдаться.

– Так ты никогда не освободишься от них. Они будут ползать у тебя в голове. И поделом тебе, – строго добавила Мэри Сароджини.

Уилл попытался унять дрожь, но тело отказывалось повиноваться. Властвовал кто-то другой – злобный и жестокий, – подвергая Уилла унижительным мучениям.

– Вспомни, как бывало, когда ты приходил к маме с ушибом или царапиной, – убеждала девочка. – Что говорила тебе мать?

Мать брала его на руки, приговаривая:

– Бедный малыш; бедный, бедный мой малыш.

– И она так поступала? – Девочка была потрясена. – Но ведь это ужасно! Переживание загоняется вовнутрь! «Бедный малыш», – насмешливо повторила девочка. – Эти слова останутся с тобой. Вместе с несчастьем, о котором они будут напоминать.

Уиллу Фарнеби нечего было ответить. Он лежал молча, сотрясаемый неукротимой дрожью.

– Что ж, если не хочешь сам, я сделаю это за тебя. Слушай, Уилл: там была змея, большая, огромная змея, и ты едва не наступил на нее. Едва не наступил, и так испугался, что потерял равновесие и упал. Скажи теперь это сам – говори!

– Я едва не наступил на нее, – послушно прошептал Уилл, – и потом я... – Он не мог продолжать. – Упал, – выдавил он наконец почти беззвучно.

Все пережитое вернулось: тошнотворный страх, судорожное движение, падение с обрыва и жуткая мысль о том, что это конец.

– Скажи снова.

– Я едва не наступил на нее. И потом... – Уилл услышал собственный всхлип.

– Хорошо, Уилл. Плачь – плачь!

Всхлипы перешли в рыдания. Устыдившись, Уилл стиснул зубы, и рыдания прекратились.

– Не сдерживайся! – воскликнула девочка. – Пусть это из тебя выйдет, если уж так получается. Вспомни змею, Уилл. Вспомни, как ты упал.

Вновь раздались рыдания, и Уилл затрясся еще сильнее, чем прежде.

– А теперь опять повтори, что случилось.

– Я видел ее глаза, видел, как она высовывает и снова втягивает язык.

– Да, ты видел ее язык. А что случилось потом?

– Потом я потерял равновесие и упал.

– Повтори это снова, Уилл.

Но он только всхлипывал.

– Повтори, – настаивала девочка.

– Я упал.

– Снова.

Слова эти раздирали ему душу, но он повторил:

– Я упал.

– Снова, Уилл. – Она была неумолима. – Снова.

– Я упал, упал, упал.

Всхлипы постепенно затихали. Говорить стало значительно легче, и воспоминания были уже не столь мучительны.

- Я упал, – повторил он в сотый раз.
- Но не расшибся.
- Да, не расшибся, – согласился он.
- Тогда к чему весь этот переполох?

В голосе ее не было ни злорадства, ни насмешки, ни тени презрения. Она просто, без обиняков, спросила его, надеясь услышать такой же простой незамысловатый ответ.

Верно, к чему этот переполох? Змея его не ужалила, он не сломал себе шею. К тому же, все это случилось вчера. А сегодня вокруг огромные бабочки, птица, призывающая к вниманию, и это странное дитя, которое рассуждает, как голландский дядюшка, хотя похоже на духа-вестника из неведомой мифологии, и, живя в пяти милях от экватора, носит фамилию Макфэйл. Уилл Фарнеби громко рассмеялся.

Девочка захлопала в ладоши и тоже засмеялась. К ним присоединилась птица, которая разразилась демоническим хохотом, наполнившим поляну и эхом отражавшимся от деревьев; казалось, сама вселенная покатывалась со смеху, потешаясь над нелепой шуткой бытия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- Рад вашему веселью, – послышался вдруг чей-то низкий голос.

Уилл Фарнеби обернулся: над ним, улыбаясь, склонился маленький сухощавый мужчина в европейском костюме, с черным саквояжем в руке. На вид ему было около шестидесяти. Густые седые волосы выбивались из-под широкополой соломенной шляпы, нос отличался внушительными размерами. Глаза казались невероятно голубыми на смуглом лице.

- Дедушка! – воскликнула Мэри Сароджини. Незнакомец взглянул на девочку.

– Что вас так рассмешило? – спросил он. Мэри Сароджини ответила не сразу, собираясь с мыслями.

– Вчера он плыл в лодке, – сказала она. – Вдруг налетел шторм, и лодка разбилась. Он стал карабкаться по скалам, а там водятся змеи. Он испугался и сорвался вниз – но, к счастью, свалился на дерево. От испуга он очень сильно дрожал. Я дала ему бананов и заставила рассказывать – опять и опять. И тогда он понял. Что ничего особенного не случилось. Стоит ли волноваться, если все уже позади. Вот он и засмеялся, и я засмеялась тоже. И минах, слушая нас, стал хохотать.

– Замечательно, – с одобрением заметил дедушка. – А теперь, – обратился он к Уиллу Фарнеби, – после того как оказана первая психологическая помощь, поглядим, что приключилось с бедным братом Ослом. Между прочим, меня зовут доктор Роберт Макфэйл. А вас?

– Его зовут Уилл, – вмешалась девочка, прежде чем молодой человек успел ответить, – и фамилия его: Фар – что-то там такое.

– Фарнеби, вернее говоря. Уильям Асквит Фарнеби. Вы уже, наверное, догадались, что мой отец был ревностным либералом. Даже когда напивался. То есть, особенно когда напивался.

Уилл презрительно хохотнул. Смех его не вязался с тем ликующим, гомерическим весельем, которое переполняло его минуту назад.

- Вы не любили своего отца? – озабоченно поинтересовалась Мэри Сароджини.

– Не так горячо, как следовало бы, – ответил Уилл.

– А попросту это значит, – пояснил доктор Макфэйл, – что он своего отца ненавидел. Там такое не редкость, – вскользь добавил он. Присев на корточки, доктор принялся расстегивать замки саквояжа.

- Вы подданный нашей экс-империи, верно? – бросил он через плечо.

– Да, я родился в Блумсбери, – подтвердил Уилл.

- Принадлежите к высшим слоям общества, но не аристократ и не военный.

– Вы не ошиблись. Мой отец был адвокатом, писал статьи о политике. Разумеется, в свободное от употребления алкоголя время. Мать моя, как это ни странно, была дочерью архидиакона. Архидиакона, – повторил он и засмеялся тем же смехом, каким смеялся над тягой своего отца к спиртным напиткам.

Доктор Макфэйл мельком взглянул на Уилла и вновь занялся своим саквояжем.

– Когда вы так смеетесь, – заметил он с научной бесстрастностью, – ваше лицо становится крайне неприятным.

Захваченный врасплох, Уилл попытался отшутиться, дабы скрыть свое замешательство.

– На меня всегда смотреть противно.

– Неправда. Вас даже можно назвать красивым, в духе Бодлера. Когда вы не лааете, как гиена. Почему вы так неприятно смеетесь?

– Я журналист, – пояснил Уилл, – «наш специальный корреспондент». Путешествую по свету и сообщаю обо всех происходящих ужасах. Так что же может слышаться в моем смехе? Ку-ку? Тара-ра? Маркс-маркс?

Он опять засмеялся и пустил в ход одну из своих испытанных острот:

– Я человек, который не говорит в ответ «да».

– Мило, – сказал доктор Макфэйл, – очень мило. Но приступим к делу.

Достав из саквояжа ножницы, он принялся отрезать изодранную, в пятнах крови брючину, чтобы добраться до поврежденного колена.

Уилл Фарнеби смотрел на доктора и гадал, кем скорее можно назвать этого поразительного обитателя гор – шотландцем или паланезийцем? Насчет голубых глаз и выступающего носа не было сомнений. Но смуглая кожа, тонкие руки, изящество движений – все это, несомненно, происходило из краев, лежащих гораздо южнее реки Твид.

– Вы местный уроженец? – поинтересовался Уилл. Доктор утвердительно кивнул.

– Я родился в Шивапураме, в день похорон королевы Виктории.

В последний раз звякнули ножницы, и брючина соскользнула вниз, обнажив колено. Доктор Макфэйл бросил на него пристальный взгляд и изрек:

– Повреждено. Но, думаю, ничего серьезного. Сбегай-ка на станцию, – сказал он внучке, – и попроси Виджайю прийти сюда с одним из помощников. Скажи, чтобы захватили с собой носилки из лазарета.

Мэри Сароджини кивнула, без лишних слов вскочила на ноги и побежала через поляну.

Уилл поглядел ей вслед – красная юбка колыхалась на бегу, смуглая кожа отливала на солнце розоватым золотом.

– Какая у вас замечательная внучка, – сказал он доктору Макфэйлу.

– Это дочь моего старшего сына, – немного помолчав, ответил тот, – он погиб четыре месяца назад: несчастный случай в горах.

Уилл пробормотал слова сочувствия, и вновь наступило молчание. Доктор Макфэйл откупорил бутылку спирта и протер руки.

– Будет немного больно, – предупредил он, – но вы старайтесь слушать, что говорит птица.

Он махнул рукой в сторону высохшего дерева, где, расставшись с Мэри Сароджини, опять сидел минах.

– Внимательно вслушивайтесь в каждое слово: это отвлечет от неприятных ощущений.

Уилл Фарнеби прислушался. Минах вернулся к своей первой теме.

– Внимание, – призвал говорящий гобой, – внимание.

– Внимание к чему? – спросил Уилл в надежде получить более ясный ответ, нежели тот, что дала ему Мэри Сароджини.

– К вниманию, – ответил доктор Макфэйл.

– Внимание к вниманию?

– Да, разумеется.

– Внимание, – крик минаха прозвучал, словно ироническое подтверждение.

– И много у вас говорящих птиц?

– По всему острову, наверное, летает около тысячи. Это была идея старого раджи. Он думал, что от призывов люди станут лучше. Вполне возможно, но при чем тут бедняги минахи! К счастью, птицы не понимают наставлений. Даже если к ним обращается Франциск Ассизский. Подумать только – читать проповеди безупречнейшим дроздам, щеглам и пеночкам! Какая самонадеянность! Не лучше ли помолчать и послушать, чему учит птица? А теперь, – добавил доктор другим тоном, – прислушайтесь к тому, что скажет наш приятель с дерева. А мне нужно вычистить вот это.

– Внимание.

– Начинаю.

Молодой человек вздрогнул и закусил губу.

– Внимание. Внимание. Внимание.

Да, доктор сказал правду. Если слушать со вниманием, боль не так сильна.

– Внимание. Внимание...

– Как вам удалось взобраться на утес? – спросил доктор Макфэйл, готовя бинты. – Уму непостижимо.

Уилл попытался засмеяться.

– Вспомните, как начинается «Нигдея», – сказал он. – Мне повезло: провидение оказалось на моей стороне.

С дальнего конца поляны донеслись голоса. Уилл обернулся и увидел между деревьев Мэри Сароджини: красная юбка колыхалась с каждым шагом. Позади девочки, обнаженный по пояс, неся на плече бамбуковые шесты, обернутые парусиной, шел великан, напоминающий бронзовую статую; за ним едва поспевал темнокожий юноша в белых шортах.

– Это Виджайя Бхатахарья, – представил доктор Макфэйл бронзового великана, – мой ассистент.

– В больнице?

Доктор Макфэйл покачал головой.

– Я уже давно не практикую, – сказал он, – разве только в непредвиденных случаях. Мы с Виджайей работаем на Экспериментальной станции агрикультур. А Муруган Майлендра (он указал рукой на темнокожего юношу) работает у нас временно: он изучает почву и разведение растений.

Виджайя положил широкую ладонь на плечо своего спутника и легонько подтолкнул его вперед. Взглянув в красивое, угрюмое лицо, Уилл с удивлением узнал в юноше изысканно одетого баловня, которого он пять дней назад встретил в Рендан-Лобо. Юноша разъезжал по острову в белом «мерседесе» полковника Дайпы. Уилл улыбнулся и хотел было заговорить, но осекся. Едва заметно, но все же вполне определенно, Муруган Майлендра покачал головой. В глазах его Уилл прочел настоящую мольбу. Губы беззвучно шевельнулись. «Пожалуйста, – казалось, вот-вот скажет юноша, – пожалуйста...» Уилл принял равнодушный вид.

– Здравствуйте, мистер Майлендра, – сказал он с вежливым безразличием. Муруган, судя по всему, почувствовал огромное облегчение.

– Здравствуйте, – ответил он и слегка поклонился.

Уилл пригляделся к остальным: нет, никто ничего не заметил. Мэри Сароджини и Виджайя разворачивали носилки, доктор упаковывал черный саквож. Маленькая комедия прошла без зрителей. Вероятно, по каким-то причинам юный Муруган не желал, чтобы узнали о его пребывании в Рендане. Мальчики есть мальчики. Даже если они порой превращаются в девочек. Полковник Дайпа и Муруган – взаимоотношения их не просто отеческо-сыновние; обоюдная пылкость здесь налицо. Возможно, юноша обожает полковника как героя, преклоняется, будто школьник, перед сильной личностью: борцом-революционером, который сумел победить и стал диктатором. Или тут замешаны другие чувства, и Муруган играет роль Антиноя при своем черноусом Адриане? Что ж, если юноша благоволит к немолодым бандитам-милитаристам, это его право. И если бандиту нравятся

хорошенькие мальчики, что тут возразить? Так вот почему полковник Дайпа, подумал Уилл, воздерживался от официального представления.

– Это мой юный друг Муру. – Полковник встал, обнял юношу за плечи и, усадив на диван, сел рядом с ним.

– Можно, я сяду за руль? – спросил Муруган. Диктатор снисходительно усмехнулся и кивнул прилизанной черноволосой головой. Были и другие обстоятельства, наталкивающие на мысль, что этих двоих связывают не только дружеские отношения. Муруган за рулем полковничьей машины превращался в маньяка. Только обезумевший любовник способен, не считаясь с гостем, довериться такому шоферу. На равнине между Рендан-Лобо и нефтяными скважинами спидометр дважды достигал отметки 110, а на горной дороге от скважин к медным копиям было и того хлеще. Зияли пропасти, тормоза взвизгивали на поворотах, буйволы выскакивали из бамбуковых зарослей в двух шагах от машины, десятитонные грузовики с ревом неслись навстречу, не разбирая дороги.

– Вы совсем не боитесь? – отважился спросить его Уилл. Но бандит, ослепленный любовью, оказался к тому же и набожным.

– Если человек знает, что на все – воля аллаха (а я это знаю, мистер Фарнеби), он не станет бояться. Страх, в таком случае, будет грехом.

Муруган резко крутанул руль, чтобы объехать буйвола; полковник распахнул золотой портсигар и предложил Уиллу «Балканское собрание».

– Готово, – сказал Виджайя. Уилл, повернув голову, увидел лежащие рядом с ним носилки.

– Хорошо, – сказал доктор Макфэйл. – Переместите его сюда. Осторожней. Осторожней...

Минуту спустя небольшая процессия двинулась в путь по узкой извилистой тропе между деревьями. Мэри Сароджини шла впереди, замыкал шествие ее дедушка; Муруган и Виджайя несли носилки.

Уилл Фарнеби вглядывался со своего движущегося ложа вверх в зеленый сумрак, словно со дна кольшущегося, живого моря. Высоко над головой, почти что на самой его поверхности, шумела листва, кричали обезьяны. В облаке орхидей порхали птицы-носороги, напоминая причудливые создания воображения.

– Вам удобно? – спросил Виджайя, заботливо заглянув в лицо Уиллу. Уилл, запрокинув голову, улыбнулся.

– Великолепно, – сказал он.

– Идти недалеко, – продолжал его собеседник, – мы будем там через несколько минут.

– Где «там»?

– На экспериментальной станции. Такая же есть в Ротамстеде. Вы бывали в Ротамстеде, живя в Англии?

Уилл слышал о станции в Ротамстеде, но ему не доводилось бывать в тех местах.

– Ее основали более ста лет назад, – пояснил Виджайя.

– Сто восемнадцать, если быть точным, – вмешался доктор Макфэйл. – Лоуз и Джилберт начали работать с удобрениями в 1843 году. В начале пятидесятых к нам приехал один из сотрудников станции, чтобы помочь моему деду открыть здесь такую же. Ротамстед в тропиках – такова была идея. В тропиках и для тропиков.

В зеленом сумраке блеснула молния, и носилки вынырнули из леса в ослепительное сияние тропического солнца. Уилл поднял голову и огляделся. Они находились почти на самом дне огромного амфитеатра. Внизу, в футах пятистах, расстилалась обширная равнина, испещренная лоскутьями полей, островками деревьев и сбившимися в кучу домиками. Над равниной вздымались склоны, а в тысяче футов над ними полукольцом смыкались горы. Одна терраса над другой – золотые, зеленые – тянулись, начинаясь от долины, до зубчатой стены горных пиков; рисовые поля следовали контуру ландшафта, искусно и как бы намеренно подчеркивая каждое углубление, каждую выпуклость склона. Природа не была уже только природой; ландшафт был скомпонован, выявлен в своей геометрической

сущности, и выполнен столь затейливым узором и такими чистыми, яркими красками, что, будь такая картина создана художником, его назвали бы небывалым виртуозом.

– Чем вы занимались в Рендане? – нарушил продолжительное молчание доктор.

– Собирал материалы для статьи о новом режиме.

– Навряд ли о полковнике можно сообщить что-либо новое и интересное.

– Вы ошибаетесь. Он военный диктатор. Вокруг него смерть. А смерть всегда связана с новостями. Даже отдаленный запах смерти – чем не новость? – Уилл засмеялся. – Вот почему мне велели заглянуть к полковнику на обратном пути из Китая.

Были на то и другие причины, о которых Уилл предпочел умолчать. Лорд Альдехайд занимался не одними только газетами. Другими его интересами были «Азиатская юго-восточная нефтяная компания» и «Имперское и иностранное акционерное общество по добыче меди». Официально Уилл прибыл в Рендан, чтобы вдохнуть запах смерти, разлитый в милитаризованном воздухе; но, кроме того, ему было поручено выяснить, как относится диктатор к иностранному капиталу, согласен ли пойти на уступки в налогах и даст ли гарантии, что промышленность не будет национализирована. Заодно требовалось узнать, какую часть прибыли можно будет вывозить, сколько специалистов и администраторов удастся найти среди местного населения и еще много других вопросов. Полковник Дайпа оказался чрезвычайно любезным и деловитым. Взять хоть эту сумасшедшую поездку к медным копиям с Муруганом за рулем.

– Примитивно, дорогой мой Фарнеби, примитивно. Сами видите, какая острая нужда в переоборудовании.

Новая встреча была назначена – да, вспомнил Уилл, – именно на сегодняшнее утро. Он представил себе полковника в кабинете за рабочим столом: «Мистера Фарнеби, – докладывает глава полиции, – последний раз видели, когда он направлял свою небольшую яхту в пролив Пала. Два часа спустя случился сильный шторм... Вероятно, погиб». А он, живой и здоровый, находится на запретном острове.

– Они никогда не дадут тебе визу, – сказал Джо Альдехайд во время их последней беседы. – Но, может быть, тебе удастся потихоньку высадиться на берег под чужой личиной. Надень бурнус или что-то в этом роде, как Лоуренс Аравийский.

– Я попытаюсь, – искренне пообещал Уилл.

– Если ты все же высадишься на Пале, наладь связь с королевским дворцом. Рани – это их королева-мать – мой давний друг. Я познакомился с ней шесть лет назад в Лугано. Она находилась там со стариком Фогели, банкиром инвестиционного банка. Подруга ее увлекалась спиритизмом, и они устроили для меня сеанс. Медиум-вещатель, подлинный Голос Оттуда, но, к сожалению, все на немецком. Когда включили свет, мы с ней долго беседовали.

– С кем? С вещательницей?

– Да нет же. С госпожой рани. Она замечательная женщина. Тебе уже доводилось слышать о Крестовом Походе Духа?

– Так это ее изобретение?

– В полной мере. Я предпочитаю эту организацию Моральному Перевооружению, как наиболее подходящую для Азии. В тот вечер мы много говорили о Крестовом Походе Духа. А потом зашла беседа о нефти. На Пале полно нефти. «Азиатская юго-восточная нефтяная компания» пытается проникнуть туда многие годы. И другие компании тоже. Но бесполезно. Никаких иностранных концессий. Это их жесткая политика.

Но рани с ней не согласна. Она желает, чтобы мир получал пользу от нефти. Можно было бы, например, финансировать Крестовый Поход Духа за счет прибылей от экспорта. Итак, если ты доберешься до Палы, установи связь с дворцом. Поговори с госпожой рани. Узнай, имеются ли там люди, способные принимать решения. Возможно, в стране есть политическое меньшинство, выступающее за продажу нефти, и мы как-нибудь сможем помочь им.

На прощание он пообещал Уиллу приличное вознаграждение, если его усилия

увенчаются успехом. Вполне достаточное, чтобы около года жить ни о чем не заботясь.

– Тебе не придется писать статьи. Только искусство – чистое Искусство! – И он издал похабный смешок, как если бы вкладывал в эти слова особый смысл. Гнусная тварь! И тем не менее Уилл писал статьи для его мерзких газет и готов был участвовать в его грязных делах за приличную мзду.

Как это ни удивительно, Уилл все же очутился на паланезийской земле. К счастью, провидение оказалось на его стороне – видимо, для того, чтобы сыграть одну из своих зловещих, расхожих шуток. Звонкий голос Мэри Сароджини вернул Уилла к действительности.

– Вот мы и пришли!

Уилл поднял голову. Небольшая процессия свернула с дороги и прошла через проем высокой выбеленной стены. Налево, на ступенях террас, стояли ряды домиков, осененных смоковницами. Уилл поглядел вперед: аллея стройных, пальм вела по склону к пруду с лотосами, на другом берегу сидел огромный каменный Будда. Свернув налево, они стали подниматься меж цветущими, благоухающими деревьями к нижней террасе. За изгородью, жуя жвачку, неподвижно стоял белоснежный горбатый буйвол, своей безмятежностью и красотой подобный божеству. Затем любовник Европы ушел в прошлое, и теперь по траве волочили свои перья птицы Юоны. Мэри Сароджини отперла калитку небольшого сада.

– Вот мое бунгало, – сказал доктор Макфэйл. – Дай-ка я помогу тебе одолеть ступени, – обратился он к Муругану.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Том Кришна и Мэри Сароджини ушли в соседнюю комнату, чтобы провести время сиесты с детьми садовника. Сьюзила Макфэйл сидела в сумраке гостиной и думала о минувшем счастье, вновь переживая боль утраты. Часы в кухне пробили один раз. Пора идти. Вздохнув, она встала, обула сандалии и, выйдя из дома, окунулась в ошеломляющий жар тропического полудня. Сьюзила взглянула на небо. Над вулканами огромные облака ползли по направлению к зениту. Через час, возможно, будет дождь. Перебираясь от одного озера к другому, женщина шла по обсаженной деревьями тропе. Вдруг с вершины одной из смоковниц с шумом слетела стая голубей. Зеленокрылые, с коралловыми клювами, с грудками, переливающимися, как перламутр, они летели в сторону леса. Как они красивы, как невыразимо привлекательны! Сьюзила чуть было не повернула голову, чтобы прочесть выражение восторга на запрокинутом лице Дугалда, но опомнилась и опустила глаза. Нет больше Дугалда, и ее единственная спутница – боль: так болят отнятые конечности, вернее – их призраки, и эта призрачная боль долго мучает тех, кто перенес ампутацию.

– Ампутация, – проговорила она тихо, – ампутация... – И тут же замолчала, почувствовав, как глаза наполняются слезами. Нельзя себя жалеть. Пусть Дугалд мертв, но птицы так же прекрасны, а дети – и ее, и чужие – по-прежнему требуют любви и заботы. Преследуемая болью одиночества, она не должна забывать, что теперь надо любить за двоих, жить за двоих, думать за двоих; и надо смотреть на все не только своими, но и его глазами, как до катастрофы, когда они были единой душой, единым разумом.

А вот и бунгало доктора Макфэйла. Сьюзила поднялась по ступеням, пересекла веранду и вошла в гостиную. Свекор сидел у окна, отхлебывая холодный чай из керамической кружки, и читал «Journal de Mycologie»¹. Доктор взглянул на Сьюзилу и приветливо улыбнулся.

– Сьюзила, дорогая! Я рад, что ты сумела прийти.

Сьюзила наклонилась и поцеловала щетинистую щеку доктора.

– Мэри Сароджини сказала мне, что наткнулась на потерпевшего кораблекрушение.

¹ «Журнал микологии» (франц.); здесь и далее – примечания переводчика.

Это правда? – спросила она.

– Да, это верно. Он англичанин. По профессии журналист. Недавно был в Китае, по пути заглянул в Рендан. Вчера его лодка разбилась о камни во время шторма.

– Что он из себя представляет?

– Внешность мессии. Но слишком умен, чтобы верить в Бога или собственное предназначение. Однако, если бы верил, излишняя впечатлительность помешала бы ему осуществить свою миссию. Его мышцы жаждут действия, а душа – веры, но нервные окончания и рассудок не позволяют.

– Наверное, он очень несчастлив?

– Да, настолько несчастлив, что хохочет, как гиена.

– Сознает ли он сам, что смех его напоминает лай гиены?

– Да, и гордится этим. Даже изрекает афоризмы по этому поводу. «Я человек, который в ответ не говорит “да”».

– Колено серьезно повреждено? – спросила Сьюзила.

– Нет, не очень. Но держится температура. Я назначил ему антибиотики. Твоя задача – поднять сопротивляемость и дать шанс *vis medicatrix naturae*².

– Я сделаю все возможное. – Помолчав, она сказала: – Я заходила к Лакшми по дороге из школы.

– Как она, на твой взгляд?

– Примерно так же. Пожалуй, немного слабей по сравнению со вчерашним.

– Вот и мне так показалось сегодня утром.

– К счастью, боль не усиливается. Мы пока справляемся с ней психологически. А сегодня мы работали над тошнотой. Лакшми сумела немного попить. Думаю, внутривенные вливания сейчас не нужны.

– Слава богу! – сказал доктор Макфэйл. – Эти внутривенные – настоящая пытка. Лакшми всегда смело смотрела в лицо опасности, но к уколам почему-то относилась с самым необъяснимым ужасом.

Доктор вспомнил, как, в первые дни супружества, он, потеряв терпение, обозвал ее трусихой. Лакшми заплакала и, примирясь с мученической долей, умоляла простить ее. До сих пор ему было стыдно за свою несдержанность. Лакшми, Лакшми... Через несколько дней ее не станет. Тридцать семь лет они прожили вместе.

– О чем вы беседовали? – спросил он у невестки.

– Ни о чем в особенности, – ответила Сьюзила. Но это было не так. Они говорили о Дугалде, и Сьюзиле не хотелось пересказывать их разговор.

– Мой первенец, – прошептала умирающая. – Я не знала, что дети бывают так красивы.

Ее глубоко запавшие, обведенные чернотой глаза засветились тихой радостью, на бескровных губах появилась улыбка.

– Пальчики крохотные, – рассказывала Лакшми слабым, сильным голосом, – и такой жадный ротик!

Иссохшей дрожащей рукой она коснулась места, где еще год назад, до операции, была грудь.

– Не знала, – повторила она. Да и откуда ей это было знать до того, как ребенок родился? Рождение его стало откровением, началом новой любви и нежности. – Ты понимаешь, о чем я?

Сьюзила кивнула. Конечно, она понимала, ведь у нее самой было двое детей, и она также пережила ошеломление этой любви и нежности – вместе с мужчиной, в которого превратился маленький Дугалд с крохотными пальчиками и жадным ротиком.

– Я постоянно боялась за него, – шептала умирающая. – Он был таким сильным, таким своенравным... Он доставил бы нам немало огорчений, будь у него другая жена. Я так рада,

² целительным силам природы (лат.)

что его избранницей оказалась ты.

Бесплотная рука коснулась ладони Сьюзила. Склонившись, Сьюзила поцеловала ее. Обе женщины заплакали.

Доктор Макфэйл вздохнул, отложил журнал и чуть вздрогнул, будто только что выйдя из воды.

– Нашего гостя зовут Фарнеби, – сказал он. – Уилл Фарнеби.

– Уилл Фарнеби, – повторила Сьюзила. – Что ж, пойду взгляну, чем можно ему помочь.

Она вышла из комнаты. Доктор Макфэйл поглядел невестке вслед, а потом откинулся на кресле и закрыл глаза. Он думал о жене и сыне: Лакшми медленно угасает, а жизнь Дугалда оборвалась внезапно, словно неожиданно погасло яркое пламя. Доктор размышлял о непостижимой цепи случайных изменений, которые составляют жизнь, о тех радостях, ужасах и нелепостях, что, соединяясь, образуют непонятный и все же полный божественного смысла рисунок человеческой судьбы.

– Бедная девочка, – прошептал доктор Макфэйл, вспомнив, как переменялась в лице Сьюзила, когда он сообщил ей о смерти Дугалда. – Бедная девочка!

В «Journal de Mycologie» была статья о грибах, вызывающих галлюцинации. Вот еще одна из замысловатых нитей, вплетенных в узор человеческой жизни. Доктору вспомнились строки из стихотворения старого раджи, несшие отпечаток присущей ему парадоксальности. Всякая вещь безразлична другой всецело, но трудятся вместе, разобщенные, ради Добра вне Добра, для Бытия мимолетного – но более бесконечного, преходящего – но более вечного, чем Бог в небесах.

Дверь скрипнула, и Уилл услышал легкие шаги и шуршание юбок. Чья-то рука легла ему на плечо, и зазвучал грудной, певучий женский голос.

– Как вы себя чувствуете?

– Довольно скверно, – ответил Уилл, не открывая глаз. В его ответе не было ни самодовольства, ни стремления разжалобить: только признание реального положения вещей стойком, которому надоело ломать комедию, прикидываясь бесстрастным, и он обиженно выпалил истину. – Довольно скверно.

Она вновь тронула его за плечо.

– Меня зовут Сьюзила Макфэйл. Я мать Мэри Сароджини.

Уилл неохотно повернул голову и открыл глаза. Взрослая и посмуглевшая Мэри Сароджини сидела возле кровати и улыбалась с дружеским участием. Не тратя усилий на ответную улыбку, Уилл пробормотал:

– Здравствуйте. – Еще выше натянул простыню и вновь закрыл глаза.

Сьюзила молча рассматривала лежащего перед ней человека: угловатые плечи, выступающие ребра, бледная нордическая кожа производили на нее, паланезийку, впечатление необычайной хрупкости и уязвимости. Черты его лица были резкими, – человека с такой внешностью легко узнать на расстоянии, – и еще была в нем какая-то трепетность и открытость, будто – подумалось Сьюзиле – живьем содрали кожу и оставили страдать.

– Насколько мне известно, вы из Англии.

– Не все ли равно, – раздраженно пробормотал Уилл, – откуда я и куда направляюсь. Из одной преисподней в другую.

– Я училась в Англии, – сказала Сьюзила. – Это было вскоре после войны.

Уилл старался не слушать, но уши, к сожалению, не имеют век, и невозможно защищаться от проникающего в них голоса.

– Моя подруга тоже изучала психологию, – продолжала рассказывать Сьюзила, – ее родители жили в Уэльсе. Она пригласила меня в гости на летние каникулы. Вы бывали в Уэльсе?

Конечно, он бывал там. Отчего эта женщина докучает ему своими глупейшими воспоминаниями?

– Я любила гулять там у воды, – продолжала Сьюзила, – смотреть на собор через ров...

...И думать о Дугалде, оставшемся дома, под пальмами на взморье. О Дугалде, который дал ей первый урок лазанья по скалам: «Веревка крепкая. Не бойся, безопасность обеспечена. Упасть невозможно...»

Упасть невозможно, с горечью подумала она... и тут же вспомнила о том, что происходит здесь и теперь и что ей предстоит работа, – вспомнила, взглянув на человека с незащищенным, словно бы ободранным лицом, который, несомненно, испытывал боль.

– Как там красиво, как удивительно спокойно!

Голос, как показалось Уиллу Фарнеби, звучал теперь еще более певуче и как будто издали. Наверное, потому, что Уилла уже не возмущало его вторжение.

– Чувство необыкновенной тишины. Шанти, шанти, шанти. Покой, превосходящий понимание.

Голос почти пел, пел – словно бы из другого мира.

– Я закрываю глаза, – звучали певучие слова, – и вижу все это перед собой. Вижу церковь – она очень высокая, даже выше, чем громадные деревья вокруг епископского дворца. Вижу зеленую траву, и воду, и солнечные блики на камнях, и косые тени между опорами. Но вслушайтесь! Я слышу колокола и крики галок. Галки на колокольне – вы слышите их крики?

Да, он слышал галок – не менее отчетливо, чем попугаев за окном. Он был здесь и в то же самое время там: здесь, в полутемной душной комнате вблизи экватора, но также и там, далеко, в прохладной лощине на краю Мендипса, где галки кричали на колокольне, и звон колоколов таял посреди зелени и тишины.

– А белые облака! – звучал голос. – Как изысканно-бледно, как нежно голубеет меж ними небо!

«Небо», – мысленно повторил Уилл; нежно-голубое апрельское небо накануне их с Молли несчастливой свадьбы. Они вместе провели уик-энд: в траве цвели маргаритки и одуванчики, а за рвом с водой высилась огромная церковь, словно бросаая вызов растрепанным, нежным весенним облакам строгой правильностью линий. Бросала вызов – и одновременно дополняла их, обретая совершенство в примирении. Вот так же им с Молли предстояло дополнить друг друга, обрести взаимное равновесие.

– А лебеди! – мечтательно пел голос, – лебеди...

Да, лебеди – белые лебеди, скользящие по зелено-черному водному зеркалу, которое будто дышало, вздымаясь и дрожа, и серебряные отражения разбивались и собирались вновь, дробились и сливались воедино...

– Они подобны изображениям на гербах. Романтические, удивительно прекрасные птицы. Вот они плывут – настоящие, живые лебеди. Так близко, что, кажется, их можно коснуться, и все же далеко, далеко – в тысячах миль отсюда. Далеко, далеко они скользят по зеркальной глади, словно зачарованные, плавно и величественно...

Величественно и плавно, и темная вода вздымается и расступается под напором изогнутых белых килей; мелкие волны бегут назад и расходятся блистающими стрелками. Уилл видел лебедей, плывущих по темному зеркалу, слышал крики галок на колокольне и вдыхал смешивающийся с запахами лекарств и гардений прохладный, низинный, травяной аромат готического рва в той далекой зеленой лощине.

– Плывут плавно, без усилий... Без усилий...

Слова приносили ему глубочайшее удовлетворение.

– Я сидела у воды, – говорила Сьюзила, – и смотрела, смотрела... и тоже словно начинала плыть... Плыть с лебедями по зеркальной плоскости меж темной водой и бледно-голубым небом,...

По гладкой поверхности, являющейся гранью меж «здесь» и «там», меж: «тогда» и «теперь»... Той самой гранью, подумала Сьюзила, которая пролегает меж воспоминаниями о счастье и мучительной, неотвратимой пустотой одиночества.

– Плыть, – сказала она вслух, – по зеркальной плоскости, по грани, разделяющей воображаемое и действительное, внешнее и внутреннее, приходящее из самой глубины...

Она положила руку ему на лоб, и вдруг слова обратились в предметы и явления, которые за ними стояли; образы превратились в факты. Уилл почувствовал, что действительно плывет.

– Плыть, – мягко настаивал голос, – плыть по воде, как белая птица. Плыть по большой реке жизни – величественной, безмолвной реке, текущей тихо, тихо, будто во сне... сонная река, – продолжала она, – но течение ее неодолимо. Жизнь течет безмолвно и неодолимо – в более полную жизнь, в живой покой, неколебимый, обильный, совершенный, которому ведома всякая наша горечь и боль, он знает о них, поглощает их, растворяя в собственной сущности. Туда, в тот покой, ты плывешь, плывешь по гладкой безмолвной реке, которая спит и все же движется неустанно; течет неустанно – именно потому, что спит. И я плыву вместе с рекой.

Слова Сьюзины были обращены к Уиллу, но в какой-то мере они предназначались для нее самой.

– Плыть без усилий, ничего для этого не делая. Просто позволяю реке нести себя; просто прошу сонную неодолимо текущую реку нести меня туда, куда мне следует попасть, куда я хочу попасть: в иное, более совершенное бытие, в живой покой. Вместе со спящей рекой плыву к совершенному примирению.

Уилл Фарнеби глубоко вздохнул, невольно и бессознательно. Какая тишина наступила в мире! Глубокая, прозрачная тишина, хотя попугаи все еще суетились там, за ставнями, и голос рядом с ним продолжал петь. Молчание и пустота; и в этой тишине, в этой пустоте течет величественная река, сонно и неустанно.

Сьюзина взглянула в лицо, обрамленное подушкой. Оно казалось неожиданно помолодевшим и хранило выражение детской безмятежности. Морщины на лбу разгладились. Плотно сжатые от боли губы приоткрылись, и дыхание сделалось ровным, мягким, почти не слышимым. Неожиданно Сьюзине вспомнились слова, что пришли ей в голову, когда однажды лунной ночью она взглянула в лицо Дугалду: «Она дала своему возлюбленному уснуть».

– Уснуть, – повторила она вслух, – уснуть.

Тишина сделалась еще более плотной, пустота более объемной.

– Спи, плывя по сонной реке, – уговаривал голос. – А над рекой, в бледном небе, плывут огромные облака. Ты смотришь на них – и плывешь туда. Да, ты плывешь к облакам по воздушной реке, невидимой реке, что несет тебя, несет все выше и выше.

Вверх, вверх сквозь безмолвную пустоту. Образ обращался в предмет, слова становились действительностью.

– С жаркой равнины, – продолжал голос, – без усилий, к горной прохладе.

Да, вот она – Юнгфрау, ослепительно белая в голубом небе. А вот и Монте Роза...

– Какая свежесть в воздухе, который ты вдыхаешь! Свежесть, чистота, полнота жизни!

Он дышал глубоко, и новая жизнь вливалась в него. С заснеженных склонов дул ветерок и охлаждал кожу – что за упоительная прохлада! И словно отвечая его мыслям и описывая его переживания, голос сказал:

– Прохлада. Прохлада и сон. Прохлада, ведущая к совершенной жизни. Сон, приносящий примирение, вводящий в целостное бытие, ненарушимый покой.

Через полчаса Сьюзина вернулась в гостиную.

– Ну что? – спросил доктор Макфэйл. – Успешно?

Она кивнула.

– Я поговорила с ним об Англии, – сказала Сьюзина. – Он уснул скорее, чем я ожидала. После этого дала ему несколько советов насчет температуры.

– И насчет колена, надеюсь?

– Да, конечно.

– Несколько прямых советов?

– Нет, косвенных. Это действует лучше. Я посоветовала ему представить свое тело. Затем я заставила его вообразить, что тело становится все огромней – а колено все меньше.

Ничтожное и маленькое – против огромного, здорового тела. Сразу ясно, кто из них победит.

Сьюзила взглянула на стенные часы.

– Мне следует поторопиться, а то я опоздаю на урок.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Солнце как раз вставало, когда доктор Роберт вошел в больничную палату, где лежала его жена. На фоне оранжевого зари вырисовывался зубчатый силуэт гор. Вдруг раскаленный добела серп показался между двумя вершинами. Серп превратился в полукруг, и длинные тени, вместе с первыми золотыми лучами, упали на сад за окном. Теперь, стоило взглянуть на горы, ослепительное сияние солнца било в глаза.

Доктор Роберт сел у кровати, взял руку жены и поцеловал. Лакшми, улыбнувшись ему, опять взглянула в окно.

– Как быстро вращается земля! – шепнула она и, помолчав, добавила: – Скоро я увижу свой последний восход.

Сквозь нестройный птичий хор и жужжание насекомых доносилось пение минаха:

– Каруна, каруна...

– Каруна, – повторила Лакшми, – милосердие...

– Каруна. Каруна, – голосом гобоя настаивал Будда.

– Поскорее бы уж все перестали меня жалеть, – продолжала умирающая. – Но как ты проживаешь? Бедный Роберт, что ты скажешь мне?

– Откуда-то берутся силы, – ответил он.

– Силы, чтобы жить по-человечески? Или заковать себя в броню, отгородиться от мира, уйдя с головой в свои идеи, в работу? Ты помнишь, как я тянула тебя за вихор, призывая к вниманию? Кто это сделает, когда меня не станет?

Сиделка принесла стакан подсахаренной воды. Доктор Роберт подsunул руку под плечи жены и усадил ее. Дежурная поднесла стакан к губам Лакшми. Больная отпила глоток, с трудом проглотила, вновь отпила и проглотила. Отвернувшись от предложенного стакана, она взглянула на мужа. На изнуренном лице вдруг появилась озорная улыбка.

– «Я вам Троицу являю, – слабым голосом процитировала она, – трижды сока отхлебнув, Ариана разбиваю». – Лакшми помолчала. – Что за смешные вещи вспоминаются порой! Да и сама я смешная, правда?

Доктор Роберт, сделав над собой усилие, улыбнулся.

– Ужасно смешная, – согласился он.

– Ты говорил, что я как блоха. Только что была здесь, и вдруг – прыг! – уже там, далеко отсюда. Неудивительно, что ты ничему не смог меня научить.

– Но зато ты научила меня всему, – заверил он ее. – Если бы ты не приходила, и не тянула меня за вихор, заставляя вглядываться в мир, помогая понять его, то чем был бы я теперь? Ученый сухарь с шорами на глазах. К счастью, у меня хватило ума сделать тебе предложение, а у тебя достало безрассудства ответить «да». А впоследствии, когда ты меня воспитывала, – мудрости и понимания. И вот, после тридцати семи лет трудов, я почти стал человеком.

– А я так и осталась блохой. – Лакшми покачала головой. – Но я старалась, очень старалась. Не знаю, понимал ли ты когда-нибудь, Роберт: мне приходилось вставать на цыпочки, чтобы дотянуться туда, где ты работал, читал, думал. Тянуться, изо всех сил тянуться, чтобы добраться до тебя, чтобы быть рядом. Господи, как я уставала! Какой непомерный труд! И все впустую. Ведь я всего лишь бессловесная блоха, которая скачет туда-сюда среди людей, цветов, кошек и собак.

Мне было не допрыгнуть до мира высоколобых, где ты пребывал, и я так и не попала туда. Когда случилось вот это (она подняла руку к своей отсутствующей груди), я перестала пытаться. Перестала ходить в школу, учить уроки. Теперь у меня сплошные каникулы. Наступило долгое молчание.

– Еще глоток воды? – спросила сиделка.
– Да, попей еще, – предложил доктор Роберт.
– Чтобы разделаться с Троицей? – снова улыбнулась ему Лакшми. Вдруг под маской старости и смертельной болезни доктор Роберт вновь увидел смеющуюся девушку, в которую влюбился много лет назад, – это было словно вчера. Час спустя доктор Роберт уже вернулся в свое бунгало.

– Почти все утро вам придется пробыть одному, – объявил он Уиллу Фарнеби, перебинтовав ему колено. – Мне необходимо съездить в Шивапурам, на заседание тайного совета. Около двенадцати придет одна из студенток, что работают сиделками, сделает укол и даст вам поесть. Потом, после уроков, сюда заглянет Сьюзила. А теперь мне пора уходить. – Доктор Роберт встал и коснулся руки Уилла. – До вечера. – На полпути к дверям он остановился и вернулся: – Чуть не забыл дать вам вот это. – Из бокового кармана обвисшего жакета он извлек тонкую зеленую книжицу. – Это заметки старого раджи. «Сочинение об истинном смысле вещей, и о том, как правильно поступать, зная этот истинный смысл».

– Отличное название! – заметил Уилл, беря книгу.

– Содержание вам тоже понравится, – уверил его доктор Роберт. – Всего несколько страничек. Но если вы хотите понять, что такое Пала, лучшего введения не найти.

– Кстати, – спросил Уилл, – кто такой старый раджа?

– Кто такой был старый раджа, должен я, к сожалению уточнить. Он умер в тридцать восьмом, поцарствовал на три года дольше королевы Виктории. Старший сын скончался раньше отца, а престол унаследовал внук – настоящий осел, что, впрочем, простительно, так как ослы мало живут. Нынешний правитель – правнук старого раджи.

– А когда, осмелюсь спросить, появились на острове Макфэйлы?

– Первый Макфэйл появился на Пале в царствование раджи-реформатора, как мы его называем, который приходится дедом старому радже. Раджа-реформатор и мой прадед изобрели нынешнюю Палу. Старый раджа укрепил и развил их достижения. Мы же, в свою очередь, прилагаем все усилия, чтобы идти по их стопам.

– Тут описывается история реформ? – Уилл приподнял книжку. Доктор Роберт покачал головой.

– В книге даны основополагающие принципы. Ознакомьтесь сначала с ними. Вечером, вернувшись из Шивапурама, я изложу вам историю Палы. Вы лучше поймете проделанную работу, если прежде узнаете о задачах, которые предстояло решить нам и которые встают перед каждым, постигшим истинный смысл бытия. Итак, читайте, читайте. И не забудьте в одиннадцать выпить фруктовый сок.

Уилл поглядел ему вслед, открыл тонкую зеленую книжицу и принялся читать.

1

«Никому никуда не надо идти. Мы все уже находимся там, куда стремились попасть; следует только осознать это.

Если я пойму, кем являюсь на самом деле, то не буду поступать так, как поступаю, исходя из ложных представлений о своем «я»; перестав поступать ложным образом, я увижу свое «я» в истинном свете.

В качестве истинного «я» – если только манихей, мое ложно понимаемое «я», не мешает мне осознать истину – я примиряю в себе «да» и «нет», всецело принимаю и благословляю опыт нераздвоенности.

Слова всех религий нечисты. Всякому, кто рассуждает о Боге, Будде, Христе, следует вымыть рот карболовым мылом.

Поскольку, в силу природы вещей, невозможно увековечить «да» в каждой паре противоположностей, манихей, каковым я себя представляю, обречен на бесконечные разочарования и разногласия с другими жаждущими и отчаявшимися манихеями.

Раздор и отчаяние – вот тема всех исторических и биографических трудов. «Я покажу

вам страдание», – здраво сказал Будда. Но он показал и конец страданий – самопознание, всецелое приятие, благословенный опыт неразвоенности.

2

Понимание, кем мы являемся на самом деле, ведет к Пребыванию во Благости, а Пребывание во Благости обуславливает добрую жизнь. Но добрая жизнь не является сама по себе следствием Пребывания во Благости. Мы можем быть добродетельны, не сознавая, кто мы на самом деле. Люди, попросту добрые, не Пребывают во Благости; они лишь являются столпами общества.

Едва ли не каждый столп общества играет для себя роль Самсона. Таковые Самсоны поддерживают свод, но рано или поздно он обрушивается на них. Еще не существовало такого общества, где добро проистекало бы из Пребывания во Благости, и потому являлось бы наиболее приемлемым. Однако это не значит, что подобное общество не может быть создано, и что нам, жителям Палы, не по силам его создать.

3

Йог и стоик – вот два эго, которые через праведность добиваются значительных результатов, пытаясь стать кем-то другим. Однако не надо притворяться кем-то еще, даже добродетельным мудрецом, чтобы перейти от одинокого манихейства к Пребыванию во Благости.

Пребывать во Благости – это значит понимать, кто мы такие на самом деле. Но чтобы узнать, кто мы такие, необходимо сначала понять, кем мы себя считаем и как себя, соответственно своим представлениям, ведем. К истине мы идем постепенно, шаг за шагом. Ясное и полное осознание наших ложных представлений о себе разрушает манихейскую шараду. Сначала свет истины вспыхивает на мгновение, но потом мгновения эти повторяются, длятся, сливаются. Осознание нами ложного «я» делается постоянным. И тогда нам вдруг открывается, кто мы такие в действительности.

Концентрация, абстрактное мышление, духовное развитие относятся исключительно к области ума, тогда как аскетизм и гедонизм касаются только ощущений, эмоций, поступков. Потому при любых обстоятельствах, во всякое время осознавай все, что доведется пережить, будь то похвальное или непохвальное, приятное или неприятное. Такова истинная Йога, истинное духовное развитие.

«Чем больше человек знает об отдельных предметах, тем больше он знает Бога». Истолковывая эту мысль Спинозы, можно сказать: чем больше человек знает о себе в отношении ко всяческому опыту, тем больше у него возможностей внезапно, в одно прекрасное утро, понять, кто он есть в действительности, или: Кто «он» Есть в Действительности.

Святой Иоанн был прав. В благословенно безмолвном мире Слово не только пребывало с Богом, оно являлось Богом. Как нечто, во что надлежит верить. Бог как отвлеченный символ, не поддающийся наименованию. Бог есть «Бог».

Вера – совсем не то, что верование. Верование – это полное и безоговорочное приятие самым серьезным образом слов Павла и Магомета, Маркса и Гитлера. Люди воспринимают их слова слишком серьезно, и что же из этого происходит?

А происходит отсюда бессмысленное противоречие истории: садизм противопоставляется долгу, или – что еще хуже – понимается как долг; религиозному рвению сопутствует организованная паранойя; сестры милосердия ухаживают за жертвами своих единоверцев-инквизиторов и крестоносцев. Веру, напротив, невозможно воспринимать слишком всерьез. Ибо вера – это обоснованная опытом уверенность в нашей способности понять, кто мы такие в действительности, и позабыть отравленного верованиями манихея, перейдя в Благое Бытие. Господи, даждь нам нашу насущную веру, но избави нас от

верований».

В дверь постучали. Уилл оторвался от книги.

– Кто там?

– Я, – прозвучал знакомый голос, и Уилл с неудовольствием вспомнил полковника Дайпу и кошмарную поездку в белом «мерседесе». Муруган в белых шортах, белых сандалиях, с платиновыми часами на запястье, приблизился к постели Уилла.

– Как мило, что вы пришли меня навестить!

Другой посетитель обязательно спросил бы, как Уилл себя чувствует, но Муруган, искренне поглощенный собой, не способен был притворяться внимательным.

– Я приходил час назад, – пожаловался он, – но старик еще не ушел, и мне пришлось вернуться домой. А потом надо было завтракать с мамой и ее гостем...

– Почему же ты не мог войти при докторе Роберте? – удивился Уилл. – Тебе запретили беседовать со мной?

Юноша нетерпеливо покачал головой:

– Конечно, нет. Но мне не хочется, чтобы они знали, почему я сюда пришел.

– Что значит «почему»? – улыбнулся Уилл. – Разве посещение больного – не похвальный в высшей степени поступок?

Но от Муругана, сосредоточенного на собственных делах, ускользнула его ирония.

– Спасибо вам за то, что не открыли нашего знакомства, – сказал он, едва ли не сердито. Можно было подумать, что он заставляет себя выражать свою признательность и недоволен Уиллом, которого приходится благодарить.

– Я заметил, что вы хотели скрыть наше знакомство, – пояснил Уилл, – и потому промолчал.

– Весьма обязан вам, – пробормотал Муруган; наверное, с тою же интонацией он процедил бы: – Грязная свинья!

– Не стоит благодарности, – с насмешливой вежливостью отозвался Уилл.

Что за удивительное создание, думал он, с любопытством созерцая золотистый гладкий торс юноши и обращенное к нему на три четверти лицо, с чертами, правильными, как у статуи; это была не классическая маска олимпийца, а скорее портрет человека эллинистической эпохи. Сосуд несравненной красоты – но что он вмещает? Какая жалость, подумал Уилл, что он не задал этот вопрос, прежде чем позволить себе увлечься несравненной Бэбз. Но Бэбз все-таки женщина. Желая ее, мог ли он относиться к ней рассудочно! И вряд ли человек, питающий слабость к мальчикам, стал бы задавать себе такие вопросы при виде обозленного юного полубога, сидящего сейчас у его кровати.

– Разве доктор Уилл не знает, что вы ездили в Рендан? – поинтересовался Уилл.

– Знает, конечно. Все это знают. Я ездил туда, чтобы забрать маму. Она гостила у родственников. Поездка была оформлена как полагается.

– Так почему же вы не хотите, чтобы я рассказывал им о нашей встрече?

Муруган, поколебавшись, с вызовом взглянул на Уилла:

– Потому что мы встретились в доме полковника Дайпы.

Ах, так вот оно что!

– Полковник Дайпа – примечательный человек, – Уилл не поскупился на комплимент, чтобы завоевать доверие.

Ни о чем не подозревающий Муруган тут же клюнул на наживку. Его угрюмое лицо просияло, и воодушевленный Антиной явился Уиллу во всей своей чарующей и сомнительной красе.

– По-моему, он просто чудо! – заявил юноша. Он взглянул на Уилла, как будто только что заметив его присутствие, и дружески улыбнулся. Чудесные качества полковника заставили Муругана забыть о своем неудовольствии и даже почувствовать на миг любовь к людям и даже к Уиллу, несмотря на то, что он был ему обязан. – Вы только подумайте, что он сделал для Рендана!

– О, он многое делает для Рендана, – уклончиво ответил Уилл. На сияющее лицо

Муругана набежало облачко.

– А вот они так не считают, – нахмурившись, сказал юноша. – Они считают полковника ужасным.

– Кто это они?

– Да почти все здесь.

– И потому они не хотят, чтобы ты встречался с полковником?

Муруган торжествующе улыбнулся – точь-в-точь как мальчишка, который успел скорчить рожу, пока учитель стоял к нему спиной.

– Они думают, что я все время был с матерью.

Уилл мгновенно понял намек.

– А ваша матушка знала о встречах с полковником?

– Конечно.

– И не возражала?

– Она одобряет нашу дружбу.

Что ж, Уилл не ошибся, проводя параллель с Адрианом и Антиноем. Но неужто его мать слепа? Или она не желает знать, что происходит?

– Если вашей матушке все равно, – сказал Уилл, – отчего доктор Роберт и остальные против?

Муруган подозрительно взглянул на него. Поняв, что отважился вступить на запретную территорию, Уилл предпринял отвлекающий маневр.

– Неужто они думают, – сказал он, рассмеявшись, – что под его влиянием вы станете сторонником диктаторской власти?

Уловка подействовала. Муруган широко улыбнулся.

– Не опасаются, но что-то вроде этого. Дипломатический этикет. – Юноша передернул плечами. – Глупее не придумаешь!

– Дипломатический этикет? – Уилл искренне недоумевал.

– Они ничего про меня не говорили? – спросил Муруган.

– Нет, кроме того, что сказал вчера доктор Роберт.

– То есть что я студент? – Муруган, запрокинув голову, расхохотался.

– А что здесь смешного?

– Да нет, ничего.

Юноша отвернулся. Они помолчали.

– Я не должен встречаться с полковником Дайпой, – сказал Муруган, глядя в сторону, – потому что он – глава государства. Наши встречи – это международная политика.

– Я что-то не могу понять – при чем тут политика?

– Видите ли, я – раджа Палы.

– Раджа Палы?

– С пятьдесят четвертого года. С тех самых пор, как умер мой отец.

– Значит, вы сын рани?

– Да, моя мать – рани.

«Наладь прямую связь с дворцом». Но дворец сам устанавливает с ним связь. Провидение, безусловно, на стороне Джо Альдехайда и работает на него круглосуточно.

– Вы старший сын? – спросил Уилл.

– Я единственный сын, – ответил Муруган и, чтобы подчеркнуть свою уникальность, добавил: – Единственный ребенок.

– Что ж, все сомнения отпадают, – сказал Уилл. – О Господи! Мне бы следовало звать вас ваше величество. Или – по крайней мере – сэр.

Слова эти сказаны были полушутливо, но Муруган принял их совершенно серьезно, внезапно обнаружив подлинно царское высокомерие.

– Скоро вы сможете называть меня так, – сказал он. – В конце следующей недели мне исполняется восемнадцать. С этого возраста раджа Палы считается совершеннолетним. А пока я просто Муруган Майлендра. Студент, который учится всему понемногу, включая

растениеводство, – чтобы я, став правителем, с умением брался за дела.

– Какие же дела предстоят вам? С чего вы начнете свое царствование?

Хорошенький Антиной у кормила государственной власти – поистине комическое несоответствие!

– «Долой им головы!» – шутливо продолжал Уилл, – «L'Etat c'est Moi»³?

Муруган, надменный и величественный, оскорбился.

– Не говорите глупостей! – последовал упрек. Уилл находил все это очень забавным.

– Я только хотел выяснить, сколь абсолютным будет ваше правление, – сказал он примирительно.

– Пала – конституционная монархия, – важно ответил Муруган.

– Иными словами, вы будете символическим, номинальным правителем, наподобие английской королевы, которая царствует, но не правит.

– Нет, это не так! – забыв свое царственное достоинство, чуть не завопил юноша. – Не так, как английская королева. Раджа Палы не только царствует, он правит.

Слишком взволнованный, чтобы сидеть на месте, Муруган вскочил и заходил по комнате.

– Власть раджи ограничена конституцией, но – Бог свидетель! – он все же правит, правит.

Муруган подошел к окну и поглядел в него. Постояв так несколько секунд, он обернулся к Уиллу с совершенно иным выражением на лице: оно стало похожим на тщательно отлитую и расписанную эмблему всего самого гадкого, что вмещает душа человеческая.

– Они еще увидят, кто здесь главный. – Слова и интонация словно были позаимствованы из американского фильма о гангстерах. – Эти люди думают, что будут дергать меня за ниточки, – продолжал он, будто произнося реплики из банального сценария, – такие штуки они проделывали с моим отцом. Но они ошибаются, – зловеще хохотнул Муруган, вскидывая свою прекрасную и гнусную голову, – очень ошибаются.

Последние слова он процедил сквозь зубы, выдвинув нижнюю челюсть, – подобно злодею из комикса; прищуренные глаза блестели холодным блеском. Нелепый и ужасный, Антиной превратился в карикатуру на закоренелого преступника из какого-нибудь второсортного боевика.

– Кто правит страной до вашего совершеннолетия?

– Горстка старых чудил, – с презрением отозвался Муруган. – Кабинет, Палата представителей и Тайный совет, представляющий раджу, то есть меня.

– Бедные старые чудачки! – сказал Уилл. – Представляю, какой шок их вскоре ожидает. – Поддавшись озорному настроению, он громко расхохотался. – Надеюсь, я еще буду здесь; хотелось бы поглядеть!

Муруган тоже смеялся, но не зловещим смехом закоренелого злодея, а искренне и весело. Юноша был подвержен внезапным переменам настроения, и потому не мог долго придерживаться одной роли, будь то роль гангстера или школьника-шалуна, которую он сыграл чуть ранее.

– Какой будет шок!.. – заливался Муруган счастливым смехом.

– У вас уже имеются определенные планы?

– Да, несомненно.

Озорной мальчишка преобразился в государственного мужа, степенного, но снисходительно-любезного во время пресс-конференции.

– Первоочередная задача: провести модернизацию страны. Взгляните, что сумел извлечь Рендан из отчислений за нефть!

– А разве Пала не имеет отчислений за нефть? – спросил Уилл с видом полного

³ «Государство – это я» (франц.)

неведения; прием этот, как он знал по опыту, превосходно способствует выуживанию информации из простодушного, самодовольного собеседника.

– Ни единого пенни, – посетовал Муруган, – при том, что юг острова изобилует сырьем. Но старые чудилы разрешают разрабатывать только несколько жалких скважин для нужд страны. И не позволяют никому заняться этим вопросом. – «Государственный муж» разгневался, в голосе юноши зазвучали интонации «злодея». – Какие только фирмы не предлагают свои услуги: «Азиатская юго-восточная нефтяная компания», «Шелл», «Ройял Датч», «Стэндард оф Калифорния». Но старые ослы никого не желают слушать.

– Вы надеетесь их переубедить?

– Я не стану тратить время на убеждения, – заявил «гангстер».

– Вот это характер! – заметил Уилл. – Чьи предложения вы предпочли бы принять?

– Полковник Дайпа сотрудничает со «Стэндард оф Калифорния». Он и нам советует завязать с ними отношения.

– На вашем месте я не стал бы торопиться. Следует изучить предложения конкурирующих компаний.

– Я тоже так думаю. И мама считает, что не надо спешить.

– Очень мудро.

– Мама, вероятно, предпочтет «Азиатскую юго-восточную компанию». Лорд Альдехайд, глава правления фирмы, – ее знакомый.

– Лорд Альдехайд? Какая неожиданность! – Радостное изумление в голосе Уилла прозвучало вполне убедительно. – Джо Альдехайд – мой приятель. Я пишу для его газеты. И являюсь также его личным посланцем. Сообщу вам по секрету, – добавил Уилл, – что поездка на медные рудники связана с поручениями Джо. Джо интересуется медью. Но главная его любовь – это нефть.

– Что он намеревается нам предложить?

Муругану очень хотелось казаться практичным. Уилл, в ответ на его реплику, изрек в самом что ни на есть киношном стиле:

– То, что предлагает «Стэндард», плюс еще чуть-чуть.

– Превосходно, – сказал Муруган согласно тому же сценарию и глубокомысленно кивнул. Они помолчали. Когда Муруган наконец заговорил, перед Уиллом вновь был государственный муж, снисходительно согласившийся дать интервью представителям прессы.

– Нефтяные отчисления, – сказал он, – будут использоваться следующим образом. Двадцать пять процентов всех денег пойдет на усовершенствование мира.

– Могу ли я спросить, – почтительно осведомился Уилл, – каким образом вы собираетесь осуществить эту задачу?

– Через Крестовый Поход Духа. Вы слышали об этом движении?

– Да, конечно. Кто же о нем не слышал?

– Это великое мировое движение, – с важностью доложил государственный деятель, – наподобие раннего христианства. Начало этому движению положила моя мать.

Уилл изобразил священный ужас и изумление.

– Да, моя мать. Крестовый Поход Духа – единственная надежда человечества, – подчеркнул он.

– Верно-верно, – сказал Уилл Фарнеби.

– Итак, о первых двадцати пяти процентах отчислений я уже сказал, – продолжал свою речь государственный деятель. – Остальное пойдет на осуществление интенсивной программы индустриализации.

Неожиданно его тон вновь переменился.

– Эти старые дурни разрешают проводить индустриализацию только в некоторых городах страны. Они желают, чтобы остров оставался таким, как тысячу лет назад.

– А вы хотите все переменить. Индустриализация во имя индустриализации.

– Нет. Индустриализация во имя страны. Во имя сильной Палы. Мы должны заставить

себя уважать. Взгляните-ка на Рендан. Через пять лет там уже будут выпускать необходимое количество винтовок, минометов и боеприпасов. Производить танки они начнут еще не скоро. Они купят их у компании «Шкода» на деньги, вырученные от продажи нефти.

– Скоро ли они обзаведутся водородной бомбой? – насмешливо поинтересовался Уилл.

– Они и не пытаются, – ответил Муруган. – Но, в конце концов, водородная бомба – не единственное сверхмощное оружие.

Слова эти он произнес со вкусом: видно было, что юнец находит вкус в «сверхмощном оружии».

– Химическое и бактериологическое оружие – полковник Дайпа называет эти средства «водородной бомбой для бедняков». Первым делом я собираюсь построить завод по производству инсектицидов.

Муруган подмигнул и рассмеялся.

– Наладив выпуск инсектицидов, нетрудно приступить к производству нервно-паралитического газа.

Уилл вспомнил недостроенные цеха в пригороде Рендан-Лобо.

– Что это за постройки? – спросил он у полковника Дайпы, когда они проносились мимо на белом «мерседесе».

– Завод по производству инсектицидов, – улыбнулся полковник, сверкнув ослепительно белыми зубами. – Скоро мы сможем поставлять их всей юго-восточной Азии.

Тогда Уилл воспринял слова полковника буквально. Но теперь... Уилл мысленно пожал плечами. Полковники останутся полковниками, а мальчишки, даже такие, как Муруган, всегда будут тянуться к оружию. Специальным корреспондентам предстоит еще немало работы на дорогах войны.

– Вы собираетесь укрепить армию Палы? – обратился Уилл к Муругану.

– Укрепить? Я собираюсь ее создать. Пала не имеет армии.

– Никакой армии?

– Совершенно никакой. Они тут все пацифисты.

Начальное «п» было взрывом отвращения, «ц» и «с» он выговорил с презрительным свистом.

– Мне предстоит начинать с нуля.

– За индустриализацией последует милитаризация?

– Несомненно!

Уилл засмеялся.

– Назад к Ассирии! Вы останетесь в истории истинным революционером.

– Надеюсь, – сказал Муруган. – Моя политическая доктрина – это перманентная революция.

– Великолечно! – зааплодировал Уилл.

– Я продолжу ту революцию, которую, около ста лет назад, начали прадед доктора Роберта и мой прапрадед, осуществив первые реформы. Многие из того, что они сделали, достойно одобрения. Но далеко не все, – уточнил он, и с суровой беспристрастностью потрянул кудрявой головой, будто школьник, играющий Полония в рождественском спектакле. – Но, по крайней мере, они хоть что-то делали. Ныне страна управляется кучкой ленивых консерваторов. Они консервативны до дикости, до крайности; не желают и пальцем шевельнуть, сохраняя верность старым, некогда революционным идеям. Предстоит реформировать реформы, а они этого не хотят. Несмотря на то, что некоторые из их так называемых реформ совершенно отвратительны.

– Вы имеете в виду их отношение к сексу?

Муруган кивнул и отвернулся. Уилл с удивлением заметил, что его собеседник покраснел.

– Вы не могли бы рассказать более обстоятельно?

Но Муруган отказался от пояснений.

– Расспросите доктора Роберта или Виджайю, – предложил он. – Они считают, что это

восхитительно. И поступают согласно своим убеждениям. Вот одна из причин, почему они не желают перемен. Свои старые мерзкие порядки они хотят сохранить на века.

– На века, – насмешливо повторило густое контральто.

– Мама! – Муруган вскочил.

Уилл обернулся: в дверях стояла пыншотелая помпезная дама, закутанная в облака белого муслина (хотя, по мнению Уилла, ей гораздо более подошли бы лиловый, малиновый или ярко-синий цвета). Она стояла с таинственной улыбкой, опираясь рукой о косяк; коричневые пальцы были унизаны драгоценностями. Так великая актриса, знаменитая дива, замирает недвижно при первом выходе, переживая аплодисменты своих обожателей.

Чуть позади дамы, терпеливо дожидаясь своей реплики, стоял высокий мужчина в сизовато-сером дакроновом костюме, – коего Муруган приветствовал как мистера Баху. Не выходя из-за кулис, мистер Баху молча поклонился. Муруган обратился к матери.

– Ты пришла сюда пешком? – недоверчиво и с заботливым восхищением спросил он. Подумать только – идти пешком! Да она настоящая героиня! – Весь путь?

– Весь путь, дитя мое, – отозвалась дама с игривой нежностью. Блестящей драгоценностями рукой она обняла стройного юношу и прижала к пышной материнской груди, утопив в складках белого шелка.

– Мне было Повеление.

Рани, заметил Уилл, обладала манерой произносить слова, которые ей хотелось подчеркнуть, как бы с заглавной буквы.

– Внутренний Голос сказал мне: «Иди и навести Незнакомца, который находится у доктора Роберта. Ступай!» «Как? Прямо сейчас? – возразила я. – *Malgre la chaleur*⁴» Чем вывела его из терпения. «Женщина, – сказал он. – Придержи свой глупый язык и делай, что тебе сказано». И вот я здесь, мистер Фарнеби.

Простерев к нему руки, благоухающие сандаловым маслом, она подошла к постели. Уилл, склонившись над пальцами в перстнях, пробормотал что-то вроде: «Ваше высочество...»

– Баху! – окликнула рани своего спутника, пользуясь царской прерогативой обращаться запросто, по фамилии.

Дожидавшийся своей очереди эпизодический актер вышел на сцену и был представлен как Его Превосходительство Абдул Баху, посол Рендана.

– Абдул Пьер Баху – *car sa mere est parisienne*⁵. Но, живя в Нью-Йорке, он овладел английским.

Уилл, пожимая руку послу, заметил, что он похож на Савонаролу – но Савонаролу с моноклем и портным на Савил Роу.

– Баху, – сказала рани, – это Мозг полковника Дайпы.

– Ваше высочество, позвольте заметить, что вы добры ко мне, но едва ли справедливы к полковнику.

Любезность мистера Баху – и в речах, и в манерах – удерживала его на грани ироничности: жалкая пародия на учтивость и самоуничижение.

– Мозг, – продолжал он, – должен находиться там, где ему и надлежит быть: в голове. Что же касается меня, я являюсь всего лишь частью симпатической нервной системы Рендана.

– *Et combien sympathique!*⁶ – сказала рани. – Кстати, мистер Фарнеби. Баху – один из Последних Аристократов. Видели бы вы его поместье. Это «Тысяча и одна ночь»! Стоит

⁴ Несмотря на жару? (франц.)

⁵ так как его мать – парижанка (франц.)

⁶ И насколько симпатичен! (франц.)

лишь хлопнуть в ладоши – и тут же подскакивают шестеро слуг, готовых выполнить любое ваше приказание. Если у вас день рождения, в саду устраивают *fete nocturne*⁷. Две тысячи слуг с факелами! Музыка, прохладительное, танцовщицы... Жизнь Гарун-аль-Рашида, но с поправкой на современность.

– Звучит довольно заманчиво, – сказал Уилл, вспоминая деревушки, мимо которых они с полковником Дайпой проезжали на белом «мерседесе»: убогие мазанки, грязь, больные офтальмией дети, тощие собаки, женщины, согнувшиеся в три погибели под тяжестью ноши.

– А что за вкус, – не умолкала рани, – что за богатство воображения! Но главное, – она понизила голос, – какое глубокое, неиссякаемое Чувство Божественного!

Мистер Баху склонил голову, и воцарилось молчание. Муруган тем временем пододвинул стул. Даже не оборачиваясь, в царственной уверенности, что каждый готов предупредить любую неприятную случайность, которая бы угрожала ее достоинству, рани опустила на стул всей величественной тяжестью своих ста килограммов.

– Надеюсь, мой визит не беспокоит вас, – сказала она Уиллу. Уилл заверил ее, что вовсе нет; однако она продолжала извиняться.

– Мне следовало бы предупредить вас, – говорила она, – попросить позволения прийти. Но Внутренний Голос сказал: «Иди немедленно». Почему? Сама не знаю. Но, не сомневаюсь, мы выйдем на верную тропу.

Рани внимательно поглядела на Уилла огромными, выпуклыми глазами и загадочно улыбнулась.

– А теперь, прежде всего, как вы себя чувствуете, дорогой мистер Фарнеби?

– Как видите, мадам, весьма неплохо.

– Правда?

Глаза навывкате всматривались в его лицо так пристально, что Уилл поневоле почувствовал смущение.

– Я вижу, вы из тех, кто и на смертном одре героически заверяет друзей, что все в порядке.

– Вы мне льстите, – сказал Уилл. – И все же, смею утверждать, со мной действительно все в порядке. Хотя, конечно, это так удивительно, что кажется едва ли не чудом.

– Да, чудом! – подтвердила рани. – Именно так я подумала, услышав о вашем спасении. Это чудо.

– Если повезет, – Уилл снова процитировал «Нигдею», – Провидение оказывается на вашей стороне.

Мистер Баху засмеялся, но, заметив, что рани сохраняет серьезность, спохватился и прикинулся, будто кашляет.

– Как это верно! – богатое контральто рани прозвучало с проникновенным трепетом. – Провидение всегда на нашей стороне.

Уилл с изумлением приподнял брови, и рани пояснила свою мысль.

– Я имею в виду Постигших Истину. Провидение на нашей стороне, даже когда нам кажется, что все против нас, *me me dans le desastre*⁸. Вы, конечно, понимаете французский, мистер Фарнеби?

Уилл кивнул.

– По-французски мне говорить легче, чем на родном языке, и я предпочитаю его английскому или паланезийскому: ведь я столько лет прожила в Швейцарии, – пояснила рани. – Девочкой, когда училась в школе, и потом, – она похлопала Муругана по обнаженной руке, – вместе с сыном, когда со здоровьем у бедняжки было так плохо, что нам пришлось долгое время прожить в горах. И это также служит подтверждению моей мысли: Провидение

⁷ ночной праздник (франц.).

⁸ даже в бедствии (франц.)

всегда на нашей стороне. Когда мне сказали, что мое дитя на грани чахотки, я забыла все на свете. Я обезумела от страха и муки, я упрекала Бога, зачем Он такое допускает. Что за слепота! Мой ребенок поправился, и годы, проведенные посреди вечных снегов, были счастливейшими в нашей жизни. Правда же, дорогой?

– Да, это самые счастливые годы в нашей жизни, – со всею искренностью согласился Муруган.

Рани торжествующе улыбнулась и, выпятив алые губы, громко чмокнула ими, посылая сыну воздушный поцелуй.

– Итак, дорогой Фарнеби, – продолжала она, – вы можете сами убедиться. Это самоочевидно. Ничто не происходит по воле случая. Существует Великое Предустановление, и в нем множество малых предустановлений. Для всех и каждого из нас.

– Верно-верно, – учтиво заметил Уилл.

– Когда-то, – продолжала рани, – я понимала это умом. Но теперь я сердцем чувствую это. Ко мне пришло Понимание, – последнее слово рани произнесла с мистической заглавной.

«Поразительные духовные способности!» – вспомнился Уиллу отзыв о ней Джо Альдехайда.

– Я слышал, мадам, что вы прирожденный экстрасенс.

– Да, я экстрасенс от самого рождения, – подтвердила рани, – но одних природных способностей недостаточно. Необходимо учиться Чему-то Еще.

– Чему же?

– Духовной Жизни. Когда следуешь по пути, все сидхи, все сверхчувственные и чудотворные способности развиваются самопроизвольно.

– В самом деле?!

– Мама способна проделывать самые фантастические вещи, – с гордостью заявил Муруган.

– *N'exagerons pas, cheri.*⁹

– Но это правда, – настаивал Муруган.

– Да, – вмешался посол, – я готов подтвердить. Оговорюсь, с большой неохотой. – Он улыбнулся, как бы посмеиваясь над собой. – Я скептик по натуре, и мне становится не по себе, когда я сталкиваюсь с невероятным. Но я чту истину, и когда невероятное происходит прямо у меня на глазах, я *malgré moi*¹⁰ вынужден засвидетельствовать факт. Ее высочество действительно творит самые фантастические вещи.

– Что ж, пусть так, если вам угодно, – рани лучилась удовольствием. – Но не забывайте, Баху: чудеса совершенно ничего не значат. Важно Другое – То, к чему приходишь в конце Пути.

– После Четвертого Посвящения, – уточнил Муруган, – мама...

– Милый! – рани прижала палец к губам. – Есть вещи, о которых нельзя говорить.

– Извини, – сказал юноша. Наступило долгое, многозначительное молчание.

Рани прикрыла глаза; мистер Баху, уронив свой монокль, последовал ее примеру, являя собой образ молчаливо молящегося Савонаролы. Что скрывалось за этой маской суровой, едва ли не надмирной сосредоточенности? Уилл смотрел и гадал.

– Могу ли я поинтересоваться, мадам, – спросил он, – как вам удалось отыскать этот Путь?

Секунду или две рани продолжала сидеть молча, с закрытыми глазами и таинственной улыбкой Будды.

– Провидение нашло его для меня, – наконец отозвалась она.

⁹ Не будем преувеличивать, милый (франц.)

¹⁰ вопреки себе самому (франц.)

– Да, конечно. Но где и как это случилось, и при чем содействии?

– Я расскажу вам. – Веки рани разомкнулись, и она обратила на Уилла пламенный, пытливый взгляд.

Это случилось в Лозанне, в первый год ее пребывания в Швейцарии; посредником, волей providения, оказалась милая мадам Бюло. Мадам Бюло была женой славного, старого профессора Бюло, того самого педагога, чьей опеке доверил свою наследницу отец рани, последний султан Рендана. Шестидесятисемилетний профессор изучал геологию и был столь суровым протестантом, что если бы не бокал бургундского за обедом, привычка молиться всего два раза в день и строгая приверженность к моногамии, вполне бы мог сойти за мусульманина. Под его надзором принцесса Рендана должна была развиваться интеллектуально, при том, что ее моральным и религиозным убеждениям предстояло остаться незатронутыми. Однако султан не учел, что у профессора есть жена. Мадам Бюло – сорокалетняя женщина в соку, чувствительная, кипящая энтузиазмом; номинально разделяя протестантские убеждения своего мужа, она являла собой новообращенную пылкую теософку. В мансарде их дома, расположенного близ Плас де ла Рипон, она устроила Молельню, куда приходила тайком, чтобы заниматься дыхательной гимнастикой, концентрацией внимания и подъемом кундалини. Упражнения, требующие серьезных усилий! Но награда оказалась грандиозной. Однажды короткой, жаркой летней ночью, пока добрый старый профессор спал, мерно всхрапывая, двумя этажами ниже, мадам Бюло удостоилась Присутствия: ее посетил Учитель Кут Гуми.

Рани многозначительно умолкла.

– Невероятно, – отозвался мистер Баху.

– Невероятно, – почтительно повторил Уилл.

Рани возобновила свой рассказ. Мадам Бюло была вне себя от счастья. Ей нелегко было держать свой опыт в секрете. Начав с таинственных намеков, она наконец доверилась подопечной профессора и пригласила ее в Молельню. Последовал курс обучения, и в скором времени Кут Гуми одарил девушку еще большим благоволением, чем ее наставницу.

– И с самого того дня, – заключила она, – Учитель способствует моему Продвижению Вперед.

«Вперед – только куда?» – спрашивал себя Уилл. Одному Куту Гуми известно. Но к какой бы цели ни двигалась рани, Уиллу была не по душе эта цель. Широкое цветущее лицо правительницы казалось Уиллу неприятным; на нем лежала печать неколебимого, безмятежного самодовольства. Забавно, что она напоминала ему Джо Альдехайда. Джо был одним из тех счастливых магнатов, которые, не ведая приступов малодушия, без стеснения наслаждаются деньгами, вкупе с влиянием и властью, которые дает богатство. И сейчас перед ним, окутанная в белый шелк, мистику и чудеса, сидела как бы сестра-близнец Джо Альдехайда: дама-магнат, завоевавшая рынок, хотя товаром ее были не соевые бобы и не медь, но Чистейшая Духовность и Просветленный Учитель; радуясь успеху, она уже готовилась подсчитывать прибыль.

– Вот один из примеров того, что он делает для меня, – продолжала рани. – Восемь лет назад, а именно, двадцать третьего ноября 1953 года, Учитель посетил меня во время утренней медитации. Явился Собственной Персоной, окруженный Сиянием. «Предстоит Великий Крестовый Поход, – сказал Он, – Мировое Движение за спасение Человечества от самоуничтожения. И ты, дитя мое, являешься Избранным Орудием». «Я – Орудие Мирового Движения? Но это нелепость, – возразила я. – За всю жизнь я не произнесла ни одной речи, не написала ни единой строки для печати. Мне никогда не приходилось ни руководить, ни организовывать». «И все же, – сказал Он улыбаясь (а улыбка Его несказанно прекрасна), – и все же, именно ты возглавишь Крестовый Поход, Всемирный Крестовый Поход Духа. Последуют насмешки, оскорбления: тебя будут называть умалишенной, сочтут фанатичкой. Но, говорят, собака лает, а караван идет. Из жалкого смехотворного начинания Крестовый Поход Духа обратится в Могучую Силу. Силу, служащую Богу, направленную к Спасению Человечества». Сказав так, он оставил меня. Ошеломленную, растерянную, испуганную до

безумия. Но я обязана была повиноваться. И я повиновалась. Каковы же дальнейшие события? Я выступала как оратор – и Он одарял меня красноречием; я взвалила на себя бремя лидерства, и люди следовали за мной, потому что Он шел, невидимый, рядом. Я просила о помощи, и невесть откуда лился поток денег. И вот я здесь, перед вами.

Загадочно улыбаясь, рани развела руками, словно желая сказать: да, я жалкое создание, но принадлежу не себе, а Великому Учителю Кут Гуми.

– И вот я здесь, – повторила она.

– И вот вы здесь, хвала Всевышнему, – преданно произнес мистер Баху.

Выдержав благопристойную паузу, Уилл спросил у рани, продолжала ли она, достигнув столь высокого уровня, практиковаться в молельне мадам Бюло.

– Постоянно, – ответила рани. – Без Медитации, как и без пищи, я не могла бы существовать.

– Вы, наверное, встретили немало к тому помех, когда вышли замуж? Я говорю о годах до вашего возвращения в Швейцарию. Ведь вам приходилось нести множество официальных обязанностей.

– Не говоря уж о неофициальных, – сказала рани, и было ясно: у нее имеется немало нелестных замечаний относительно характера, Weltanschauung¹¹ и сексуальных привычек покойного супруга. Она уже приоткрыла рот, чтобы развить эту тему, но вновь сомкнула губы и посмотрела на Муругана.

– Милый, – позвала она. Муруган, который задумчиво полировал ладонью ногти, виновато вздрогнул.

– Да, мама?

Прощая ему излишнее внимание к собственным ногтям и явное пренебрежение к разговору, рани с обворожительной улыбкой сказала сыну:

– Будь ангелом, ступай и пригони машину. Мой Внутренний Голос не сказал, что домой надо возвращаться пешком. Это всего в нескольких ста ярдах отсюда, – пояснила она Уиллу. – Но в такую жару и в моем возрасте...

Слова ее зывали к опровергающей лести. Но жара не способствовала не только прогулкам пешком; Уиллу не хотелось прилагать усилия, чтобы придать неискренним словам убедительное звучание. К счастью, на выручку пришел профессиональный дипломат и опытный придворный, который сумел загладить невежливость неотесанного журналиста. Мистер Баху звонко, искренне рассмеялся и затем испросил прощения за свое веселье.

– Но разве это не смешно! «В мои годы», – повторил он и засмеялся вновь. – Муругану нет еще восемнадцати, а уж мне ли не знать, сколь юной была принцесса Рендана, когда выходила замуж.

Муруган, тем временем, послушно поднялся и поцеловал матери руку.

– Теперь мы можем говорить более свободно, – сказала рани, едва он вышел из комнаты.

Взглядом, голосом и всем своим колышущимся телом рани выражала недовольство супругом.

De mortuis...¹² Ей не следует ничего говорить о своем супруге, кроме того только, что он во всех отношениях был типичный паланезиец, настоящий представитель своей страны. Под красивой, гладкой кожей паланезийцев кроется, увы, ужасающая порочность.

– Стоит мне только вспомнить, в кого они пытались превратить мое дорогое Дитя! Это было два года назад, когда я разъезжала по свету во имя Крестового Похода Духа.

Звеня браслетами, рани в ужасе воздела руки.

– Для меня было сущей мукой расстаться с ним на такой долгий срок; но Учитель

¹¹ мировоззрения (нем.)

¹² О мертвых... <хорошо либо ничего> (лат.)

повелел мне ехать с Миссией, и Внутренний Голос сказал, что мне не следует брать Дитя с собой. Он и так слишком долго жил за границей. Пора познакомиться со страной, которой он будет править. Вот почему я решила оставить его здесь. Тайным Советом был назначен Комитет Опекунов. Туда вошли две женщины, матери взрослых сыновей, и двое мужчин, одним из которых, к сожалению, – скорее скорбно, нежели с гневом, сказала рани, – оказался доктор Роберт Макфэйл. Короче говоря, едва я очутилась за пределами страны, как эти достопочтенные опекуны, коим я доверила свое Дитя, своего Единственного Сына, принялись методично, повторяю, методично, мистер Фарнеби, подрывать мое влияние. Они пытались разрушить систему Моральных и Духовных Ценностей, над которой я усердно трудилась в течение многих лет.

Уилл не без ехидства (ибо он понимал, конечно, что имеет в виду рани) выразил свое изумление. Система моральных и духовных ценностей? Но Уилл не знает никого добросердечней, чем доктор Роберт и его помощники. Найдется ли другой такой добрый самаритянин, со всею искренностью спешащий на помощь?

– Да, они не лишены милосердия, – сказала рани. – Но милосердие – не единственная добродетель.

– Конечно, нет, – согласился Уилл и перечислил все качества, которых явно недоставало самой рани. – Существует также искренность. Не говоря уж о правдивости, скромности, самоотверженности.

– Вы забываете о Непорочности, – сурово заметила рани. – Непорочность – основа всего, *sine qua non*¹³.

– Но, наверное, здесь, на Пале, так не считают.

– Определенно нет, – сказала рани.

И она продолжила свой рассказ о том, как ее бедное Дитя окружили порочные люди; они покушались на его невинность, подстрекая вступить в связь со скороспелой беспутной девицей, коих на Пале великое множество. А когда этим порочным людям стало ясно, что Муруган не из тех, кто станет соблазнять девушку (ибо рани приучила его смотреть на Женщину как на Святыню), они велели девушке соблазнить его.

Увенчалась ли, гадал Уилл, эта попытка успехом? Или Антиной уже научился презирать девушек, предпочитая им своих юных друзей? А, может быть, их опередил более опытный педераст, швейцарский предшественник полковника Дайпы?

– Но самое худшее было впереди. – Рани понизила голос до «страшного» театрального шепота. – Одна из матерей, входивших в Комитет Опекунов, – матерей, поймите вы это! – посоветовала ему пройти курс уроков.

– По какому предмету?

– Этот предмет они эвфемистически называют любовью.

Рани поморщилась, словно почуяла запах нечистот.

– И эти так называемые уроки, – отвращение в голосе рани сменилось презрением, – ему предстояло получить от Взрослой Женщины!

– О небеса! – воскликнул посол.

– О небеса! – почтительно повторил Уилл. Та взрослая женщина, в глазах рани, была куда более опасной соперницей, чем любая из скороспелых беспутных девиц. Это была мать-конкуренка, которая обладала чудовищно несправедливым преимуществом, так как могла позволить себе вступить в кровосмесительную связь.

– Они обучают... – рани заколебалась, – ...Особой Технике...

– А что это за техника? – поинтересовался Уилл.

Но рани не могла принудить себя снизить до отвратительных подробностей. В этом не было необходимости. Ибо Муруган (подумать только!) отказался от этих уроков. Да, он отказался от уроков разврата, которые должна была ему преподать женщина, по возрасту

¹³ совершенно необходимое условие (лат.)

годящаяся в матери; самая мысль о подобных уроках вызывала у мальчика тошноту. И не удивительно. В нем было воспитано почтительное отношение к Идеалу Непорочности. Брахмачарья, если вам понятно это слово.

– Да-да, – отозвался Уилл.

– Вот почему еще я считаю его болезнь скрытым благословением, истинным перстом Божиим. Живя здесь, на Пале, я не смогла бы воспитать его, как хотела. Слишком много дурных влияний. Под угрозой Непорочность, Семья, даже Материнская Любовь.

Уилл насторожился.

– Как! Они и материнство реформировали?

Она кивнула.

– Вы даже не представляете, сколь далеко здесь все зашло. Но Кут Гуми знал, какого рода опасности нас подстерегают на Пале. И что же? Мой сын заболевает, и доктора посылают нас в Швейцарию. Подальше от Опасности.

– Как же случилось, – недоумевал Уилл, – что Кут Гуми отправил вас в Крестовый Поход одну? Разве он не предвидел, что случится с Муруганом, когда вы покинете его?

– Он предвидел все, – сказала рани. – Искушения, стойкость, массивованная атака всех Сил Зла, и наконец – спасение. Долгое время, – пояснила она, – Муруган не решался писать мне о том, что происходит. Но после трех месяцев осады он не выдержал. В его письмах появились намеки, но я не поняла их, потому что была слишком поглощена поручением Учителя. И наконец, он написал мне письмо, в котором рассказал все. Я отменила последние четыре лекции в Бразилии и прилетела так быстро, как только мог домчать меня самолет. Через неделю мы уже были в Швейцарии. Я и мое Дитя – наедине с Учителем.

Рани закрыла глаза, и выражение экстатического злорадства появилось на ее лице. Уилл с брезгливостью отвернулся. Самозванная спасительница мира, мать, крепко держащая в когтях пожираемого ею ребенка, – способна ли она хоть на миг взглянуть на себя со стороны? Понимает ли, во что превратила – и продолжает превращать – своего несмышленища-сына? На первый вопрос можно не сомневаясь ответить отрицательно. Но над вторым стоит поразмыслить. Возможно, она не подозревает, что делает с мальчиком. Но, скорее всего, знает – и сознательно предпочитает полковника женскому влиянию. Ибо женщина способна вытеснить ее из жизни сына, а полковник – нет.

– Муруган сказал мне, что собирается реформировать эти так называемые реформы.

– Я молюсь только об одном, – проникновенно сказала рани, напомнив Уиллу деда-архидиакона, – чтобы во всех начинаниях моему мальчику были даны Силы и Разум.

– Но как вы расцениваете его проекты? – настаивал Уилл. – Нефть, индустриализация, армия?

– Я не сильна ни в политике, ни в экономике, – усмехнувшись, сказала рани; Уилл вспомнил, что она уже прошла Четвертое Посвящение. – Спросите Баху, что он думает.

– Как представитель чужой страны, я не имею права высказывать мнения.

– Не такой уж и чужой, – возразила рани.

– Для вас – нет. Но не для паланезийского правительства.

– Но это не значит, – вмешался Уилл, – что вы не имеете своей точки зрения. Хотя она, разумеется, и не совпадает с местной, ортодоксальной. Кстати, – добавил он, – я сейчас не облечен профессиональными обязанностями. Это не интервью для прессы, господин посол.

– Что ж, не для прессы и не как официальный представитель, скажу: я полностью одобряю замыслы нашего юного друга.

– Вы считаете, что политика паланезийского правительства в корне неверна.

– Да, в корне неверна, – подтвердил мистер Баху, и на сухощавом лице Савонаролы заиграла вольтеровская улыбка. – Неверна, поскольку уж слишком правильна.

– Правильна? – запротестовала рани. – Что значит правильна?

– Слишком правильна, – пояснил мистер Баху, – оттого что направлена на то, чтобы сделать каждого жителя острова максимально счастливым.

– Но это Ложное Счастье, – воскликнула рани, – и свобода только для Низшего Уровня.

– Я преклоняюсь, – сказал посол, почтительно склонив голову, – перед необыкновенной пронизательностью Вашего Высочества. И все же, на высшем или на низшем уровне, истинное или ложное, счастье всегда остается счастьем, а свобода – свободой. Политика, начало которой положили первые реформаторы и до сих пор придерживаются их последователи, прекрасно приспособлена к достижению этих двух целей.

– Но, по-вашему, это нежелательные цели? – спросил Уилл.

– Напротив, их желает любой. Но, к сожалению, они совершенно не соответствуют ситуации, которая ныне сложилась в мире.

– Возросло ли это несоответствие сейчас по сравнению с теми далекими годами, когда первые реформаторы только начинали работать во имя свободы и счастья?

– В те дни острова Палы еще не было на карте. Идея превращения страны в оазис свободы и счастья не являлась несбыточной. Незатронутое внешним миром идеальное общество имело возможность выжить. И Пала сохраняла жизнеспособность, скажу я вам, до 1905 года. Однако менее чем за одно поколение мир полностью переменялся. Кино, автомобили, самолеты, радио. Массовое производство, массовое уничтожение, массовая коммуникация; но главное – массовость населения: все больше и больше людей в разрастающихся трущобах и предместьях. К 1930 году любому незаинтересованному наблюдателю стало ясно, что для трех четвертей человечества свобода и счастье – едва ли не пустой звук. Сейчас, в шестидесятые, никто уже не задается подобными целями. Внешний мир все тесней и тесней подступает к крохотному островку, где царят счастье и свобода. Подступает неуклонно и неумолимо, все ближе и ближе. Некогда жизнеспособный идеал ныне утратил свою жизнеспособность.

– Следовательно, Пале предстоят перемены?

– Самые решительные, – кивнул мистер Баху.

– И коренные, – изрекла рани с садистическим удовольствием пророка.

– По двум основным причинам, – продолжал мистер Баху. – Во-первых, в наше время невозможно существовать в отрыве от всего мира. И во-вторых: такое существование является несправедливостью по отношению ко всем остальным.

– Что же несправедливого может быть в свободе и счастье?

Рани вновь изрекла нечто вдохновенное о ложном счастье и извращенной свободе. Мистер Баху почтительно согласился с ее замечанием и затем вновь обратился к Уиллу.

– Несправедливо, – настаивал он, – выставлять напоказ свое благополучие перед лицом всеобщих бедствий; это явный *hybris*¹⁴, намеренное оскорбление всего остального человечества. Это, если угодно, неповиновение Богу.

– Богу, – сладострастно пробормотала рани, – Богу...

Она открыла глаза.

– Здесь, на Пале, в Бога не верят, – сказала она. – Они верят только в Гипнотизм, Пантеизм и Свободную Любовь. (Последние два слова она произнесла с подчеркнутым презрением.)

– И потому вы хотите сделать их несчастными в надежде, что к ним вернется вера в Бога? Что ж, это один из путей обращения. Возможно, лекарство окажется действенным, и цель, в конечном счете, оправдывает средства. – Уилл пожал плечами. – Но хорошо это или плохо, – добавил он, – и как бы ни смотрели на это сами паланезийцы, перемены неизбежны. Не надо быть пророком, чтобы предсказать: Муругана ждет успех. Он мчится на гребне волны по океану нефти прямо в будущее. Кстати, – Уилл поглядел на рани, – насколько мне известно, вы знакомы с Джо Альдехайдом, моим старым другом.

– Вы знаете лорда Альдехайда?

– Да.

¹⁴ гордыня (греч.)

– Так вот почему мой Внутренний Голос был так настойчив! – Закрыв глаза, рани улыбнулась про себя и медленно кивнула. – Теперь я понимаю. – Внезапно переменив тон, она спросила: – Как поживает наш дорогой друг?

– Спасибо, по-старому.

– Замечательный человек. L'homme au cerfvolant¹⁵ – так я его называю.

– Человек с воздушным змеем? – удивился Уилл.

– Он делает свое дело вдали от нас, – пояснила рани, – но в руке его нить, к которой привязан змей, а змей всегда стремится взлететь выше и выше, в самую Высь... И пока наш друг держит нить, он чувствует постоянную Тягу из Высоты, рывки Духа, которые не дают покоя плоти. Поразмыслите над этим! Деловой человек, великий Кормчий Индустрии, но Главная Забота для него – это Бессмертие Души.

Наконец-то Уилл понял, что подразумевала рани. Она говорила о склонности Джо Альдехайда к спиритизму. Уиллу вспомнились еженедельные сеансы у миссис Харботтл, чьей рукой водил дух; у миссис Пим, которая поддерживала связь с индейцем по имени Бобу из племени Кьюва; у мисс Тьюк, с ее знаменитым рожком, из которого слышался свистящий шепот оракула, чьи изречения тут же записывались личным секретарем Джо Альдехайда: «Покупай австралийский цемент; не волнуйся о крахе “Готовых Завтраков”; продай сорок процентов каучуковых акций и вложи деньги в ИБМ и Вестингхауз...»

– Он когда-нибудь рассказывал вам, – спросил Уилл, – о ныне покойном биржевом маклере, который всегда знал, каковы будут цены на следующей неделе?

– Сидхи, – снисходительно пояснила рани, – истинный сидхи. Может ли быть иначе! А ведь наш друг только Начинаящий. И в этой жизни бизнес – его карма. Все его дела, все замыслы предопределены. Да, предопределены, – выразительно повторила она и замерла, воздев указательный палец и склонив голову набок, будто прислушивалась. – Все его замыслы предопределены, говорит мне Внутренний Голос, в том числе и великие и чудесные свершения здесь, на острове Пала. Человек, идущий духовным путем, скажет: именно этого я и желал. Не как я хочу, но по воле Божьей. К счастью, – заметила рани, – все мои желания совершенно совпадают с волей Господа.

Уиллу было смешно, но он сохранял серьезный вид.

– Говорит ли вам что-нибудь Внутренний Голос об «Азиатской юго-восточной компании?»

Рани, прислушавшись, кивнула:

– Определенно.

– Но полковник Дайпа советует вам иметь дело со «Стэндрд оф Калифорния». Кстати, почему Пала, выбирая делового партнера, должна равняться на полковника Дайну?

– Мое правительство, – высокопарно заявил мистер Баху, – опирается на Пятилетний план координации и кооперирования экономики обоих островов.

– Это значит, что «Стэндрд» получит монополию?

– Только в том случае, если они предложат самые выгодные, в сравнении с другими конкурентами, условия.

– То есть в том случае, – сказала рани, – если они больше всех заплатят.

– Мы обсуждали этот вопрос с Муруганом как раз перед вашим приходом, – отозвался Уилл. – «Азиатская юго-восточная нефтяная компания», сказал я ему, будет платить Пале столько же, сколько платит «Стэндрд» Рендану, плюс еще немного.

– На пятнадцать процентов больше.

– Давайте скажем: на десять.

– На двенадцать с половиной.

Уилл взглянул на нее с восхищением. Для прошедшей Четвертое Посвящение она торговалась довольно бойко.

¹⁵ Человек с воздушным змеем (франц.)

– Джо Альдехайд будет скрежетать зубами, – сказал он, – но, чувствую, вы все же получите свои двенадцать с половиной.

– Эти условия были бы для нас наиболее привлекательны, – заметил мистер Баху.

– Но есть опасение, что их не примет правительство Палы.

– Правительство Палы, – пообещала рани, – вскоре изменит свою политику.

– Вы так думаете?

– Я это ЗНАЮ, – сказала рани; не приходилось сомневаться, что сведения эти она получила непосредственно из уст Учителя.

– Но после того, как политика изменится, – поинтересовался Уилл, – одобрит ли полковник Дайпа сотрудничество с «Азиатской юго-восточной нефтяной компанией»?

– Вне сомнений.

Уилл взглянул на мистера Баху.

– А вы, господин посол? Поддержите ли вы полковника Дайпу?

Прибегнув к пространным выражениям, как если бы он выступал на пленарном заседании некой международной организации, мистер Баху ответил уклончиво. С одной стороны, да; с другой стороны, нет. Если принять такую-то точку зрения – белое; но глядя под другим углом – определенно черное.

Уилл слушал с вежливым молчанием. Теперь ему было совершенно ясно, что под маской Савонаролы, аристократическим моноклем и посольским многословием скрывается посредник-левантиец, стремящийся получить свое вознаграждение; мелочный крохобор, выклянчивающий чаевые. А сколько обещано царственной посвященной за поддержку «Азиатской юго-восточной нефтяной компании»? Бьюсь об заклад, немалый куш, думал Уилл. Не для себя, что вы, как можно! Но для Крестового Похода Духа, к вящей славе Кут Гуми. Тем временем мистер Баху завершал свою речь на международном заседании.

– Итак, становится понятным, – говорил он, – что любой шаг, сделанный мной, будет зависеть от сопутствующих обстоятельств, по мере развития событий. Я ясно выразил свою мысль?

– Вполне, – заверил его Уилл. – А теперь, – продолжал он с беззастенчивой откровенностью, – позвольте высказаться мне. Все, что меня интересует, – это деньги. Мне нужно две тысячи фунтов, чтобы существовать безбедно. Год свободы за помощь лорду Альдехайду, который задумал прибрать к рукам Палу.

– Лорд Альдехайд, – сказала рани, – очень щедрый человек.

– Да, необыкновенно, – согласился Уилл, – учитывая ничтожность моих стараний. Но чем значительней услуга, тем он щедрей.

Наступило продолжительное молчание. Вдали минах монотонно призывал к вниманию. Внимание к алчности, к лицемерию, к откровенному цинизму... В дверь постучали.

– Войдите, – откликнулся Уилл. – Продолжим разговор в другое время, – сказал он, обернувшись к мистеру Баху. Мистер Баху кивнул.

– Войдите, – повторил Уилл.

В комнату быстро вошла девушка лет восемнадцати, одетая в голубую юбку и короткий жилет без пуговиц; полоска кожи над талией оставалась обнаженной, а короткие полы жилета лишь изредка прикрывали круглые, будто яблоки, груди. Приветливую улыбку на ее глянцеви́то-смуглом лице подчеркивали ямочки на щеках.

– Я – сиделка Аппу, – заговорила она. – Радха Аппу.

Заметив, что у Уилла посетители, девушка осеклась:

– Ах, простите, я не знала.

Она небрежно присела перед рани. Тем временем мистер Баху галантно поднялся со стула.

– Сиделка Аппу! – восторженно воскликнул он. – Мой усердный маленький ангел из больницы в Шиваपुरаме... Какая приятная неожиданность!

Однако Уиллу было ясно, что девушка не разделяет его восторгов по поводу встречи.

– Здравствуйте, мистер Баху, – холодно сказала она и тут же отвернулась, занявшись

своей парусиновой сумкой.

– Ваше Высочество, возможно, позабыли, – сказал мистер Баху, – что прошлым летом мне пришлось лечь на операцию. По поводу грыжи, – пояснил он. – Эта юная особа приходила каждое утро, ровно без четверти девять, чтобы ухаживать за мной. А потом исчезла на много месяцев. И вот я снова вижу ее!

– Пунктуальность, – изрекла рани, – одна из составных Большого Плана.

– Мне нужно сделать укол мистеру Фарнеби, – сказала юная сиделка.

– Предписание врача – закон, – воскликнула рани, явно переигрывая роль царственного персонажа, соблаговолившего выказать милосердие. – Повиноваться значит исполнять. Но где же мой шофер?

– Ваш шофер прибыл, – послышался знакомый голос. Муруган стоял в дверях – прекрасный, как Ганимед. Юная сиделка весело взглянула на него.

– Привет, Муруган, то есть, Ваше Высочество.

Она еще раз небрежно присела, что можно было расценить и как знак почтения, и как ироническую насмешку.

– Привет, Радха, – лениво процедил Муруган. Он подошел к матери. – Машина у дверей, – сказал он. – Точнее говоря, так называемая машина.

С саркастическим смешком он пояснил Уиллу:

– Марка «бейби остин», 1954 года выпуска. Лучшее, что эта передовая страна смогла предоставить царской семье. Рендан снабдил своего посла «бентли», – с горечью добавил он.

– Который прибудет сюда через десять минут, – сказал посол, взглянув на часы. – Позволите ли вы мне расстаться с вами здесь, Ваше высочество?

Рани протянула ему руку. С благоговением добропорядочного католика, целующего перстень кардинала, мистер Баху склонился над ее рукой.

– Я полагаю – хотя, возможно, необоснованно, – обратился он к Уиллу, – что мистер Фарнеби еще немного потерпит мое присутствие. Вы мне позволите остаться?

Уилл заверил посла, что получит от этого только удовольствие.

– Надеюсь, – спросил мистер Баху у сиделки, – что со стороны медицины возражений не последует.

– Со стороны медицины – нет, – отрезала девушка, подразумевая, что помимо медицинских существуют иные доводы против присутствия здесь мистера Баху. Рани, с помощью Муругана, поднялась со стула.

– Au revoir, mon cher¹⁶ Фарнеби, – сказала она, подавая ему украшенную драгоценностями руку. Улыбка ее была так сладка, что показалась Уиллу угрожающей.

– До свидания, мадам.

Рани повернулась, потрепала по щеке юную сиделку и выплыла из комнаты. Подобно полубаркасу в кильватере оснащенного всеми мачтами корабля, Муруган проследовал за ней.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

– Потрясающе! – фыркнула юная сиделка, едва за посетителем захлопнулась входная дверь.

– Полностью с вами согласен, – сказал Уилл. На евангелическом лице мистера Баху промелькнула вольтеровская усмешка.

– Потрясающе, – повторил он. – Именно это слово услышал я от английского школьника, впервые увидевшего египетскую пирамиду. Рани производит похожее впечатление: ей присуща монументальность. Немцы о таких говорили: eine grosse Seele¹⁷.

¹⁶ До свидания, дорогой (франц.)

¹⁷ великая душа (нем.)

Усмешка исчезла, и лицо стало точь-в-точь как у Савонаролы – без сомнения, слова мистера Баху предназначались для печати. Маленькая сиделка неожиданно расхохоталась.

– Над чем вы смеетесь? – любопытствовал Уилл.

– Мне вдруг представилась египетская пирамида, закутанная в белый муслин, – сквозь смех проговорила девушка. – Доктор Роберт называет ее костюм мистической униформой.

– Остроумно, очень остроумно! – заметил мистер Баху. – Но, в самом деле, – добавил он уклончиво, – отчего бы мистикам не носить униформу, если им нравится?

Маленькая сиделка отдышалась, вытерла слезы и занялась приготовлением к инъекции.

– Я знаю, что вы сейчас думаете, – сказала она Уиллу. – Вы думаете, что я слишком молода и не умею как следует делать уколы.

– Да, я действительно считаю, что вы слишком молоды.

– У вас поступают в университет в восемнадцать лет и учатся четыре года. Мы становимся студентами в шестнадцать лет, а заканчиваем обучение в двадцать четыре. Но мы не только учимся, мы еще и работаем. Я вот уже два года изучаю биологию и работаю медсестрой. И потому я не так несмышлена, как кажется. Я уже довольно опытная сиделка.

– Что я могу подтвердить лично, – сказал мистер Баху.

По выражению лица этого весьма искушенного монаха можно было понять, что мисс Радха, помимо высокой профессиональной квалификации, обладает также первоклассной талией, первоклассными бедрами и первоклассным бюстом. Однако было ясно и то, что обладательница всех этих достоинств пренебрегла обожанием галантного Савонаролы. Но посол, не теряя надежды, вновь перешел в наступление.

Юная сиделка зажгла спиртовку и, пока кипятился шприц, измерила, пациенту температуру.

– Девяносто девять и две десятых.

– Это значит, что меня отсюда выставят? – поинтересовался мистер Баху.

– Если только пациент этого пожелает.

– Тогда оставайтесь, – сказал Уилл.

Сделав больному укол, маленькая сиделка достала из сумки пузырек с зеленоватой жидкостью. Наполнив наполовину стакан водой, она влила туда столовую ложку лекарства и разболтала.

– Выпейте-ка вот это, – велела она.

По виду смесь напоминала травяной отвар, наподобие тех, что ревнителю здоровья пьют вместо чая.

– Что это? – осведомился Уилл.

Девушка объяснила, что это – экстракт травы, растущей в горах и по свойствам близкий к валериане. Успокаивает, но не действует как снотворное.

– Мы даем его выздоравливающим, – сказала Радха. – Его назначают также душевнобольным.

– Так кто же я, по-вашему, душевнобольной или выздоравливающий?

– И то, и другое, – не колеблясь, ответила девушка. Уилл рассмеялся.

– Вот что значит напрашиваться на комплименты.

– Я не хотела обидеть вас, – заверила его Радха. – Просто еще не встречался человек оттуда, который был бы душевно здоров.

– Включая посла?

– А как вы думаете? – ответила она вопросом на вопрос. Уилл переадресовал его послу.

– Вы в этом деле знаток, – сказал он.

– Решайте это между собой, – предложила юная сиделка. – А я пойду и приготовлю ленч для пациента.

Мистер Баху поглядел ей вслед; приподняв левую бровь, он выронил монокль и принялся полировать линзы носовым платком.

– У вас свое отклонение от нормы, – сказал он Уиллу, – а у меня свое. Вы шизоид – разве не так? А я параноик. Оба мы – жертва чумы двадцатого века; но, в данном случае, это – не Черная Смерть, а Серая Жизнь. Вас когда-нибудь привлекала власть? – спросил он, помолчав.

– Нет, никогда. – Уилл решительно покачал головой. – Можно ли достигнуть власти, не предав себя?

– И, опасаясь предать себя, вы отказывались от удовольствия помыкать другими людьми?

– Да, страх перевешивал стремление к удовольствию.

– Но хоть однажды вы испытали соблазн?

– Нет, никогда.

Они помолчали. Наконец Уилл, переменяя тон, сказал:

– Давайте вернемся к делу.

– Да, к делу, – повторил господин Баху. – Что вы мне скажете о лорде Альдехайде?

– Рани уже упоминала его редкостную щедрость.

– Меня не интересуют его добродетели. Насколько он умен, вот что меня занимает.

– Достаточно, чтобы понимать: ничего не делается задаром.

– Прекрасно, – сказал мистер Баху. – Тогда передайте ему от меня, что сведущим людям, стоящим у рычагов власти, следует платить примерно вдесятеро больше, чем вам.

– Я напишу ему об этом в письме.

– Напишите сегодня же, – посоветовал мистер Баху. – Завтра вечером из Шивапурама вылетает самолет, а следующего придется ждать целую неделю.

– Спасибо, что предупредили, – ответил Уилл. – А теперь, поскольку ее высочество и этот невыносимый юнец удалились, поговорим о другом искушении. Что вы скажете о сексе?

Мистер Баху замахал перед лицом костлявой коричневой рукой, словно пытаясь отогнать тучу насекомых.

– Телесный зуд, довольно досадный; унижительнейшее раздражение плоти. Но умный человек всегда способен справиться с ним.

– Как трудно понять чужие пороки!

– Вы правы. Каждый привязан к собственному безумию, особо подобранному для него Богом. «Ресса fortiter»¹⁸, советует Лютер. Но старайтесь замечать свои пороки, а не чужие. И главное, в поступках своих старайтесь не подражать жителям этого острова. Не ведите себя так, словно вы здоровы и душой и телом. Все мы – умалишенные грешники на едином вселенском корабле, и корабль этот вот-вот утонет.

– Но крысы не торопятся убежать. Что вы на это скажете?

– Возможно, иные из них пытались бежать. Но не смогли уплыть далеко. История показывает, что крысы всегда тонут вместе с кораблем. Вот почему пример Палы не будет иметь успеха.

Юная сиделка вошла в комнату, неся поднос.

– Пища буддистов, – сказала она, повязывая Уиллу салфетку, – за исключением рыбы. Но мы считаем, что рыба равноценна овощам.

Уилл принялся за еду.

– Кроме рани, Муругана и нас с мистером Баху, – спросил он, прожевав и проглотив первый кусок, – много ли вам доводилось видеть людей оттуда?

– В прошлом году в Шивапурам приезжала группа американских врачей, – ответила девушка. – Я тогда как раз работала в Центральной больнице.

– С какой целью они приезжали?

– Их интересовало, отчего у нас так мало неврозов и кардиологических заболеваний.

¹⁸ Греси усердно (лат.)

Вот уж врачи!.. – Девушка покачала головой. – Признаюсь вам, мистер Фарнеби, у меня волосы встали дыбом. Всех в больнице просто оторопь взяла.

– Вы находите, что наша медицина чрезвычайно примитивна?

– Нет, она не примитивна. Она ужасающа; ее и медициной-то нельзя назвать. Да, ваши антибиотики превосходны. Но лучше бы научиться повышать сопротивляемость организма, чтобы не приходилось к ним прибегать. Вы умеете делать фантастически сложные операции, но не умеете объяснить людям, как надо себя вести, чтобы прожить без них. И так абсолютно во всем. Если ваше здоровье подорвано, вам поставят заплату, но ничего не делается ради его поддержания. Помимо канализационных стоков и искусственных витаминов, профилактика почти отсутствует. А ведь у вас бытует пословица: лучше предупредить, чем лечить.

– Но лечить куда драматичней, чем предупреждать, – отозвался Уилл. – И для врачей значительно выгодней.

– Для ваших врачей – да, – ответила юная сиделка, – но не для наших. Нашим платят за то, что они сохраняют людям здоровье.

– Как же это делается?

– Мы задали себе этот вопрос еще в прошлом веке, и нашли множество ответов. Здесь все имеет значение: химия, психология, диетология, умение заниматься любовью, впечатления от окружающей обстановки, взгляд на свое место в мире...

– И где же вы нашли лучший ответ?

– Не существует отдельных ответов; все надо брать в совокупности.

– Следовательно, панацеи не существует.

– Откуда же ей быть?

И она прочитала стихотворение, которое каждая сиделка обязана затвердить наизусть в первый же день своего обучения:

«Я» – общество, где столько же законов,
Сколь граждан – и составом каждый сложен.
Рецепт единый будет невозможен
Там, где в основе – множество резонов.

– Поэтому, подбирая средства для профилактики или терапии, мы ведем наступление сразу на всех фронтах. Да, сразу на всех, – подчеркнула она, – от диеты до самовнушения, от отрицательных ионов до медитации.

– Разумно, – заметил Уилл.

– Слишком уж разумно, – отозвался мистер Баху. – Бы когда-нибудь пытались образумить маньяка?

Уилл покачал головой.

– Я однажды пытался. – Мистер Баху приподнял со лба седую прядь. У самых корней волос виднелся шрам, странно бледный на коричневой коже. – К счастью, бутылка, которой он меня ударил, оказалась довольно хрупкой.

Пригладив волнистые волосы, мистер Баху повернулся к маленькой сиделке.

– Запомните, мисс Радха: применительно к сумасшедшему, нет ничего безумней разума. Пала – крохотный остров, который со всех сторон окружают двести девяносто миллионов безумцев. И потому избегайте чрезмерного благоразумия. В стране дураков умный королем не станет. – На лице мистера Баху заиграла вольтеровская усмешка. – Его линчуют.

Уилл рассмеялся и вновь взглянул на девушку.

– Много ли у вас кандидатов в психиатрическую лечебницу? – спросил он.

– Такой же процент, как и у вас в отношении к населению в целом. По крайней мере, так говорится в справочниках.

– Следовательно, никакой разницы, в разумном мире ты живешь или нет.

– Только не для тех, кто склонен к душевным заболеваниям в силу биохимических причин. Эти люди рождаются уязвимыми. Мелочи, которых другие не замечают, способны вывести их из равновесия. Мы как раз работаем над выяснением причин подобной уязвимости. Мы уже начали выявлять таких людей прежде, чем происходит срыв. И принимаем меры для повышения сопротивляемости. Вновь профилактика – и опять по всем направлениям в целом.

– Поэтому тем, кто склонен к психозам, следует родиться в разумно устроенном обществе.

– И тем, кто склонен к неврозам. У вас на пятерых, а то и четверых, приходится один невротик. А у нас только один на двадцать человек населения. Если срыв все же случается, такому человеку оказывается всесторонняя помощь. А в отношении остальных девятнадцати предпринимаются широкие профилактические меры. Но вернемся к американским врачам. Трое из них – психиатры, причем один непрерывно курит и говорит с немецким акцентом. И вот он читал нам лекцию. Что это была за лекция! – маленькая сиделка схватила за голову. – Я никогда не слыхала ничего подобного.

– О чем же он рассказывал?

– О том, как лечат больных с невротическими симптомами. Они не применяют комплексного лечения, ограничиваясь полумерами. Физической стороны для них не существует. Пациент, помимо рта и ануса, ничего не имеет. Он не представляет собой целостный организм, не наделен от рождения определенным строением тела или темпераментом. Все, что у него имеется, – это два конца пищеварительного тракта, семья и душа. Но что представляет собой эта душа? Это не психические способности в целом; не та душа, каковой она на самом деле является. Да и как они могут изучать душу, не задумываясь об анатомии, биохимии, физиологии? Душа, оторванная от тела, – вот единственное направление, в котором они атакуют. Да и то далеко не в полном охвате. Лектор с сигарой говорил о бессознательном. Но единственный вид бессознательного, которому уделяется внимание – это негативное бессознательное, то есть мусор, от которого человек пытается избавиться, хороня его на самом дне. Никаких попыток помочь пациенту открыть в себе жизненную силу или природу Будды. Они даже не способны помочь пациенту лучше осознать повседневную жизнь. Вслушайтесь: – Здесь и теперь, друзья. Внимание. – Девушка искусно передразнила минаха. – Ваши врачи оставляют несчастного невротика биться в путах дурных привычек, которые не позволяют ему находиться «здесь» и «теперь». Это же чистейший идиотизм! Впрочем, врач с сигарой не заслужил подобного оправдания: он так умен, что дальше некуда. И потому идиотизм здесь ни при чем. Тут присутствует нечто умышленное, нечто намеренное, вроде того, как некоторые напиваются или убеждают себя, что любая нелепость, встречающаяся в священных писаниях, – истина. А теперь поглядите, кого они находят нормальными. Нормальным считается человек, испытывающий оргазм и приспособленный к жизни в обществе. Это просто поразительно! – Маленькая сиделка вновь схватила за голову. – Они даже не задумываются, что для вас значит этот оргазм и каковы вообще ваши чувства, мысли, ощущения. И потом, что это за общество, в котором вам предстоит жить? Здоровое оно или больное? И даже если здоровое, разве может любой человек быть абсолютно приспособленным к нему?

– Кого Бог хочет погубить, – усмехнувшись, сказал посол, – того он лишает разума. Или, наоборот, делает слишком умным. – Мистер Баху поднялся и подошел к окну. – За мной пришла машина. Я возвращаюсь в Шивапурам, в свой рабочий кабинет.

Посол неспешно и торжественно распрощался с Уиллом. И вдруг добавил скороговоркой:

– Не забудьте про письмо. Это очень важно.

С заговорщицкой улыбкой он пошевелил сложенными в щепоть пальцами, словно пересчитывая невидимые деньги.

– Слава Богу, – сказала юная сиделка, когда он ушел.

– Чем он обидел вас? – поинтересовался Уилл. – Впрочем, догадываюсь. Банальный

случай.

– Разве на родине господина посла принято предлагать деньги, чтобы уложить девушку в постель? А в случае отказа предлагать еще больше?

– Сплошь и рядом, – заверил ее Уилл.

– Мне это не нравится.

– Понимаю. Но могу ли я спросить: что вы думаете о Муругане?

– А почему вы интересуетесь?

– Так просто, из любопытства. Я заметил, что вы с ним знакомы. Вы познакомились, наверное, полтора года назад, когда его мать была в отъезде?

– Откуда вам известно?

– Птичка прощebetала. Вернее, довольно крупная птица.

– Рани! Представляю... Она обрисовала это, как содом и гоморру?

– К сожалению, недостает некоторых сенсационных деталей. Рани ограничилась смутными намеками. Например, упомянула неких престарелых мессалин, которые дают уроки любви невинным юношам.

– Ему не помешали бы такие уроки!

– Рани также упоминала некую скороспелую беспутную девицу, ровесницу Муругана.

Сиделка Аппу расхохоталась.

– Вы ее знаете?

– Эта скороспелая беспутная девица – я.

– Вы? Рани это известно?

– Муруган сообщил ей только факты, не называя имен, за что я ему очень благодарна. Видите ли, я вела себя очень глупо. Потерять голову из-за юноши, которого не любишь, и причинить боль тому, кого любишь. Что может быть глупей?

– Сердцу не прикажешь, – возразил Уилл, – не говоря уж о гормонах.

Они помолчали, думая каждый о своем. Уилл доел вареную рыбу с овощами. Сиделка Аппу подала тарелку с фруктовым салатом.

– Видели бы вы Муругана в белой атласной пижаме!

– А что, производит впечатление?

– Ах, как он хорош в ней! Вы не представляете. Нельзя быть таким красивым! Это даже нечестно. Достается же кому-то такое преимущество!

Увидев Муругана в белой пижаме, Радха окончательно потеряла голову. Два месяца, словно безумная, она, забыв о верном возлюбленном, преследовала человека, который ее терпеть не мог.

– И вам удалось добиться хоть малой благосклонности от юноши в белой пижаме?

– Да, мы уже были в постели. Но когда я поцеловала его, он выскользнул из-под простыни и заперся в ванной. Он не выходил до тех пор, пока я не передала ему пижаму через фрамугу и не пообещала, что не буду приставать. Сейчас я уже могу смеяться, но тогда... – Она покачала головой. – Трагедия, да и только. По моему сердитому виду все сразу поняли, что произошло. Нет, от скороспелой беспутной девицы там не было толку. В чем он нуждался, так это в регулярных уроках.

– Окончание истории мне известно, – сказал Уилл. – Мальчик написал мамочке, та прилетела за ним и умчала в Швейцарию.

– Возвратились они примерно полгода назад. Месяца три провели в Рендане, у тетушки Муругана.

Уилл едва не упомянул полковника Дайпу, но вспомнил о своем обещании Муругану и промолчал. Вдруг за окном в саду раздался свист.

– Простите, – сказала маленькая сиделка и подошла к окну. Радостно улыбнувшись, она помахала рукой.

– Это Ранга.

– Кто такой Ранга?

– Мой друг, которого я упоминала. Он хочет задать вам несколько вопросов. Можно

ему зайти на минутку?

– Конечно.

Радха обернулась и помахала юноше.

– Насколько я понимаю, белая атласная пижама уже позабыта.

Девушка кивнула.

– Трагедия была одноактной. Потерянная голова быстро отыскалась, и я поняла, что он все еще любит и ждет меня.

Дверь распахнулась, и в комнату вошел долговязый молодой человек в легких спортивных туфлях и шортах цвета хаки.

– Ранга Каракура, – представился он, пожимая руку Уиллу.

– Если бы ты пришел на пять минут раньше, – сказала Радха, – имел бы удовольствие встретить мистера Баху.

– Он был здесь? – поморщился Ранга.

– Чем же он нехорош? – спросил Уилл. Ранга предъявил обвинения:

– Первое. Он нас ненавидит. Второе. Он дрессированный шакал полковника Дайпы. Третье. Он является неофициальным представителем всех нефтяных компаний. Четвертое. Этот грязный боров обхаживает Радху. И пятое: он выступает за возрождение религии. Выступает с лекциями и даже книгу об этом написал. Издана она с предисловием ученого богослова из Гарварда. Все это имеет отношение к кампании против независимости Палы. Бог – своего рода алиби для полковника Дайпы. Почему бы преступникам открыто не заявить о своих планах? Но они предпочитают прикрываться высокими устремлениями. Вся эта отвратительная идеалистическая болтовня способна вызвать тошноту.

Радха подошла к нему и потянула за ухо.

– Ты, маленькая... – начал он сердито, но умолк и рассмеялся. – Все равно, – заметил он, – не надо дергать так больно.

– Вы всегда его так останавливаете?

– Да, когда он чересчур раздражен или говорит лишнее.

Уилл обернулся к юноше.

– А вам приходилось драть ее за уши?

Ранга засмеялся.

– Я предпочитаю шлепать ее по мягкому месту, – ответил он. – К сожалению, она редко этого заслуживает.

– Она уравновешенней, чем вы?

– Уравновешенней? Да она чересчур здорова.

– Следовательно, вы просто здоровы.

Ранга покачал головой.

– Пожалуй, имеется небольшой сдвиг влево. Иногда я чувствую ужасную депрессию; мне кажется, я ни к чему не пригоден.

– На самом деле, – сказала Радха, – он такой способный студент, что его посылают в Манчестерский университет изучать биохимию. Даже специальную стипендию для этого выделили.

– И как вы поступаете, когда он принимается разыгрывать перед вами отчаявшегося грешника? Дерете за уши?

– Да, – ответила она, – но есть и другие средства...

Радха и Ранга взглянули друг на друга и расхохотались.

– Совершенно верно, – сказал Уилл. – Но, учитывая эти обстоятельства, охотно ли Ранга расстанется с Палой? Пусть даже всего на пару лет.

– Не очень, – признался Ранга.

– Он должен ехать, – твердо сказала Радха.

– Но, живя там, будет ли он счастлив?

– А вот об этом я и хотел вас спросить, – сказал Ранга.

– Что ж, климат вам не понравится, пища тоже, не говоря уж о шуме и запахах, да и

архитектура покажется непривлекательной. Но вы обязательно увлечетесь работой и, возможно, подружитесь со многими.

– А какие там девушки? – поинтересовалась Радха.

– Что бы вы хотели услышать в ответ? – сказал Уилл. – Утешительную ложь или слова истины?

– Я хочу знать правду.

– Правда, дорогая моя, заключается в том, что Ранга будет иметь головокружительный успех. Многие девушки найдут его неотразимым. И некоторые из них тоже окажутся привлекательными. Каково вам будет, если он не устоит?

– Я буду за него рада.

Уилл поглядел на Рангу.

– А как вы отнесетесь к тому, если Радха найдет утешение с другим юношей, пока вас здесь не будет?

– Мне бы следовало за нее порадоваться; не знаю, сумею ли.

– Вы возьмете с нее обещание хранить верность?

– Я не буду требовать никаких обещаний.

– Несмотря на то, что она ваша девушка?

– Она сама себе хозяйка,

– И Ранга – сам себе хозяин, – ответила маленькая сиделка. – Он волен делать все, что ему хочется.

Уилл вспомнил землянично-розовый альков Бэбз и злобно расхохотался.

– И даже то, чего не хочется, – сказал он.

Юноша и девушка взглянули на него с некоторым изумлением. Уилл спохватился и сказал со спокойной улыбкой:

– Я забыл, что один из вас чересчур здоров, а у другого всего лишь небольшой сдвиг влево. Где вам понять, о чем болтает сумасшедший из большого мира? – Не дав им ответить, он продолжал: – Скажите, давно ли... – Уилл замаялся. – Возможно, я недостаточно скромн... Но тогда вы просто напомните мне, что не следует соваться не в свое дело. И все же, мне хотелось бы знать, из простого человеческого любопытства, давно ли вы стали друзьями.

– Именно друзьями? Или любовниками?

– Что ж, раз зашла о том речь, почему бы не выяснить сразу оба вопроса?

– Так вот, подружились мы с Рангой в раннем детстве. А любовниками стали, когда мне исполнилось пятнадцать с половиной, а Ранге семнадцать лет. И вот уже два с половиной года мы вместе, не считая приключения с белой пижамой.

– И никто не возражал?

– А на каком основании?

– В самом деле, на каком основании? – откликнулся Уилл. – Однако в том мире, где я живу, возражать бы стал всякий.

– А что вы скажете нам о юношах?

– Теоретически, им предписано меньше запретов, чем девушкам. Но на практике... Вообразите, что происходит, когда пять-шесть сотен подростков помещают в одном пансионе. Случается ли у вас здесь такое?

– Конечно.

– Удивительно.

– Чему же тут удивляться?

– Хотя бы тому, что даже девушкам здесь все позволено.

– Но один вид любви не исключает другой.

– И оба вида узаконены?

– Разумеется.

– Значит, никто бы не осудил Муругана, если бы он заинтересовался другим юношей в пижаме?

– Да, если бы они при этом были добрыми друзьями.

– Но, к сожалению, – сказала Радха, – рани сделала все, чтобы он интересовался только ею. Ею и собой.

– И никаких юношей?

– Возможно, сейчас кто-то есть. Не знаю. Но тогда – это я знаю точно – для него никого не существовало. Ни юношей, ни девушек. Только мама, мастурбации и Просветленный Учитель. Список дополняют пластинки с джазовой музыкой, спортивные автомобили и гитлеровские замыслы стать Великим Вождем и превратить Палу в то, что он называет современным государством.

– Три недели назад, – сказал Ранга, – он и рани были во дворце в Шивапуре. Они пригласили нас, студентов университета, и Муруган изложил свои идеи о нефти, индустриализации, телевидении, вооружении и о Крестовом Походе Духа.

– Ему удалось кого-нибудь обратить?

Ранга покачал головой.

– Кому же захочется променять богатую, бесконечно интересную, добрую жизнь на дурную, бедную и неизмеримо скучную? Мы не нуждаемся ни в ваших быстроходных катерах, ни в телевидении. Еще менее нам нужны ваши войны и революции, ваши восстания и политические призывы, и ваша метафизическая чушь из Рима или Москвы. Вы когда-либо слышали о мэйтхуне? – спросил он.

– Мэйтхуне? – спросил он. – Что это такое?

– Обратимся сначала к истории, – ответил Ранга и с солидностью и педантизмом студента, который читает доклад о вещах, недавно им изученных, принялся рассказывать: – Буддизм был занесен на Палу около двенадцати веков назад, но не с Цейлона, а из Бенгалии; была и вторая волна: через Бенгалию из Тибета. Поэтому на Пале исповедуют махаяна-буддизм, насквозь пронизанный тантрой. Вам известно, что такое тантра?

Уилл признался, что имеет о тантре весьма туманное представление.

– Сказать правду, – заявил Ранга со смешком, пробившимся сквозь скорлупу лекторского педантизма, – я и сам знаю не больше вашего. О тантре можно говорить долго, там немало глупостей и предрассудков, которые не стоят внимания. Но есть и здоровая основа. Тантристы не отрицают существования мира, ни его ценности, не стремятся достичь нирваны, чтобы спрятаться от жизни, подобно монахам южной школы. Напротив, они принимают мир и используют все – начиная с собственных поступков и включая зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые впечатления, – чтобы освободиться из тюрьмы собственного «я».

– Звучит неплохо, – скептически вежливо заметил Уилл.

– Но мы на этом не останавливаемся, – заявил Ранга, и студенческий педантизм растворился в горячности юношеского прозелитизма, – и здесь-то и видна разница между вашей и нашей философией. Западные философы, даже лучшие из них, всего лишь неплохие говоруны. Восточным философам зачастую недостает красноречия. Но это не важно. Цель их философии – не слова. Восточная философия прагматична и действенна. Она подобна философии современной физики, однако рассматривает предметы, относящиеся к психологии, и приводит к трансцендентальным результатам. Ваши метафизики, утверждая что-либо о природе человека и о вселенной, не способны научить читателя познавать истинность их высказываний. Мы же свои высказывания сопровождаем целым рядом советов, помогающих на деле убедиться в силе наших утверждений. Например, Tat tvam asi: Ты – это Тот, сердцевина всей нашей философии.

– Tat tvam asi, – повторил Уилл.

– Это кажется утверждением из области метафизики; но в действительности это касается психологического опыта, причем наши философы учат, что нужно сделать, чтобы этот опыт пережить самому и убедиться в истинности высказывания. Средства эти называются йога, дхьяна или дзен, а в особых случаях – мэйтхуна.

– Итак, мы возвращаемся к моему вопросу. Что же такое мэйтхуна?

– Вам следует спросить об этом Радху.

– Так что же это? – обратился Уилл к маленькой сиделке.
– Мэйтхуна, – серьезно ответила девушка, – это йога любви.
– Для посвященных или профанов?
– Не имеет значения.
– Видите ли, – пояснил Ранга, – прибегая к мэйтхуне, вы из профана делаетесь посвященным.

– Буддхатван йоша йонисаншритан, – процитировала девушка.
– Только не на санскрите! Что значат эти слова?
– Как переводится буддхатван, Ранга?
– Буддоподобность, буддоподобие; или состояние просветленности.
Радха кивнула и вновь обратилась к Уиллу.
– Это означает буддоподобие, пребывающее в йони.
– В йони?

Уилл вспомнил маленькие каменные эмблемы Вечной Женственности, которые он купил как сувениры для девиц-секретарш у горбатого продавца *bondieuseries* в Бенаресе. Восемь анн с изображением черных йони, двенадцать – с почитаемыми более священными йони-лингам.

– В буквальном смысле – в йони? Или метафорически?

– Что за нелепый вопрос! – воскликнула маленькая сиделка и звонко, от всей души, расхохоталась. – Кто же занимается любовью метафорически? Буддхатван йони йонисаншритан, – повторила она. – Полнее и буквально не скажешь.

– Вы когда-нибудь слышали об обществе Онейда? – спросил Ранга.

Уилл кивнул. Он был знаком с одним американским историком, который специально изучал общества, возникавшие в девятнадцатом веке.

– Но откуда вы о нем знаете?

– О нем упоминается во всех наших учебниках философии. По существу, мэйтхуна – это то, что в обществе Онейда называлось Мужским Воздержанием и чему римские католики дали наименование *coitus reservatus*¹⁹.

– Резерватус, – повторила маленькая сиделка, – слышать не могу без смеха это слово. Какой зарезервированный молодой человек!

По обе стороны ослепительной белозубой улыбки вновь появились ямочки.

– Не дурачься, – строго сказал Ранга, – все это очень серьезно.

– Но «резерватус» и вправду такое смешное слово! – оправдывалась девушка.

– Короче говоря, – заключил Уилл, – это контроль над рождаемостью без применения контрацептивов.

– Но этим дело не ограничивается, – сказал Ранга. – Мэйтхуна означает нечто еще, гораздо более важное.

Юный педант вновь заявил о себе.

– Вспомните, – настойчиво продолжал Ранга, – вспомните, что особенно подчеркивал Фрейд.

– Трудно сказать. Он выделял много мотивов.

– Но едва ли не важнейший из них – детская сексуальность. В младенчестве и раннем детстве мы обладаем врожденной сексуальностью, не сосредоточенной в половых органах; она как бы разлита по всему телу. Это унаследованный нами рай. Но мы теряем его, когда становимся взрослыми. Мэйтхуна помогает вернуть утраченный нами рай. – Он обернулся к Радхе. – У тебя хорошая память, – сказал он девушке. – Какое высказывание Спинозы приводится в учебнике прикладной философии?

– «Обучите тело множеству вещей, – процитировала девушка, – и это поможет вам усовершенствовать разум и прийти к разумной любви к Богу». Такова цель любой йоги, и в

¹⁹ задержанное совокупление (лат.)

том числе мэйтхуны. Мэйтхуна – самая настоящая йога, – настаивала девушка, – ничем не уступающая ни раджа-, ни карма-, ни хатха-йоге. Она даже превосходит их, если только вы способны это осознать. Мэйтхуна действительно приводит вас туда.

– Куда именно? – спросил Уилл.

– Туда, где вы познаете.

– Что познаю?

– Познаете, кто вы есть на самом деле, и – как это ни невероятно, – добавила девушка, – Tat tvam asi; ты – это Тот, но так же и я; Тот – это я.

На щеках вновь появились ямочки, зубы сверкнули в улыбке.

– Но Тот – это также и он. – Девушка указала на Рангу. – Невероятно, правда? – Поддразнивая Рангу, она высунула язык. – Но все же это факт. Ранга улыбнулся и указательным пальцем надавил на кончик ее носа.

– И не просто факт, – сказал он, – а познанная истина. – Он легонько щелкнул Радху по носу. – Познанная истина, – повторил он, – и потому, девушка, будьте осторожны.

– Удивительно, почему все до сих пор не стали просветленными, – сказал Уилл, – ведь для этого требуется лишь заниматься любовью по особому методу. Чем это объяснить?

– Сейчас объясню, – начал Ранга. Но девушка перебила его.

– Прислушайтесь, – сказала она, – прислушайтесь!

Уилл прислушался. Вдали тихо, но отчетливо звучал странный, не принадлежащий человеку голос, впервые приветствовавший его на Пале: – Внимание, – твердил голос. – Внимание. Внимание.

– Опять эта проклятая птица!

– Но здесь кроется загадка.

– Во внимании? Но только что вы говорили о другом. Как же быть с зарезервированным молодым человеком?

– Это способствует усилению внимания.

– Да, внимание при этом значительно усиливается, – подтвердил Ранга. – И внимание – основная цель мэйтхуны. Техника не просто превращает занятие любовью в йогу, но приводит к особому виду познания. Вы приходите к осознанию ощущений и к осознанию не-чувствия в каждом ощущении.

– Что значит: «осознание не-чувствия»?

– Не-чувствие – это сырой материал для ощущений, который мне поставляет мое не-я.

– И вы внимаете своему «не-я»?

– Конечно.

Уилл повернулся к маленькой сиделке.

– И вы тоже?

– Своему «я» и в то же самое время своему «не-я». И даже тому, что является «я» и «не-я» Ранги; и своему и его телу; всему, что ощущает. Внимаю чувству любви и дружбы, и загадке другой личности – совершенно чужой, которая наполовину является тобою и в то же время не является. И чувствую, что чувствует этот «другой». Ведь он может быть открыт для ощущений или, напротив, жить разумом, и тогда все ощущения представляются ему низкими, лишенными романтизма, грязными. Но они не грязные – ибо, при полном познании их, становятся столь же прекрасны, как многое другое, и едва ли не чудесны.

– Мэйтхуна – это дхьяна, – заключил Ранга, полагая, что новое слово объяснит все.

– Но что такое дхьяна? – не унимался Уилл.

– Дхьяна – это сочувствие.

– Сочувствие?

Уиллу вспомнился землянично-розовый альков на Чаринг Кросс Роуд. Но слово «сочувствие» совершенно не вязалось с этим воспоминанием. И все же, подумал Уилл, даже там он обретал некое убежище. Смена рекламной иллюминации помогала ему уйти от повседневного «я» – но, к сожалению, она уводила Уилла от его существа в целом; это был уход от любви, понимания, общественного признания; от осознания чего-либо, кроме

мучительного безумия зеленовато-трупного или розового свечения дешевой, вульгарной иллюзии.

Уилл вновь взглянул в сияющее лицо Радхи. Каким счастьем оно лучилось! Какая неколебимая убежденность – не в греховности, на которую обречен мир, по мнению мистера Баху, но в противоположной ей непорочной безмятежности и благословенном покое! Это было так бесконечно трогательно! Но Уилл не желал, чтобы это его хоть сколько-нибудь затрагивало. *Noli me tangere*²⁰ – таков категорический императив. Взглянув на проблему под несколько другим углом, Уилл нашел все это донельзя смешным. Что нам следует делать, чтобы спастись? Краткий ответ содержался в непечатном слове.

Улыбнувшись своей невысказанной шутке, Уилл спросил иронически:

– Мэйтхуна, наверное, изучается в школе?

– Да, в школе, – бесхитростно подтвердила Радха, что значительно убавило раблезианский пыл ее собеседника.

– Мэйтхуну изучает каждый, – добавил Ранга.

– И когда же начинается обучение?

– Почти в одно время с тригонометрией и общей биологией. То есть в пятнадцать лет или пятнадцать с половиной.

– А потом – после окончания школы и вступления в брак, если только браки у вас существуют?

– О, конечно же, конечно же, существуют, – уверила его Радха.

– И вступившие в брак практикуют мэйтхуну?

– Не все, разумеется. Но очень многие.

– Постоянно?

– Да, если только они не собираются зачать ребенка.

– А те, кто не хочет иметь детей, но желает внести в свои отношения некоторое разнообразие – как им быть?

– Они применяют контрацептивы.

– А контрацептивы у вас доступны?

– Доступны!.. Контрацептивы у нас распространяются правительством. Свободно, даром – правда, они оплачиваются из налогов. Почтальон в начале каждого месяца приносит тридцать штук – запас вполне достаточный.

– И дети не появляются?

– Только по желанию родителей. В каждой семье не более трех, а некоторые ограничиваются двумя.

– В результате чего, – Ранга вернулся к своей педантичной манере, – наше население увеличивается менее чем на треть процента ежегодно. Тогда как в Рендане прирост столь же велик, как и на Цейлоне: почти три процента. В Китае мы видим два процента, в Индии – один и семь десятых.

– Я был в Китае всего месяц назад, – сказал Уилл. – Ужасающее впечатление! В прошлом году я провел четыре недели в Индии. А до Индии посетил Центральную Америку, где прирост еще больше, чем в Рендане и Цейлоне. Бывал ли кто-нибудь из вас в Рендан-Лобо?

Ранга кивнул утвердительно.

– Всем, кто переходит на последний, шестой курс, где изучается современная социология, необходимо провести три дня в Рендане. Это помогает уяснить, что такое внешний мир.

– И что же вы думаете о внешнем мире? – поинтересовался Уилл. Юноша ответил вопросом на вопрос:

– Когда вы были в Рендан-Лобо, вас водили на окраины?

²⁰ Не тронь меня (лат.)

– Напротив, они всячески старались отвлечь меня от посещения трущоб. Но мне удалось улизнуть.

Улизнуть ему удалось, вспомнил Уилл, когда они возвращались в гостиницу со сквернейшего вечера с коктейлем в министерстве иностранных дел Рендана. Там были все, кто представлял из себя что-либо. Местные сановники в мундирах с медалями в сопровождении супруг – в драгоценностях, в платьях от Диора. Все важные иностранцы – дипломаты, английские и американские нефтяные магнаты, шесть представителей японской торговой миссии, дама-фармаколог из Ленинграда, два польских инженера, турист из Германии, который приходился кузеном Круппу фон Болену, загадочный армянин, представлявший очень важный финансовый консорциум в Танжере, сверкающие победными улыбками, четырнадцать чешских специалистов, которые в прошлом месяце привезли морским путем танки, пушки и пулеметы от «Шкоды». И вот эти люди, говорил он себе, спускаясь по мраморным ступеням Иностранного управления на мостовую Площади Свободы, – вот эти люди правят миром. Нас почти три миллиарда, оставленных на милость тысяче-другой политиканов, магнатов, банкиров и генералов. Вы – цианид земли, а цианид никогда, никогда не потеряет своей силы.

После блистательного вечера с коктейлем, после веселья и ароматов канопе и обрызганных «шанелью» дам, переулки за новехоньким, только что построенным Дворцом Правосудия показались особенно темными и шумливыми; а те несчастные, которые нашли приют под пальмами улицы Независимости, были позабыты и Богом и людьми куда более, нежели тысячи бродяг, лишенных крова и надежды, что лежали вповалку, будто мертвые, на улицах Калькутты. Уилл вспомнил маленького мальчика – крохотный скелетик с огромным, как горшок, животом. Малыш был в синяках и дрожал; он свалился со спины сестренки, которая была немногим старше его.

Уилл поднял ребенка и, сопровождаемый детворой, отнес его домой: домом малышу служила лачуга без окон, где в темноте – Уилл сумел пересчитать, глядя через дверной проем – виднелось еще девять детских голов в лишаих.

– Начинают с прекрасных вещей: выхаживают младенцев, лечат больных, следят, чтобы стоки нечистот не попадали в воду, но к чему все это приводит? К распространению убожества, причем сама цивилизация оказывается под угрозой. – Уилл усмехнулся саркастически. – Одна из вселенских проделок, до которых Бог так охоч.

– Бог здесь ни при чем, – возразил Ранга, – и вселенная тоже. Это дела рук человеческих. Разве они существуют с тою же необходимостью, что и земное притяжение или второй закон термодинамики? Нет, они случаются лишь потому, что люди не умеют предотвращать их. Здесь, на Пале, мы не допускаем подобных «вселенских проделок». При отличных санитарных условиях почти на протяжении века у нас не наблюдалось ни перенаселения, ни убожества, ни диктатуры. А причина проста: мы предпочитаем действовать разумно и реалистически.

– Как вам это удается? – спросил Уилл.

– Умные люди всегда поступают как должно, – сказал Ранга, – но без удачи не обошлось. Ведь Пале, надо признать, неслыханно повезло. Во-первых, остров никогда не был ничьей колонией. Рендан имеет великолепную гавань. Это способствовало вторжению арабов в средние века. У нас нет гавани, и потому арабы не смогли до нас добраться. Мы так и остались буддистами и шиваитами, и при этом – агностиками-тантристами.

– Следовательно, вас можно считать агностиком-тантристом? – поинтересовался Уилл.

– Да, с приправами из махаяны, – уточнил Ранга. – Однако вернемся к Рендану. После арабов его заняли португальцы. А остров Пала продолжал оставаться независимым. Ни гавани, ни португальцев. Ни католического меньшинства, ни ведущей к ужасающей нищете перенаселенности, что якобы является Божьей волей, ни последовательного противостояния контролю над рождаемостью. Но этим наше везение не ограничилось. После сотни лет португальского владычества Цейлон и Рендан попали в зависимость к Нидерландам, а Нидерланды сменила Англия. Мы избегли и той, и другой заразы. Здесь не было ни

голландцев, ни британцев, с их плантациями, трудом кули и экспортом зерна, что привело бы к истощению почвы. Соответственно, никакого виски, кальвинизма, сифилиса, никакого иностранного управления. Мы имели возможность развиваться без иностранного влияния и быть в ответе за собственные дела.

– Вам, безусловно, повезло.

– Но самое удивительное везение, – продолжал Ранга, – состояло в несказанно удачном правлении Муругана Реформатора и Эндрю Макфэйла. Доктор Роберт говорил вам о своем прадеде?

– Всего несколько слов.

– А рассказывал ли он об основании Экспериментальной станции?

Уилл покачал головой.

– Экспериментальная станция, – сказал Ранга, – многое сделала в отношении политики народонаселения. А все началось с голода. До приезда на Палу доктор Эндрю несколько лет проработал в Мадрасе. На второй год его пребывания там перестали дуть муссоны. Зерно было выжжено на корню, водоемы и даже колодцы высохли. Голодали все, кроме англичан и богачей. Люди мерли как мухи. В воспоминаниях доктора Эндрю, известных всем на Пале, есть страницы, где он описывает голод; описания сопровождаются попутными замечаниями. Мальчиком ему пришлось выслушать множество проповедей, и одна из них вспомнилась при виде голодающих индийцев. «Не хлебом единым жив человек», – говорил проповедник, чье красноречие привело к обращению нескольких слушателей. Но без хлеба, убедился доктор, нет ни разума, ни духа, ни внутреннего света; нет и Отца Небесного. А есть только голод и отчаяние, переходящее в предсмертную апатию.

– Еще одна вселенская шуточка, – сказал Уилл, – и слышим мы ее из уст самого Иисуса. «Имущему дастся, а у неимущего отыметса даже то небольшое, что имеет». Как тут сохранить человеческий облик. Самая жестокая из шуток Бога, но зато и самая распространенная. Касается миллионов мужчин, женщин и детей по всему свету.

– Представьте же, какое неизгладимое впечатление произвел голод на доктора Эндрю. Он и его друг раджа решили, что на Пале всегда должен быть хлеб. Так возник замысел основать Экспериментальную станцию. Ротамстед-в-Тропиках имел огромный успех. Всего за несколько лет были выведены новые сорта риса, кукурузы, проса и хлебного дерева. Здесь на Пале лучшие породы домашней птицы и скота, лучшие методы разведения культур и производства удобрений; в пятидесятых мы построили первую фосфатную фабрику к востоку от Берлина. Благодаря всем этим нововведениям жители острова стали значительно лучше питаться, возросла продолжительность жизни и уменьшилась детская смертность. Через десять лет после основания Ротамстеда-в-Тропиках раджа провел перепись. В течение века население количественно не менялось. К моменту переписи оно даже начало увеличиваться. Доктору Эндрю стало ясно, что через пятьдесят-шестьдесят лет остров Пала превратится в разлагающиеся трущобы, вроде нынешнего Рендана. Что было делать? Доктор Эндрю читал Мальтуса. «Средства к существованию могут увеличиваться в арифметической прогрессии, тогда как население возрастает в геометрической». У человека только два пути: либо предоставить Природе решать этот вопрос привычным путем, посредством голода, болезней, войн, либо (Мальтус был священником) уменьшить количество населения, прибегнув к моральному воздержанию.

– «Мор-р-ральное воздержание», – повторила маленькая сиделка, пародируя раскатами «р» шотландского священника. – «Мор-р-ральная узда». Кстати, – добавила она, – доктор Эндрю взял в жены шестнадцатилетнюю племянницу раджи.

– И это стало, – продолжал Ранга, – одной из причин пересмотра учения Мальтуса, который считал: либо голод, либо моральное обуздание. Возможно, существует иной, более счастливый и гуманный способ, помимо мальтусовской рогатки. И такой способ отыскался! Хотя химические и механические средства еще не были изобретены. Но зато имелась губка, а также мыло и кондомы из любого водонепроницаемого материала, от промасленного шелка до овечьей слепой кишки. Целый арсенал для контроля над рождаемостью на острове

Пала.

– Как раджа и его подданные отнеслись к идее контроля? Наверное с ужасом?

– Все нет. Все они – завзятые буддисты. А каждому завязанному буддисту известно, что рождение – это отсроченная гибель. Делай все, чтобы выпасть из круга рождений и смертей. Добропорядочный буддист способен узреть в контроле над рождаемостью метафизический смысл. А для сельской общины производителей риса контроль имеет социальное и экономическое значение. В деревне должно быть достаточно молодых крестьян, чтобы работать в поле и кормить стариков и детей. Но работников не должно быть слишком много, иначе они даже себя не прокормят. В прежние времена в семье рождалось пятеро-шестеро детей, а выживали всего двое-трое. Но потом стали очищать воду и построили Экспериментальную станцию. Из шести стали выживать пятеро. Старые представления о необходимом количестве потомства потеряли смысл. Единственным недостатком контроля над рождаемостью была его неприкрытая грубость. Но, к счастью, нашелся более эстетический вариант. Раджа был тантристом и знал йогу любви. Он рассказал доктору Эндрю о мэйтхуне. Доктор, будучи искренним, честным ученым, пожелал освоить эти сведения на практике. Тогда ему и его юной супруге были преподаны надлежащие уроки.

– Как отнесся доктор к мэйтхуне?

– С восторженным одобрением.

– Таково настроение всякого, познакомившегося с этим искусством, – сказала Радха.

– Ладно уж, не торопись с обобщениями. Кому-то оно нравится, кому-то нет. Но доктор Эндрю стал одним из энтузиастов. Проблему обсудили в целом. Наконец было решено, что контрацептивы, наряду с образованием, будут распространяться бесплатно, поддерживаемые налогом, и хотя не в обязательном порядке, но, по возможности, с наиболее широким охватом. А тех, кто испытывает потребность в чем-то утонченном, будут обучать йоге любви.

– Так был найден выход из положения?

– Да, без особых затруднений. Мэйтхуна – явление ортодоксальное, не идущее наперекор привычной религии. Напротив, многим льстило, что, освоив нечто эзотерическое, они присоединятся к избранным.

– Но самое важное, – сказала Радха, – это то, что для женщин – я имею в виду всех женщин, хоть ты и говоришь о поспешных обобщениях – йога любви означает выход за пределы собственного «я» и достижение совершенства.

Все немного помолчали.

– А сейчас, – бодро сказала маленькая сиделка, – нам пора уходить: время сиесты, и вам надо отдохнуть.

– Пока вы не ушли, – вспомнил Уилл, – мне бы хотелось написать письмо своему боссу. Всего несколько слов, что я жив и мне не грозит быть съеденным местными дикарями.

Радха скрылась в кабинете доктора Роберта и вернулась оттуда с бумагой, карандашом и конвертом.

«Veni, vidi,²¹ – написал Уилл. – Я потерпел кораблекрушение, встретил рани и ее споспешника из Рендана, который предполагает за свои услуги получить бакшиш в размере (он оговорил это особо) двадцати тысяч франков. Принимать ли эти условия? Если да, телеграфируйте: “Статья о’кей”; если нет: “Статья не к спеху”. Передайте матери, что я здоров и скоро напишу».

– Готово, – Уилл вручил Ранге заклеенный и надписанный конверт. – Могу ли я попросить вас приклеить марку и опустить письмо, чтобы оно отправилось с завтрашним самолетом?

– Сделаю непременно, – пообещал юноша.

Глядя им вслед, Уилл почувствовал укол совести. Какие очаровательные молодые

²¹ Пришел, увидел (лат.)

люди! А он, встав на сторону Баху и грубых сил истории, собирается разрушить их мир. Уилл попытался утешить себя мыслью, что не он, так другой, в конечном счете это все равно. И даже если Джо Альдегайд получит свою концессию, эти двое по-прежнему будут заниматься любовью привычным для них способом. Или это станет уже невозможно?

Маленькая сиделка обернулась у двери, чтобы сказать несколько слов на прощание.

– Читать нельзя! – воскликнула она, погрозив пальцем. – Надо спать.

– Я никогда не сплю днем, – возразил Уилл, удивляясь собственному упрямству.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Уилл никогда не мог уснуть днем. Несмотря на то что часы показывали двадцать пять минут пятого, он не чувствовал никакой усталости. Раскрыв «Сочинение об истинном смысле...», он продолжил прерванное чтение.

«Дай же, нам, Господи, нашу насущную веру, но избави нас от верований». На этих словах он остановился сегодня утром. Далее следовал новый, пятый раздел.

«“Я” воображаемое, и “я” действительное – это и несчастье, и конец несчастья. Примерно на треть это несчастье личность, коей я себя считаю, неизбежно должна претерпеть. Оно присуще человеческому существу, является ценой, которую мы платим за способность чувствовать и сознавать; за стремление к свободе – при том, что вынуждены подчиняться законам природы и времени, живя в безразличном по отношению к нам мире в ожидании дряхлости и неминуемой смерти. Но на две трети в наших несчастьях виноваты мы сами; они не обусловлены вселенским миропорядком, и потому необязательны».

Уилл перевернул страницу. Листок бумаги выскользнул и упал на кровать. Уилл взял листок и взглянул на него. Двадцать строк мелкого четкого почерка, и ниже инициалы: С. М. Пожалуй, это не письмо: скорее стихи, и потому – общественное достояние. Уилл прочел:

Где-то между животным молчанием
И миллионом воскресных проповедей;
Где-то между Кальвином на Христе (да поможет нам Бог!) и
ящерицами;
Где-то между видимым и слышимым,
Где-то между липким, тягучим словесным потоком
И первой звездой, и тучами мошкары,
Вьющейся над призраками цветов,
В ясной пустоте – я, и уже не я,
По-прежнему вспоминаю
Непрочную мудрость любви, оставшейся на ином берегу,
И, слушая ветер, вспоминаю
Ту ночь, первую ночь вдовства,
Бессонную, со смертью, притаившейся в темноте.
Все, все принимаю с неизбежностью;
Но я, и уже не я,
В ясной пустоте меж мыслью и молчанием
Вижу все: прежнее счастье и утрату, радость и боль,
Блещающие, как генцианы в альпийской траве,
Голубые, свободные, распахнутые.

«Как генцианы», – повторил про себя Уилл, и вспомнил лето в Швейцарии: ему было двенадцать, и он проводил там свои каникулы. Уиллу вспомнился луг высоко над Гриндельвальдом, с незнакомыми цветами и чудесными неанглийскими бабочками; ему вспомнилось темно-голубое небо и залитые солнцем огромные смеющиеся вершины по другую сторону долины. Однако отец – и придет же такое в голову! – сравнил вид

окрестностей с рекламой молочного шоколада Нестле. Не настоящего шоколада, настаивал с гримасой отвращения отец, а молочного.

Затем последовало ироническое замечание об акварели, которую рисовала мать. У бедняжки это получалось из рук вон плохо, но она вкладывала в свое искусство столько любви и старания!

– Реклама молочного шоколада, которая Нестле не подошла.

Теперь была его, Уилла, очередь.

– Что ты застыл с разинутым ртом, как деревенский дурень? Найди себе занятие поумней; например, повтори немецкую грамматику.

Нырнув в рюкзак и покопавшись там, отец извлек из-под сваренных вкрутую яиц и сэндвичей ненавистную коричневую книжицу. Что за тяжелый человек! И все же, если Сьюзила права, он должен видеть его сияющим, как генцианы, – Уилл перечел последнюю строку: «Голубые, свободные, распахнутые».

– Что ж... – послышался знакомый голос. Уилл взглянул на дверь.

– Легки на помине! – сказал он. – Стоит вас только вспомнить или прочесть ваши стихи, тут же являетесь.

Сьюзила взяла листок.

– Ах, это! – воскликнула она. – Увы, благих намерений недостаточно, чтобы получились хорошие стихи.

Вздохнув, она покачала головой.

– Я пытался представить своего отца в виде генцианы, – сказал Уилл. – Но удалось увидеть только огромную кучу дерьма.

– И дерьмо может восприниматься как генцианы, – уверила его Сьюзила.

– Однако для этого надо поместить его в ясную пустоту между мыслью и молчанием.

Сьюзила кивнула.

– Как же туда попасть?

– Спешить не надо. Она сама придет к вам. Или, вернее сказать, она уже здесь, с вами.

– Вы будто Радха, – пожаловался Уилл, – твердите как попугай то, что старый раджа говорит в начале книги.

– Мы повторяем эти слова, – сказала Сьюзила, – потому что в них заключается истина. Не повторять их – значит не считаться с опытом.

– С чьим опытом? – спросил Уилл. – Наверняка не с моим.

– Сейчас – да, – согласилась его собеседница, – но если бы вы последовали советам старого раджи, этот опыт стал бы вашим.

– У вас были трудности в отношениях с родителями? – поинтересовался Уилл. – Или вы всегда смотрели на дерьмо как на генцианы?

– Только не в том возрасте, – ответила Сьюзила. – Дети – это дуалисты-манихеи. Такова цена, которую приходится платить за познание рудиментов человеческого существа. Только взрослые умеют смотреть и на дерьмо, и на генцианы как на Генцианы, с заглавной буквы.

– И как же вы воспринимали своих родителей? С улыбкой терпели невыносимое? Или они были вполне сносными людьми?

– Да, каждый в отдельности был вполне сносным человеком, особенно отец. Но вместе они были ужасны. Они не выносили друг друга. Если женщина – напористая, веселая – выходит замуж за унылого интроверта, она будет раздражать его постоянно, даже в постели. Ей требуется непрерывное общение, а ему оно не нужно вовсе. Он склонен считать ее пустой и неискренней, а она думает, что он бессердечен, горд и не способен испытывать простые человеческие чувства.

– Не ожидал, что и у вас люди попадают в такие ловушки.

– Но и здесь все предусмотрено, – заверила его Сьюзила. – Еще в школе детей готовят к тому, что им предстоит, возможно, жить с человеком, чей темперамент и психика совсем иные. К сожалению, в некоторых случаях эти знания не помогают. Не говоря уж о том, что

разница меж людьми бывает столь велика, что невозможно перекинуть мост. Во всяком случае, моим родителям так и не удалось это сделать. Бог знает, почему они полюбили друг друга. Но когда они сблизились, мать почувствовала себя уязвленной замкнутостью отца, тогда как бурные проявления ее привязанности воспринимались им с ужасом и отвращением. Я сочувствовала отцу. По складу характера я похожа на него, а не на мать. Помню, как меня, еще совсем кроху, угнетала ее суматошность. Она никогда не оставляла нас в покое. И до сих пор она не изменилась.

– Вам часто приходится ее навещать?

– Нет, мы видимся крайне редко. У нее своя работа, свои друзья. В этом конце земли. Мать – это, строго говоря, наименование функции. Когда функция исчерпана, наименование теряет свой смысл; между выросшим ребенком и женщиной, которая именовалась «матерью», складываются новые отношения. При наличии общего языка эти двое видятся постоянно. В противном случае – расстаются. Никто не ждет, что они будут вместе. Быть вместе еще не значит любить друг друга или доверять друг другу.

– Итак, сейчас все в порядке. Но тогда? Каково ребенку взрослеть в окружении людей, не способных понять друг друга? Уж я-то знаю, как заканчиваются подобные сказки: «Они жили долго, но несчастливо».

– Не сомневаюсь, – сказала Сьюзила, – что если бы мы не родились на Пале, жизнь сложилась бы неудачно. А так все устроилось довольно неплохо.

– Как же вам это удалось?

– Мы тут ни при чем, за нас все сделали другие. Вы уже прочли, что пишет старый раджа о двух третях горестей, которые мы изобретаем сами?

Уилл кивнул.

– Я как раз читал это, когда вы вошли.

– В старые недобрые времена, – сказала Сьюзила, – в паланезийских семьях были свои жертвы и тираны; в отношениях царилась ложь – точь-в-точь как в ваших семьях. Положение дел было настолько ужасным, что доктор Эндрю и раджа-реформатор решили: надо что-то делать. Буддистская этика и примитивный сельский коммунизм как нельзя лучше способствовали достижению намеченной цели, и в течение одного поколения семья изменилась до неузнаваемости.

Сьюзила умолкла, заколебавшись.

– Я попробую объяснить на собственном примере. Я была единственным ребенком в семье, и мои родители постоянно ссорились друг на друга, если уж прямо не ссорились. В прежние времена ребенок в подобной обстановке непременно вырос бы нервным, бунтовщиком или приспособленцем. Но при новых условиях нет необходимости выносить эти муки. Я не стала нервным, и мне не пришлось ни бунтовать, ни лицемерить. Почему? Потому что с самых первых моих шагов у меня появилась возможность спастись.

– Спасти? – переспросил он. – Спасти! Слишком хорошо, чтобы быть похожим на правду.

– Спасение, – пояснила она, – заключается во вхождении в новую семью. Когда «дом родной, дом желанный» становится невыносимым, ребенку позволено перейти в другую семью; его даже следует побудить к этому решению – таково общественное мнение.

– Сколько же семей имеет ребенок на Пале?

– Примерно двадцать.

– Двадцать! О Боже!

– Все мы входим в КВУ – Клуб Взаимного Усыновления. Каждое Общество состоит из пятнадцати-двадцати супружеских пар. Молодожены, пожилые супруги, у которых дети уже взрослые, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, – каждая семья усыновляет или удочеряет кого-то. И потому, помимо кровной родни, все мы имеем названных матерей и отцов, названных братьев и сестер, и приемных детей – и младенцев и подростков.

Уилл покачал головой.

– Двадцать семей вместо одной!

– Да, но одна семья – это семья вашего типа. А двадцать семей – это семья нашего типа.

Сьюзила стала перечислять, словно читая рецепт из кулинарной книги:

– «Берете одного наемного рабочего-импотента и одну неудовлетворенную женщину; двух или – предпочтительней – трех малолетних теленаркоманов; маринуете в рассоле фрейдизма и разжиженного христианства, и затем плотно закупориваете в четырехкомнатной квартире лет на пятнадцать». Наш рецепт иной: «Берете двадцать сексуально удовлетворенных пар и их потомство; добавляете знания, интуицию и юмор в равных частях; помещаете в тантристский буддизм и медленно кипятите неограниченное количество времени в открытой сковороде на живом огне любви».

– И что вы потом снимаете со сковороды? – спросил Уилл.

– Совершенно другой тип семьи. Не замкнутой, как ваша, без ограничений и принуждения. Открытая, подвижная, свободная семья. Двадцать пар отцов и матерей, восемь-девять пар дедушек и бабушек, и сорок-пятьдесят детей всех возрастов.

– Вы входите в один и тот же Клуб на протяжении всей жизни?

– Конечно, нет. Выросшие дети не станут усыновлять собственных родителей, братьев и сестер. Они выходят из этого клуба и принимают других стариков, новую группу взрослых и юных. А члены нового общества принимают их – и их детей. Гибридизация микрокультур – вот как наши социологи называют этот процесс. Это действует также благотворно, как выведение новых сортов кукурузы или новых пород цыплят. Отношения становятся здоровей, увеличивается привязанность, углубляется взаимопонимание. Любовь и понимание для каждого, от младенцев до столетних стариков.

– Столетних? Какова же у вас продолжительность жизни?

– На один-два года больше, чем у вас, – ответила Сьюзила. – Десяти процентам населения за шестьдесят пять лет. Старики, если не могут работать, получают пенсию. Но пенсия – это еще не все. Им необходимо заниматься чем-либо полезным; они хотят заботиться о ком-то, хотят, чтобы их, в свою очередь, любили. Клуб Взаимного Усыновления удовлетворяет все их потребности.

– Все это звучит довольно подозрительно, – сказал Уилл, – точь-в-точь как пропаганда китайских коммун.

– Китайские коммуны – полная противоположность КВУ. Клуб Взаимного Усыновления управляется не правительством, а входящими туда людьми. Мы не милитаристы. Наша забота – это не воспитание послушных членов партии, но воспитание хороших людей. Мы никому не внушаем догмы. И потом, мы ведь не отнимаем детей у родителей; напротив, дети получают много новых родителей, а родители – детей. Это значит, что уже в детстве мы наслаждаемся свободой, а с возрастом эта свобода увеличивается, по мере того как мы становимся опытней и на нас ложится больше ответственности. Тогда как в Китае свободы нет вообще. Дети помещаются в государственные учреждения, где их дрессируют, превращая в послушных слуг государства. В вашем мире дела обстоят лучше, но все же не слишком хорошо. У вас нет государственных учреждений, где укрощают детей; но дети живут в замкнутых семьях, с одним набором родственников и родителей. И вы не можете расстаться с ними, чтобы отдохнуть в иной моральной и психологической атмосфере. Да, вы свободны – но это свобода в телефонной будке.

– В запертой будке, – поддержал ее Уилл. – И там сидят вместе (я вспоминаю свое детство) язвительный задира и христианская мученица, а с ними маленький мальчик. Задира изводит его, а мученица шантажирует, и он боится их до безумия. Так жили мы, и я не имел возможности спастись, пока тетя Мэри не поселилась рядом. В то время мне уже исполнилось четырнадцать.

– А ваши несчастные родители не могли спастись от вас.

– Это не совсем так. Мой отец находил выход в бренди, а мать в высоком англиканстве. Мне пришлось все это терпеть без малейшего послабления. Четырнадцать лет семейного рабства. Как я завидую вам! Вы были свободны как птица.

– Поменьше лирики. Я была свободна, как взрослеющий человек, как будущая

женщина, но не более. Взаимное усыновление защищает детей от несправедливости и еще худших последствий родительской глупости. Но оно не защищает их от дисциплины и ответственности. Напротив, ответственность увеличивается; дети усваивают много новых навыков. В ваших замкнутых, ограниченных семьях дети отбывают долгий срок заключения, где тюремщики – родительская пара. Эти тюремщики могут оказаться, конечно, добрыми и понимающими, в таком случае маленьким заключенным не будет причинено большого вреда. Но надо учесть, что, как правило, родители-тюремщики не слишком добры, мудры, умны. При добрых намерениях они могут оказаться глупыми или легкомысленными – без добрых намерений, или невротиками, или попросту злыми людьми, а то и сумасшедшими. Да поможет Бог юным осужденным, которых закон, обычай и религия вверили родительскому милосердию! А теперь взгляните, что происходит в большой, добровольной семье. Там нет ни телефонных будок, ни тесных тюремных камер. Дети вырастают в мире, представляющем собой модель общества в целом – маленькую, но точную модель большого мира, в котором им предстоит жить. «Праведность», «правильность», «правда» – все это оттенки одного и того же смысла. И корни, и ствол нашей семьи, открытой и добровольной, развиваются правильно, и потому наша семья – праведна. А ваши семьи порочны.

– Аминь, – сказал Уилл, вновь вспоминая свое детство и думая о бедняге Муругане, находящемся в когтях у своей матери. – Надолго ли уходят дети из родного дома? – спросил он после некоторой паузы.

– Это зависит от разных обстоятельств. Когда мои дети устают от меня, они уходят на день-другой, но не больше. Мои дети дома счастливы. А я, бывало, не жила в родительском доме по целому месяцу.

– А приемные родители не настраивали вас против родных отца и матери?

– Такого не случалось. Все делалось для того, чтобы люди любили и понимали друг друга. Если ребенок чувствует себя лишним в своем родном доме, мы стараемся, чтобы он обрел счастье в пятнадцати-двадцати других домах. Тем временем отца и мать ненавязчиво вразумляют другие члены клуба. Проходит несколько недель – и родители готовы к встрече со своими детьми, а дети – со своими родителями. Но не подумайте, что дети живут у «добавочных» родителей только в случае разногласий с родными. Они переходят из семьи в семью, чувствуя потребность в новом опыте. В каждой семье приемные дети, помимо прав, имеют свои обязанности: они расчесывают собак, или чистят птичьи клетки, или приглядывают за малышами, пока мать чем-то занята. Обязанности, а не только привилегии – но не в ваших душных телефонных будках. Права и обязанности в большой, открытой семье, где сошлись все семь человеческих возрастов, где можно проявить свои способности и навыки: дети учатся всему важному и значительному, что выпадает на долю человеку; дети познают, что такое труд, игра, любовь, старость, болезни и смерть...

Сьюзила замолчала, вспомнив о Дугалде и его матери; и затем, другим тоном, спросила:

– Но как вы себя чувствуете? Я так увлеклась, рассказывая о семьях, что забыла спросить об этом. Сегодня вы выглядите гораздо лучше чем, вчера.

– Спасибо доктору Макфэйлу. А также той, кто, подозреваю, лечит без лицензии. Что это вы вчера со мной сделали?

Сьюзила улыбнулась.

– Вы все сделали сами, – заверила она его, – я попросту нажимала на клавиши.

– Какие клавиши?

– Клавиши памяти, клавиши воображения.

– И этого оказалось достаточно, чтобы погрузить меня в гипнотический сон?

– Да, если вы так называете это состояние.

– А как же оно называется?

– Нужно ли всему давать название? Имена порождают вопросы. Разве недостаточно просто знать, что это существует?

– Но что существует?

– Начнем с того, что мы достигли некоторого взаимопонимания, не правда ли?

– Разумеется, – согласился он. – Но я ведь даже не смотрел на вас.

Однако сейчас он смотрел на нее – и удивлялся, пытаясь угадать, что скрывается за серьезным лицом с плавными чертами, что видят ее глаза, когда она вот так испытующе глядит на него?

– Как вы могли на меня смотреть? – спросила она. – Вы ушли, чтобы отдохнуть.

– Ушел добровольно или меня заставили?

– Заставили? Вовсе нет, – она покачала головой. – Правильней будет сказать: сопроводили, помогли.

Они помолчали.

– Вы когда-нибудь пытались заняться делом, когда рядом крутится ребенок? – спросила Сьюзила.

Уилл рассказал, как однажды сын соседей по дому предложил ему помочь покрасить мебель в столовой, и рассмеялся, вспомнив свое раздражение.

– Бедный малыш! – отозвалась Сьюзила. – Ему так хотелось сделать что-то хорошее...

– Но пятна краски на ковре, испачканные стены...

– И в конце концов вы от него избавились. «Ступай отсюда, малыш! Иди поиграй в саду!»

Они вновь помолчали.

– Ну и что же? – спросил наконец Уилл.

– А вы не понимаете?

Уилл покачал головой.

– Если вы больны или ранены, кто вас лечит? Кто исцеляет раны, борется с инфекцией? Разве вы сами?

– А кто?

– Но, может быть, все это делаете вы? Человек, страдающий от боли, и размышляющий о грехе, о деньгах и о будущем! Разве вы в состоянии сделать самое необходимое?

– О, теперь я вижу, к чему вы клоните.

– Наконец-то! – засмеялась она.

– Вы отправили меня погулять в саду, пока взрослые работали без помех... Но кто же эти взрослые?

– Этот вопрос следует задать не мне, а нейротеологу.

– Кому?

– Нейротеологу. То есть тому, кто способен мыслить о людях и в категориях Чистой, Светлой Пустоты, и в понятиях науки о нервной системе. Взрослый человек – это сочетание Души и физиологии.

– А дети?

– А дети – это такие маленькие создания, которые воображают, будто знают все лучше взрослых.

– И потому их отсылают играть.

– Вот именно.

– Так принято поступать на Пале?

– Да, так принято, – подтвердила Сьюзила. – Ваши врачи отсылают детей, отравляя их барбитуратами. А мы это делаем, рассказывая о соборах и галках. – Голос ее снова сделался певучим. – Об облаках, плывущих в небе, и белых лебедях, скользящих по темной, гладкой, неодолимой реке жизни.

– Ладно, ладно, – запротестовал Уилл, – хватит с меня!

Улыбка озарила смуглое лицо Сьюзилы, и она расхохоталась. Уилл смотрел на нее с изумлением. Перед ним был совсем другой человек, совершенно иная Сьюзила Макфэйл – веселая, лукавая, ироничная.

– Знаю я ваши фокусы, – добавил Уилл, тоже засмеявшись.

– Фокусы? – Сьюзила, все еще смеясь, покачала головой. – Сейчас я объясню, как это делается.

– Я уже знаю, как это делается. И знаю, как это помогает. Поэтому, при необходимости, разрешаю вам опять прибегнуть к испытанному средству.

– Хотите, – посерьезнев, предложила она, – я научу вас нажимать на собственные клавиши? Нас этому учат в начальной школе. Три главных предмета плюс основы С. О.

– А это что такое?

– Самоопределение. Или так называемое Управление неизбежностью.

– Управление неизбежностью? – Уилл с удивлением приподнял брови.

– Нет-нет, – предупредила его Сьюзила, – мы вовсе не такие глупцы, какими вы готовы нас счесть. Мы прекрасно сознаем, что только часть неизбежности поддается управлению.

– И вы управляете ею, нажимая на клавиши?

– Да, нажимая на клавиши, а также стараясь предвидеть, что должно произойти.

– И удается?

– Во многих случаях – да.

– Как просто! – не без иронии заметил Уилл.

– На удивление просто, – согласилась Сьюзила. – И, насколько мне известно, только у нас, на Пале, преподают детям этот предмет. Ваши педагоги знакомят детей с правилами поведения, и этим все ограничивается. Веди себя хорошо, говорят они. Но как этого достичь? Никто не задается подобными вопросами. Детей понукают и наказывают.

– Чистейший идиотизм, – согласился Уилл, вспоминая мистера Крэбба, хозяина пансиона, разглагольствовавшего об онанизме, битье линейкой по рукам, еженедельные проповеди и покаянные службы. «Проклят возлегший с женой своего соседа. Аминь».

– Дети, всерьез воспринимая либо не воспринимая этот идиотизм, вырастают несчастными грешниками или циниками, марксистами или папистами. Неудивительно, что у вас тысячи тюрем, церквей и партячеек.

– А здесь, на Пале, нет ни церквей, ни партячеек, ни тюрем?

– У нас нет ни Алькатrazов, ни Билли Грэхемов, ни Мао Цзедунов, ни мадонн из Фатимы. Ни ада на земле, ни христианского пирога в небе, ни коммунистического пирога в двадцать втором веке. Только люди, пытающиеся жить с максимальной полнотой «здесь и теперь», а не где-то там еще – в другом времени и другом, воображаемом мире, как это делается у вас. И это не ваша вина. Вы вынуждены так жить, потому что действительность разочаровывает. Это так, ибо вы не умеете преодолевать разрыв между теорией и практикой, между решениями и вашим реальным поведением.

– «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю», – процитировал Уилл.

– Чьи это слова?

– Это сказал изобретатель христианства, апостол Павел.

– Вы обладаете высочайшими идеалами, но не знаете, как претворить их в жизнь.

– Зато мы знаем, что это сделал Некто сверхъестественным путем.

И Уилл запел:

Источник полон пред тобой:
Струится кровь Христова;
Омойся, грешник, кровью той,
И будешь чист ты снова.

– Вот поистине непристойность! – Сьюзила заткнула уши.

– Любимый гимн моего хозяина, – пояснил Уилл. – Мы пели его раз в неделю, когда я учился в школе.

– Слава Богу, – сказала она, – в буддизме нет никакой крови. Гаутама прожил около восьмидесяти лет и умер оттого, что был слишком вежлив и не мог отказаться от дурной

пищи. Насильственная смерть всегда взывает к насильственной смерти. «Если ты не веришь, что будешь искуплен кровью искупителя, я утоплю тебя в твоей собственной крови». В прошлом году я в Шиваपुरаме изучала историю христианства. – Сьюзила поежилась. – Какой ужас! И все оттого, что этот бедняга не знал, как воплотить свои добрые намерения.

– И большинство из нас, – сказал Уилл, – в том же положении. Мы не желаем зла, но творим его. Да еще как!

Уилл Фарнеби презрительно засмеялся. Да, он понимал, что Молли добродетельна – и предпочел розовый альков, а вкуче с ним – горе и смерть Молли и гнетущее чувство вины. А потом последовала боль – мучительная и несоизмеримая с той низменной, смехотворной причиной, коей она была вызвана. Бэбз сделала то, что любой дурак мог предвидеть – изгнала его из inferнального, освещенного рекламным свечением рая и завела нового любовника.

– Над чем вы смеетесь? – спросила Сьюзила.

– Да так, ничего особенного. Почему вы спрашиваете?

– Потому что вы не слишком хорошо умеете скрывать свои настроения. Сейчас вы думаете о чем-то, что заставляет вас чувствовать себя несчастным.

– Вы наблюдательны, – сказал Уилл и отвел глаза.

Наступило долгое молчание. Рассказать ли ей? Стоит ли рассказывать ей о Бэбз, о бедняге Молли и о себе самом, обо всех этих гнетущих и бессмысленных вещах, о которых он, даже напившись, не может рассказать своим друзьям? Старые друзья многое знали и о той и о другой, а также о нелепой, запутанной игре, которую вел он как английский джентльмен – и в то же самое время представитель богемы и подающий надежды поэт, понемногу понимая, что никогда не станет настоящим поэтом, а так и будет писать остросюжетные статьи, работая частным корреспондентом и получая весьма немалые деньги от презренного работодателя. А играл он эту игру довольно искусно. Нет, старые друзья не подойдут. Но эта смуглая незнакомая женщина – чужая ему, которой он уже стольким обязан и которая – хотя он ничего не знал о ней – была ему так близка, – эта женщина не станет делать поспешных выводов, выносить суждений *ex parte*²², но, напротив, – он надеялся, хотя давно уже отучил себя надеяться! – принесет ему неожиданную радость, сумеет помочь ему. Одному лишь Богу было ведомо, как нуждался он в помощи, но был слишком горд, чтобы просить о ней.

Говорящая птица принялась выкрикивать с высокой пальмы, окруженной манговыми деревьями, словно муэдзин с минарета: «Здесь и теперь, друзья! Здесь и теперь!»

Уилл решил сделать первый шаг – но так, чтобы это было не слишком очевидно, – заговорить с ней, только не о своих, а о ее проблемах.

Не глядя на Сьюзилу (потому что это, он чувствовал, было бы бестактно), он заговорил.

– Доктор Макфэйл говорил мне о том, что... о том, что случилось с вашим мужем.

Слова вонзились ей в сердце, как острый нож, но не были неожиданностью, это было правомерно и неизбежно.

– В ближайшую среду будет четыре месяца, – сказала она. И добавила задумчиво, после некоторого молчания: – Два человека, две отдельные личности – они становятся словно бы единым существом. И вдруг это существо рассекают надвое, притом одна половина остается жить и обязана жить.

– Обязана жить?

– По многим причинам – дети, я сама, природа вещей в целом. Но, надо сказать, – добавила она чуть улыбнувшись, и улыбка только подчеркнула грусть в ее глазах, – надо сказать, что осознание причин не уменьшает потрясения после ампутации, не уменьшает тяжесть последствий. Единственное, что способствовало – это управление Неизбежным, – то, о чем мы недавно говорили. Но даже это... – Сьюзила покачала головой, – У. Н. может

²² в пользу одной стороны (лат.)

помочь вам родить ребенка без боли. Но вынести муку утраты – нет. И конечно, так и должно быть. Несправедливо, если бы вы тут же заставили боль утихнуть; это было бы бесчеловечно.

– Бесчеловечно, – повторил Уилл, – бесчеловечно.

Всего одно слово, но сколько в нем заключалось!

– Ужасно, – сказал Уилл, – когда осознаешь, что сам виноват в смерти другого.

– Вы были женаты? – спросила она.

– В течение двенадцати лет. До прошлой весны...

– Она умерла?

– Она погибла в дорожном происшествии.

– В дорожном происшествии? При чем же тут вы?

– Несчастье произошло оттого... оттого, что я, не желая зла, совершил его. Тот день был решающим. Она была взволнована, рассеянна – от боли, и я отпустил ее – навстречу гибели.

– Вы любили ее?

Уилл поколебался, а затем медленно покачал головой.

– Был кто-то другой, о ком вы заботились больше?

– Да... и о ком следовало бы заботиться поменьше.

Уилл саркастически усмехнулся.

– В том и состояло зло, которое вы, не желая, сотворили?

– Да, творил до тех пор, пока не убил женщину, которую следовало любить, но я ее не любил. И я творил это зло даже после ее смерти – ненавидя себя за это, и ненавидя ту, которая заставляла меня это делать.

– Заставляла, обладая подходящим для этого телом?

Уилл кивнул, и наступило молчание.

– Знаете ли вы, каково чувствовать, – спросил он, – что все вокруг нереально, в том числе вы сами?

Сьюзила кивнула:

– Это случается, когда вы открываете, что все кругом – куда более реально, чем вам казалось. Это как зубчатая передача; среднее колесо непременно сцеплено с верхним.

– Или нижним, – заметил Уилл. – В случае со мной так оно и было. И даже не с нижним, а с противоположным по ходу. Впервые это случилось, когда я дожидался автобуса на Флит-стрит. Мимо меня тек тысячный поток людей; и каждый был не похож на другого, каждый был центром собственного мироздания. И вдруг солнце вышло из-за облака. Все засверкало яркими, чистыми красками; и неожиданно, с почти что слышимым щелчком, люди превратились в червей.

– В червей?

– Вам приходилось видеть белых червей с черными головками, которые заводятся в гниющем мясе? Ничего, конечно же, не переменилось: лица людей были те же, и одежда та же. Но все они были червями. Не настоящими червями – но призраками червей, духами червей. Месяцами я жил в мире червей. Жил, работал, заказывал ленчи и обеды, и все это без малейшего интереса к тому, что я делаю. Без насмешки, без желаний; к тому же я стал проявлять полную неспособность, если сходил с молодой женщиной.

– И для вас это было неожиданностью?

– Разумеется, нет.

– Так зачем же вы...

Уилл беспомощно улыбнулся и пожал плечами:

– Мною руководил научный интерес. Я чувствовал себя энтомологом, изучающим сексуальную жизнь призрака-червя.

– После чего все показалось еще более нереальным?

– Да, еще более нереальным, – согласился он, – если такое может случиться.

– Но какова была исходная причина нашествия червей?

– Начнем с того, – ответил Уилл, – что я сын своих родителей. Сын пьяницы-задиры и христианской мученицы. Но, помимо того, что я сын своих родителей, – сказал Уилл, помедлив, – я племянник своей тетушки, тети Мэри.

– Какое отношение к этой истории имеет тетя Мэри?

– Она – единственная, кого я любил; мне было шестнадцать, когда она заболела раком. Ампутация правой груди, и через год – левой. И это после девяти месяцев рентгеновского облучения и тошноты. Затем рак перекинулся на печень, и это был конец. Я наблюдал это от начала до самой развязки. Так я, подростком, проходил непредвзятое обучение – да, именно непредвзятое.

– И что же вы узнали? – спросила Сьюзила.

– Чистейшую и Всеобщую бессмыслицу. И спустя несколько недель после курса о частной жизни последовал курс о жизни общества. Вторая мировая война. И за ней – непрерывно обновляющийся курс Первой холодной войны. И все это время я пытался быть поэтом, понимая, что не имею для этого данных. После войны я стал журналистом, чтобы зарабатывать деньги. Я готов был голодать, если придется, но писать что-то приличное: хорошую прозу хотя бы, если уж невозможно писать стихи... Но я недооценил моих милых родителей. Ко времени своей кончины в сорок шестом отец успел избавиться от того капитала, которым владела наша семья, а когда моя матушка стала счастливой вдовой, ее скрючил артрит, и она стала нуждаться в материальной поддержке. Так я оказался на Флит-стрит, и весьма успешно начал новую карьеру, хотя это было связано с унижением.

– Почему?

– Разве вы не почувствовали бы себя униженной, зарабатывая на жизнь дешевым вульгарнейшим литературным подлогом? Я преуспел, потому что был безнадежно второсортен.

– И в итоге – черви?

Он кивнул.

– Не настоящие: призраки червей. И тут появляется Молли. Я встретил ее на вечере великосветских червей в Блумсбери. Нас представили друг другу, и завязалась вежливая, бессодержательная беседа о беспредметной живописи. Не желая видеть новых червей, я старался не смотреть на нее; но, должно быть, она смотрела на меня. У Молли были очень светлые серо-голубые глаза, – добавил он вскользь, – глаза, которые видели все; от них ничего не могло укрыться, она была удивительно наблюдательна, но наблюдала без насмешки и без укора. Она видела зло, но не презирала – а, напротив, жалела человека, который, сам того не желая, говорил злые слова или совершал дурные поступки. Итак, как я уже сказал, она, должно быть, смотрела на меня, пока мы беседовали; и вдруг спросила меня, почему я такой грустный. Я уже выпил пару бокалов, и потому ее вопрос не показался мне ни оскорбительным, ни бесцеремонным, и я рассказал ей о червях. – И вы – один из них, – заключил я и впервые взглянул на нее. – Голубоглазый червь с лицом святой – в толпе у фламандского распятия.

– Она была польщена?

– Думаю, да. Она уже не была католичкой, но все еще питала слабость к распятиям и святым. Так или иначе, на следующий день она позвонила мне, когда я завтракал. Не поеду ли я с ней за город? Было воскресенье, на удивление чудесное. Я согласился. Мы провели час в ореховой роще, срывая примулы и любуясь маленькими белыми анемонами. Анемоны не рвут, – пояснил он, – потому что через час цветок увядает. В той ореховой роще было на что посмотреть – и невооруженным глазом, и через увеличительное стекло, которое взяла с собой Молли. Не знаю почему, но это действовало необыкновенно исцеляюще – смотреть в сердцевинки примул и анемонов. Весь остаток дня черви не являлись мне. Но на следующий день Флит-стрит вновь кишела жирными червями. Миллионы червей вокруг. Но я уже знал, что надо делать. Вечером я поехал в студию к Молли.

– Она была художником?

– Не настоящим художником, и она знала это. Знала и не отрицала, но старалась, как

могла. Живописью она занималась просто ради живописи, просто оттого, что ей нравилось смотреть на мир и тщательно запечатлевать, что она видела. В этот вечер Молли дала мне холст и палитру и велела делать то же самое.

– И это помогло?

– Это помогло настолько, что когда через пару месяцев я разрезал червивое яблоко, червяк в нем не оказался мне червяком. В субъективном отношении, конечно. Это был просто червяк – таким мы и написали его, потому что мы всегда писали одни и те же предметы.

– А как насчет других червей, то есть их призраков, не живущих в яблоках?

– Да, я все еще видел их, особенно на Флит-стрит и на вечеринках с коктейлем, но их стало гораздо меньше, и они были уже не так навязчивы. А в студии происходило нечто новое. Я влюбился, потому что Молли была, Бог знает почему, влюблена в меня, а ведь любовь – это ловушка.

– Я могу объяснить, почему она вас полюбила. Во-первых, – Сьюзила оценивающе посмотрела на него и улыбнулась, – вы довольно привлекательный чужак.

Уилл рассмеялся:

– Спасибо за комплимент.

– А с другой стороны, – продолжала Сьюзила, – и это уже не так лестно, она могла полюбить вас, потому что вы заставили ее беспокоиться о вас.

– Боюсь, что это правда. Молли – прирожденная сестра милосердия.

– А сестра милосердия, к сожалению, совсем не то, что пылкая супруга.

– Что со временем обнаружилось, – признался Уилл.

– Уже после того, как вы поженились.

Уилл на мгновение заколебался.

– Нет, раньше. Не потому, что она испытывала ко мне страсть – но ей хотелось сделать что-то приятное для меня.

Молли была чужда условностей, ратовала за свободную любовь и считала, что о свободной любви можно рассуждать совершенно свободно, и делала это даже при матери Уилла.

– Вы знали это заранее, – подвела итог Сьюзила, – и все же женились на ней.

Уилл молча кивнул.

– Потому что вы джентльмен, а джентльмен всегда держит свое слово.

– Отчасти по этой старомодной причине, но также потому, что я был влюблен в нее.

– Вы были влюблены в нее?

– Да. Хотя – нет, не знаю. Но тогда мне казалось, что знаю. И я понимал и сейчас понимаю, что меня заставляло так чувствовать. Я был благодарен за то, что она изгнала червей. И конечно же, я уважал ее, восхищался ею – за то, что она лучше, честней, чем я. Но, к несчастью, вы совершенно правы: сестра милосердия – это совсем не то, что пылкая жена. Однако я принимал Молли такой, как она есть, не считаясь при этом со своими склонностями.

– И как скоро, – спросила Сьюзила после долгого молчания, – у вас возникла привязанность на стороне?

Уилл болезненно улыбнулся.

– Через три месяца после свадьбы. В первый раз это было с секретаршей в офисе. Боже, какая скука! А потом появилась художница, кудрявая юная еврейка, которой Молли помогала платить за обучение в школе Слейда. Я навещал ее в студию дважды в неделю с пяти до семи. Так продолжалось три года, прежде чем Молли узнала об этом.

– Она очень огорчилась?

– Более, чем я ожидал.

– И как же поступили вы?

Уилл покачал головой.

– Вот тут-то и началась путаница, – признался Уилл. – Я не хотел отказываться от

коктейля по вечерам у Рейчел, но ненавидел себя за то, что делаю Молли несчастной. И в то же самое время я ненавидел ее за то, что она несчастна. Я отвергал ее страдания и любовь, которая заставляла ее страдать, воспринимая их как своего рода шантаж с целью пресечь мои невинные развлечения с Рейчел. Любя меня так сильно и так страдая из-за меня, она оказывала на меня давление, пыталась ограничить мою свободу, – вот что она в действительности делала. И тем не менее она была искренне несчастна, и хотя я ненавидел ее за то, что она шантажирует меня, я все же был полон жалости к ней. Жалости, – повторил он, – но не сочувствия. Сочувствие предполагает сопереживание боли, а я любой ценой хотел избавиться от боли, которую она причиняла мне своими страданиями, и уклониться от мучительной жертвы, которая положила бы конец этим страданиям. Я отвечал ей жалостью, но огорчился за нее как бы со стороны, как посторонний наблюдатель-эстет, мучитель-знаток. И эта эстетическая жалость была столь велика, что всякий раз, когда Молли чувствовала себя особенно несчастной, я готов был принять эту жалость за любовь. Но что-то все же меня удерживало. Когда я пытался выразить свою жалость через физическую нежность, чтобы хотя бы на время прекратить ее страдания и ту боль, которую они мне причиняли, эта нежность не достигала цели. Старания мои были напрасны, потому что по темпераменту Молли была лишь сестрой милосердия, а не пылкой супругой. Но на всех прочих уровнях, кроме чувственного, она любила меня самозабвенно, требуя такой же преданности и от меня. Но я не желал посвящать себя ей; я не мог. Вместо того чтобы испытывать благодарность, я отвергал ее жертву. Это могло бы связать меня, а я не желал быть связанным. И потому каждая размолвка отбрасывала нас назад – к началу вечной драмы, драмы любви, неспособной на чувственность, и чувственности, неспособной на любовь; где к чувству вины примешивается досада, жалость соседствует с негодованием, а порою даже и ненавистью – но всегда с оттенком раскаяния, и все это вместе составляло контрапунктную линию к моим тайным встречам по вечерам с юной кудрявой художницей.

– И эти встречи принесли вам долгожданное удовлетворение, – предположила Сьюзила. Уилл пожал плечами.

– Весьма умеренное. Рейчел никогда не забывала, что она интеллектуалка. Она могла спросить вас, как вы относитесь к Пьеро де Козими, в самый неподходящий момент. Подлинное наслаждение и вместе с тем подлинную муку я испытал только с Бэбз.

– Когда это случилось?

– Всего лишь год назад. В Африке.

– В Африке?

– Я был там по поручению Джо Альдехайда.

– Владельца газеты?

– И всего остального. Молли – племянница его жены, тети Айлин. Джо Альдехайд неустанно печется о семье. Вот почему мы получили право участвовать в самых бесчестных финансовых операциях.

– Вы на него работаете?

Уилл кивнул.

– Должность для меня в газете – это был его свадебный подарок Молли. И жалованье – вдвое большее, чем платили мне прежние хозяева. Сказочная щедрость! Надо признать, он обожал Молли.

– Как он отнесся к Бэбз?

– Он никогда не подозревал о ее существовании. Он до сих пор не догадывается, что подтолкнуло Молли к гибели.

– Джо Альдехайд остается вашим работодателем, чья память племянницы?

Уилл пожал плечами.

– Я нахожу оправдание в том, что должен помогать матери.

– И не находите удовольствия в бедности.

– Разумеется, нет.

Они помолчали.

– Итак, – сказала Сьюзила, – вернемся назад, в Африку.

– Я собирал там материалы для статей о негритянском национализме. Попутно дядя Джо поручил мне осуществить небольшое деловое мошенничество. Встреча наша произошла в самолете. Я оказался рядом с ней.

– С женщиной, в которую невозможно было не влюбиться.

– Да, хотя и одобрить ее было трудно. Но наркоман не может обойтись без наркотиков, хоть и знает, что они ведут его к гибели.

– Наверное, это покажется странным – но здесь, на Пале, нет наркоманов, – задумчиво проговорила Сьюзила.

– Даже сексуальных?

– Опыянение любовью – это опыянение личностью. Иными словами, это просто влюбленные.

– Но порой и влюбленные ненавидят тех, кого любят.

– Разумеется. Но если я всегда ношу одно и то же имя и имею ту же самую внешность, это не значит, что я всегда – та же самая женщина. Осознать этот факт, принять его – входит в любовное искусство.

Уилл коротко, как мог, пересказал эту историю. Она была похожа на предыдущую, но на более высоком уровне. Бэбз была как бы Рейчел – но Рейчел в квадрате, Рейчел в энной степени. И, к несчастью, боль, которую он причинил Молли, была во столько же раз сильнее, чем когда он был связан с Рейчел. И во столько же раз возросло его раздражение и негодование на то, что жена шантажирует его своей любовью и страданиями; он мучился от угрызений совести и жалости – но несмотря на них, не отступался от Бэбз, ненавидел себя – и все же не собирался от нее отказываться. А Бэбз тем временем становилась все настойчивей, и встречи с ней – чаще и продолжительней, и не только в землянично-розовом алькове, но и вне его – в ресторанах, ночных клубах, и на ужасных вечеринках с коктейлем, где собирались ее друзья, и в конце недели за городом. «Только ты и я, милый, – любила повторять Бэбз, – только мы с тобой вдвоем». С нею наедине ему выпадала возможность измерить всю ее невообразимую глупость и постичь всю ее вульгарность. Но несмотря на скуку и отвращение, несмотря на полную моральную и интеллектуальную несовместимость, страсть пересиливала. После одного из этих ужасных уик-эндов он был опыян Бэбз, как никогда. Что же касается Молли, то она, несмотря на то что оставалась сестрой милосердия, была по-своему опыянена Уиллом Фарнеби. Причем безнадежно, ибо Уилл более всего на свете желал, чтобы она любила его поменьше и позволила убраться ко всем чертям. Но Молли, в своем опыянении, продолжала надеяться. Она никогда не отказывалась от мечты преобразить его в доброго, заботливого, любящего Уилла Фарнеби, что, как она продолжала считать, несмотря на бесконечные разочарования, и является его истинным «я». И только во время их последнего, рокового разговора, когда Уилл, подавив в себе жалость и позволив разбушеваться негодованию, сказал ей, что намерен уйти к Бэбз, – только тогда надежда сменилась отчаянием. «Уилл, ты и в самом деле собираешься это сделать?» Отчаяние владело ею, когда она вышла из дому и уехала в дождь – навстречу смерти. На похоронах, когда гроб опускали в могилу, Уилл дал себе слово никогда не встречаться с Бэбз. Никогда, никогда, никогда. Но вечером, когда он сидел за рабочим столом, пытаясь писать статью под заголовком «Что творится с нашей молодежью» и стараясь не думать о больнице, об открытой могиле и об ответственности за все, что случилось, раздался звонок в дверь. Уилл вздрогнул. Запоздавшее выражение сочувствия, должно быть... Открыв дверь, он с изумлением увидел Бэбз – без косметики, в черном.

– Бедный, бедный Уилл!

Они сели на диван в гостиной, она взъерошила ему волосы, и оба заплакали. Через час они оба, обнаженные, уже лежали в постели. Через три месяца – это мог предвидеть даже дурак – на одной из вечеринок с коктейлем появился неотразимый красавец из Кении.

События развивались с неотвратимой последовательностью. Через три дня Бэбз, вернувшись домой, подготовила розовый альков для встречи с новым постояльцем,

выпроводив прежнего.

– Ты и вправду собираешься это сделать, Бэбз?

Да, именно это она и собиралась сделать.

В кустах за окном послышалось шуршание и раздалось неожиданно громкое и фальшивое:

– Здесь и теперь, друзья. Здесь и теперь.

– Заткнись! – крикнул Уилл.

– Здесь и теперь, друзья. Здесь и теперь, друзья. Здесь...

– Заткнись!

Наступила тишина.

– Я заставил его замолчать, – пояснил Уилл, – потому что он абсолютно прав. «Здесь, друзья»; «теперь, друзья». «Тогда» и «там» нас уже не касаются. Или это не так? Смерть вашего мужа принадлежит уже прошлому. Ведь она вне вас?

Сьюзила молча взглянула на него и медленно кивнула:

– Да, учитывая то, что я сейчас делаю, – вне меня. Я вынуждена это признать.

– Можно ли научиться не помнить?

– Не надо забывать. Надо помнить – но быть свободным от прошлого. Быть там, с мертвым, – и здесь, с живыми. – Грустно улыбнувшись, она добавила: – Это не так-то просто.

– Это непросто, – повторил Уилл. И вдруг вся его оборона рухнула и гордыня покинула его.

– Вы можете мне? – спросил он.

– Заключим сделку, – сказала Сьюзила, протягивая руку. За дверью послышались шаги, и в комнату вошел доктор Макфэйл.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

– Добрый вечер, моя дорогая. Добрый вечер, мистер Фарнеби.

Доктор говорил весело, и, как подметила Сьюзила, веселость его не была деланной. А ведь он, направляясь сюда, наверняка заходил в больницу и видел Лакшми: бледную, изможденную, какой видела ее Сьюзила час или два назад, – с лицом, похожим на череп, обтянутый кожей. Почти всю жизнь они прожили вместе, любя и понимая друг друга, – и вот через несколько дней все будет кончено, и доктор останется совсем один. Но каждому дню свои заботы: всему свое время и свое место.

– Никто не имеет права, – сказал однажды ее свекор, когда они вместе возвращались из госпиталя, – перелагать свои страдания на других. Хотя, конечно, не стоит притворяться, будто тебе все нипочем. Приходится терпеть и собственное горе, и собственные нелепые попытки быть стойким. – Голос его дрогнул.

Взглянув на свекра, Сьюзила увидела, что лицо его мокрое от слез. Пять минут спустя они уже сидели на скамейке возле пруда с лотосами, в тени огромного каменного Будды. С резким, коротким, и при этом влажно-сладострастным звуком невидимая лягушка нырнула с круглого листа в воду. Толстые зеленые стебли, увенчанные тугими бутонами, протолкнувшись сквозь ил, выбрались на воздух; тут и там голубоватые и розоватые символы просветления подставили свои лепестки солнцу и хоботкам мошек, крохотных жуков и диких пчел, прилетевших из джунглей. Взмывая ввысь, застывая в воздухе и вновь взлетая, сверкающие голубые и зеленые стрекозы охотились за комарами.

– Tathata, – прошептал доктор Роберт, – единое.

Долгое время они сидели молча. Вдруг он коснулся ее плеча:

– Смотри!

Сьюзила взглянула туда, куда он указывал: на правой ладони Будды попугайчик-самец увлеченно ухаживал за самочкой.

– Вы были у пруда лотосов? – спросила Сьюзила доктора Роберта. Тот улыбнулся и

кивнул.

– Как там Шивапурам? – поинтересовался Уилл.

– Хорошо, как всегда, – отозвался доктор. – Единственный его недостаток – это то, что он слишком близок к внешнему миру. Здесь, в предгорье, мы имеем возможность не вспоминать обо всех этих организованных безумствах и спокойно делать свое дело. Но в Шивапураме с его антеннами, радиоприемниками и средствами коммуникации внешний мир дышит вам прямо в затылок. Вы его слышите, осязаете, чувствуете его запах. – Доктор Роберт шутливо поморщился.

– Какие потрясения случились с тех пор, как я здесь?

– Ничего особенного в вашей части света не произошло. Как бы мне хотелось сказать то же самое и о нас!

– А что вас беспокоит?

– Наш ближайший сосед, полковник Дайпа. Начать хоть с того, что он заключил новую сделку с чехами.

– Гонка вооружений?

– На это отпущено шесть миллионов долларов. Я слышал сообщение по радио сегодня утром.

– Зачем ему это надо?

– Обычное дело: жажда власти, славы... Ему льстит, когда его боятся. Дома – террор и военные парады; ближайшие страны захватываются, и возносятся благодарственные молитвы. Другая неприятная новость: вчера полковник Дайпа произнес на празднестве еще одну речь о Великом Рендане.

– Великий Рендан? А что это такое?

– Вы задали верный вопрос, – сказал доктор Роберт. – Великий Рендан – это земли, которыми с 1447 по 1483 год правили султаны Рендан-Лобо. В него входили Рендан, Никобарские острова, около трети Суматры и остров Пала. Дайпа ставит перед собой задачу воссоединения земель.

– В самом деле?

– Да, он говорил об этом с самым серьезным видом. Впрочем, я не прав. Лицо багровое, перекошено, а голос срывается на визг: точь-в-точь как у Гитлера, наверное, пришлось долго тренироваться. Великий Рендан или смерть!

– Но великие державы не позволят осуществить экспансию.

– Возможно, на Суматре они его не потерпят. Но Пала – совсем другое, – доктор покачал головой. – К сожалению, Пала ни у кого не находится на хорошем счету. Мы не желаем здесь видеть ни коммунистов, ни капиталистов. И менее всего нам нужна всеобщая индустриализация, которую обе стороны хотят нам навязать – разумеется, по разным причинам. Запад желает этого, поскольку труд здесь необыкновенно дешев и доходы инвесторов будут соответственно высокими. А Востоку индустриализация нужна, потому что она плодит пролетариат, новое нераспаханное поле для коммунистической пропаганды, и – в дальнейшей перспективе – может привести к установлению еще одной народной демократии. Мы говорим «нет» вам всем, и потому нигде не популярны. Вне зависимости от их идеологии, все великие державы предпочтут контролируемую Ренданом Палу с ее запасами нефти независимой Пале. Если Дайпа нападет на нас, его осудят на словах, но никто при этом и пальцем не шевельнет. И когда он подчинит нас и пригласит нефтепромышленников, все будут очень довольны.

– Как вы собираетесь противостоять полковнику Дайпе?

– Все, что мы можем – это оказать ему пассивное сопротивление. У нас нет ни армии, ни могущественных друзей. У полковника здесь имеется преимущество. Самое большее, на что мы способны, если он нападет на нас, – обратиться к Организации Объединенных Наций. Конечно, мы собираемся выразить протест полковнику по поводу его последней великоренданской речи. Мы выразим протест через нашего министра в Рендан-Лобо, а также заявим его великому вождю лично, когда он через десять дней прибудет на Палу с

официальным визитом.

– С официальным визитом?

– Да, он приедет, чтобы отпраздновать совершеннолетие молодого раджи. Мы давно уже спрашивали, примет ли он участие в торжестве, но ответа все не было. Только сегодня стало наконец известно, что он приедет. Сначала состоится совещание на высшем уровне, а потом уже праздничный обед. Но давайте поговорим о чем-нибудь более достойном внимания. Как вы себя сегодня чувствуете, мистер Фарнеби?

– Скажу – великолепно. Я удостоился посещения царственной особы.

– Сюда приходил Муруган?

– Почему вы не сказали мне, что это ваш правитель?

Доктор Роберт засмеялся.

– Чтобы вы не попросили об интервью.

– Я не стал просить об интервью. Ни его, ни королеву-мать.

– Здесь также была рани?

– По указанию своего Внутреннего Голоса. И, будьте уверены, Внутренний Голос направил ее в нужное место. Мой босс, Джо Альдехайд, – один из ее ближайших Друзей.

– Она рассказывала вам, что пытается пригласить его сюда для разработки нефтяных промыслов?

– Еще бы!

– Мы отвергли его последнее предложение менее месяца назад. Об этом вам тоже известно?

Уилл, радуясь, что может ответить на вопрос доктора искренне, признался, что ничего не знает. Ни Джо Альдехайд, ни рани не рассказывали ему о недавнем отказе.

– Моя работа скорее относится к производству целлюлозы, – уже менее искренне заметил Уилл, – а не к добыче нефти.

Они помолчали.

– В каком статусе я у вас пребываю? – спросил наконец Уилл. – В качестве нежелательного чужака?

– Нет. К счастью, вы не торговец оружием.

– И не миссионер, – добавила Сьюзила.

– Или нефтепромышленник – хотя на этот счет вас можно обвинить в соучастии.

– И не разведыватель урановых месторождений, насколько нам известно.

– Все вышеперечисленные, – заключил доктор Роберт, – являются нежелательными лицами первого разряда. Журналисты относятся ко второму. Мы никогда не приглашаем их на Палу, но если таковой случайно окажется здесь, он не подлежит высылке.

– Я бы желал, чтобы мне позволили побыть здесь как можно дольше, – сказал Уилл.

– Можно спросить, почему?

Уилл поколебался. Как тайный агент Джо Альдехайда и как репортер с неутоленной страстью к настоящей литературе, он хотел бы остаться подольше, чтобы договориться с Баху и заработать год отпуска. Но были и другие причины, о которых можно было сказать открыто.

– Если вы не возражаете против личных признаний, то я скажу вам.

– Валяйте, – позволил доктор Роберт.

– Дело в том, что чем больше я знакомлюсь с жителями Палы, тем больше они мне нравятся. Мне бы хотелось получше узнать вас. А попутно, – сказал он, взглянув на Сьюзилу, – я, возможно, узнаю лучше и себя самого. Сколько времени мне разрешат здесь оставаться?

– Пока вы не поправитесь и не окрепнете настолько, чтобы ехать. Но если вы всерьез заинтересовались Палой, всерьез заинтересовались собой – срок пребывания, наверное, удастся продлить. Или нам не следует этого делать? Как ты считаешь, Сьюзила? Ведь мистер Фарнеби работает на лорда Альдехайда.

Уилл хотел было запротестовать, вновь заявив, что его работа больше относится к

производству целлюлозы, но слова застряли у него в горле, и он промолчал. Прошло несколько секунд. Доктор Роберт повторил свой вопрос.

– Да, – сказала Сьюзила, – мы идем на некоторый риск. Но что касается меня... что касается меня, я думаю, стоит рискнуть. Верно? – обратилась она к Уиллу.

– Я считаю, вы мне можете доверять. По крайней мере, я надеюсь заслужить доверие.

Уилл засмеялся, пытаясь обратить все это в шутку, но, к собственному замешательству, почувствовал, что краснеет. За что ему краснеть, негодующе вопрошал он свою совесть. Если он кого-то надувает, так это «Стэндрд оф Калифорния». И если Дайпа введет свои войска, какая разница, кто именно получит концессии? Кем вы предпочитаете быть съеденным – тигром или волком? Овечке, наверное, все равно. Чем Джо хуже своих конкурентов? И все же Уилл досадовал, что поторопился с письмом. Ну почему, почему та ужасная женщина не могла оставить его в покое?

Сквозь простыню он почувствовал ладонь на своем неповрежденном колене. Доктор Роберт улыбался ему.

– Вы сможете провести здесь месяц, – сказал доктор, – я беру ответственность на себя. И обещаю, что мы постараемся показать вам все.

– Я вам очень признателен.

– Когда вы сомневаетесь в человеке, – заметил доктор Роберт, – самое лучшее – это допустить, что он честнее, чем вы полагаете. Этот совет дал мне старый раджа, когда я был еще юношей. Ну-ка, – добавил он, обращаясь к Сьюзиле, – сколько лет тебе было, когда умер старый раджа?

– Исполнилось восемь.

– Значит, ты хорошо его помнишь.

Сьюзила рассмеялась.

– Разве можно забыть, как он говорил о себе? «Я в кавычках подобно сахару в стакане с чаем». До чего славный был человек!

– И что за великая душа!

Доктор Макфэйл встал и подошел к книжному стеллажу, стоящему между дверью и платяным шкафом, нагнулся и снял с нижней полки пухлый красный альбом, изрядно пострадавший от тропического климата.

– Тут где-то есть его фотография, – сказал он, переворачивая страницы. – А вот и мы с ним.

Уилл взглянул на выцветшую фотографию малорослого индуса в очках и в набедренной повязке, поливающего короткий, приземистый столб из разукрашенного серебряного блюда.

– Что он делает? – спросил Уилл.

– Умашает фаллический символ растопленным маслом, – ответил доктор. – Мой бедный отец так и не смог отучить его от этого обычая.

– Ваш отец с неодобрением относился к фаллосам?

– Нет-нет, – пояснил доктор Макфэйл, – мой отец был за них целиком и полностью. Но к символам относился с неприятием.

– Почему?

– Он полагал, что людям следует заимствовать религиозное чувство прямо от коровы. Понимаете? Он не признавал снятого, пастеризованного или гомогенизированного молока. А главное – не желал, чтобы его консервировали – ни в теологических, ни в литургических емкостях.

– А раджа питал слабость к емкостям?

– Не к емкостям вообще, но к этой вот жестяной консервной банке. Он был равнодушен к семейному лингаму, высеченному из черного базальта около восьми столетий назад.

– Понимаю, – сказал Уилл Фарнеби.

– Поливая маслом семейный лингам, он осуществлял акт поклонения – выражал свое

почтение и восхищение по отношению к возвышенной идее. Но даже наивозвышеннейшая из идей весьма отличается от той космической загадки, которая за нею стоит. И прекрасные чувства, связанные с этой идеей, – как они связаны с непосредственным бытием вышеназванной тайны? Абсолютно никак. Надо сказать, старый раджа все это отлично понимал. Ничуть не хуже, чем мой отец. Он пил молоко прямо от коровы, он сам был этим молоком. Но умашение лингама было традицией, от которой он не мог отказаться. Нет нужды говорить, что никто бы и не стал его отговаривать. Но мой отец относился к символам точь-в-точь как пуританин. Он исправил Гете: *Alles Vergängliche ist NICHT ein Gleichnis*²³. Его идеал: чистая экспериментальная наука на одном конце шкалы, и чистый экспериментальный мистицизм – на другом. Непосредственный опыт на каждом уровне, и затем – чисто рациональные утверждения на основе этого опыта. Лингамы или кресты, масло или святая вода, сутры, евангелия, статуи, песнопения – он все это равным образом отрицал.

– Но как же тогда быть с искусством?

– Искусство не признавалось, – ответил доктор Макфэйл. – Мой отец решительно ничего не смыслил в поэзии. Он не любил ее, хотя и утверждал, что любит. Поэзия ради поэзии, как самодовлеющий мир, вне обыденности, не связанный ни с непосредственным опытом, ни с символами науки, – этого он никак не мог понять. Ну-ка, поищем его фотографию.

Доктор Макфэйл перевернул несколько страниц альбома и указал на резко очерченный профиль с кустистыми бровями.

– Истинный шотландец! – прокомментировал Уилл.

– А ведь и мать, и бабушка его были паланезийки.

– Ничуть не похоже.

– Зато его деда, который прибыл из Перта, можно было принять за раджпута.

Уилл взглянул на пожелтевшую фотографию молодого человека с овальным лицом и черными бакенбардами: он стоял, опираясь локтем о мраморный пьедестал, на котором, в перевернутом виде, лежал его непомерно высокий цилиндр.

– Это ваш прадед?

– Первый на Пале Макфэйл. Доктор Эндрю. Он родился в 1822 году, в «королевском городе», где отец его, Джеймс Макфэйл, владел канатной фабрикой. Это было весьма символично, ибо Джеймс, истовый кальвинист, находил глубочайшее удовлетворение в убеждении, что миллионы его собратьев влачатся по жизни с петлей предопределения на шее и что Небесный Отче не-Наш только и ждет, чтобы затянуть ее.

Уилл рассмеялся.

– Да, – согласился доктор, – на первый взгляд это кажется довольно забавным. На самом деле это очень серьезно – серьезней, чем в наши дни водородная бомба. Принималось как должное, что девяносто девять и девять десятых процента всего человечества осуждены на вечные муки. За что? За то, что они либо никогда ничего не слышали об Иисусе, либо, услышав о нем, не верили достаточно крепко в то, что он освободит их от вечных мук. А подтверждением того, что они недостаточно уверовали, служит следующий факт: души их не знали покоя. Совершенная же вера дарует душе полный покой. Но навряд ли вы найдете кого-то, чья душа пребывает в совершенном покое. Следовательно, никто не обладает совершенной верой. Итак, едва ли не каждый оказывается осужденным на вечные муки. *Quod erat demonstrandum.*²⁴

– Остается лишь удивляться, – сказала Сьюзила, – что они все не сошли с ума.

– Оттого что вера большинства была поверхностной. Она находилась у них вот здесь. – Доктор похлопал себя по лысой макушке. – Макушкой они веровали, что преподанная им

²³ Все преходящее НЕ только символ (нем.)

²⁴ Что и требовалось доказать (лат.)

истина – Истина с заглавной буквы. Но нутром они понимали, что все это – сущая чепуха. И большинство из них принимало истину только по воскресеньям, да и то лишь сугубо в переносном смысле. Джеймс Макфэйл, зная все это, решил, что его дети не будут веровать только по священным Субботам. Они будут веровать в каждое слово священной чепухи и по понедельникам, и даже по вечерам в сокращенные рабочие дни; и будут веровать всем своим существом, а не только макушкой. Совершенная вера и нерушимый покой, который она приносит, будут вколочены в них. Каким образом? Для этого их следует поместить в ад уже теперь, не забывая угрожать вечным проклятием в будущем. А если они проявят дьявольское упорство и откажутся иметь совершенную веру, ад следует ужесточить, и усилить угрозы. Наряду с этим следует внушать им, что добрые дела – грязная ветошь пред лицом Бога, однако сурово наказывать за каждый проступок. Убедить их, что они испорчены по природе, и пороть за то, что они не могут быть иными.

Уилл Фарнеби снова заглянул в альбом.

– Есть ли у вас фотография этого милого предка?

– У нас был портрет, написанный маслом, – сказал доктор Макфэйл, – но сырость изрядно подпортила холст. Жаль, это была великолепная работа. Помните Иеремию Высокого Возрождения? Величественный вид, вдохновенный взор, борода пророка, скрывающая все недостатки физиономии. Единственная память, которая о нем сохранилась, – это карандашный набросок его дома.

Перевернув страницу, доктор нашел рисунок.

– Сложен из мощных гранитных плит, с решетками на окнах. И какая бесчеловечность царила а этой уютной семейной Бастилии! Бесчеловечность – во имя Христа и праведности! Доктор Эндрю оставил неоконченную автобиографию, из которой мы узнали об этом.

– А мать не заступалась за детей?

Доктор Макфэйл покачал головой.

– Джанет Макфэйл была урожденная Камерон и такая же истовая кальвинистка, как Джеймс, а то и более. Будучи женщиной, она вынуждена была пойти еще дальше, чтобы преодолеть природную сдержанность. И она ее преодолевала – героически. Она не только не одергивала своего мужа, напротив – всячески подстрекала его, служила примером. Перед завтраком и обедом детям читалась проповедь; по воскресеньям они изучали катехизис и затверживали наизусть апостольские послания; а по вечерам, подведя счет и дав оценку их дневным провинностям, детей секли кнутом из китового уса по голым ягодцам, всех шестерых – как девочек, так и мальчиков, в порядке старшинства.

– Меня слегка мутит, когда я слышу об этом, – призналась Сьюзила. – Чистейший садизм.

– Нет, не чистейший, а прикладной. Садизм из высших побуждений, садизм на службе у идеала, как выражение религиозных убеждений. Вот предмет для исторического исследования, – обратился он к Уиллу, – связь телесного наказания детей и теологии. Я подметил закономерность: там, где мальчиков и девочек секут, вырастая, они рассматривают Бога как Всецело Иное – примечательный образчик *argot*²⁵ в вашей части света. Напротив, дети, над которыми не совершается физическое насилие, воспринимают Бога как нечто внутреннее. Таким образом, теология нации отражает степень покраснения детских ягодичек. Взгляните на древних евреев – они пороли детей без устали. И так же поступали средневековые христиане. Отсюда Иегова, отсюда первородный грех и беспрестанно оскорбленный Отец католиков и протестантов. А вот буддисты и индуисты воспитывают своих детей, не применяя насилия. Никто не терзает малышам ягодичек – отсюда *Tat twam asi*, отсюда «Ты – это Тот», и разум, не отделенный от Разума. Возьмите пример квакеров. В своей ереси они дошли до осознания Внутреннего Света, и что же? Они прекратили бить своих детей, и первыми из христиан выразили протест против рабства.

²⁵ жаргон (франц.)

– Но в наше время детей уже не бьют, – возразил Уилл, – и все же повсеместно входит в моду Всецело Иное.

Однако доктор Макфэйл отмел это возражение.

– Определенные предпосылки всегда влекут за собой соответствующие последствия. Во второй половине девятнадцатого столетия влияние свободомыслящего гуманизма сделалось настолько сильным, что даже правоверные христиане перестали бить детей. Китовый ус уже не гулял по ягодицам молодого поколения, и потому о Боге перестали думать как о Всецело Ином и изобрели Новое мышление, Согласие, Христианскую науку – вернувшись к полувосточным ересям, в которых Бог – это Всецело Тожественное. В дни Уильяма Джеймса эти идеи уже появились, и с тех пор успели получить значительное распространение. Но тезис всегда порождает антитезис, и вслед за ересями возникла Новая ортодоксия. Долой Всецело Тожественное, и назад к Всецело Иному! Назад к Августину и Мартину Лютеру – к этим двум наиболее беспощадно поротым задницам за всю историю христианской мысли. Прочтите «Исповедь», прочтите «Застольные беседы». Августина бил его школьный учитель, и родители осыпали насмешками, если он осмеливался жаловаться. Лютера упорно секли не только школьные учителя или отец, но даже любящая мать. И мир до сих пор расплачивается за рубцы на их ягодицах. Без Лютера и его вышедшей из-под розги теологии никогда не явились бы на свет такие чудовища, как пруссачество и Третий Рейх. Подобной же теологией из-под кнута, порожденной Августином и доведенной до своего логического конца Кальвином, были напичканы набожные простаки вроде Джеймса Макфэйла и Джанет Камерон. Главная посылка: Бог – это Всецело Иное. Другая посылка: человек полностью порочен. Вывод: воздайте ягодицам ваших детей то, что в свое время получили сами, и что ваш Отец Небесный воздает всеобщей заднице человечества – хлысь, хлысь, хлысь!

Наступило молчание. Уилл вновь поглядел на изображение гранитной цитадели и подумал о всех тех причудливых и отвратительных фантазиях, которые возводились в ранг сверхъестественного, о непристойных жестокостях, вызванных этими фантазиями, о боли и унижениях, причиненных ими. На смену Августину с его «смягченной суровостью» приходили Робеспьер и Сталин, а после Лютера, побудившего князей убивать крестьян, был Мао, поработивший их.

– Вы не испытываете порой отчаяния? – спросил Уилл. Доктор Макфэйл покачал головой.

– Мы не отчаиваемся, – сказал он, – потому что знаем: хотя на свете и существует много дурного, в этом нет роковой необходимости.

– Мы знаем, что жизнь может стать значительно лучше, – добавила Сьюзила, – потому что она стала лучше, здесь и теперь, на нашем маленьком нелепом острове.

– Но сумеем ли мы убедить других последовать нашему примеру, сумеем ли хотя бы сохранить этот крошечный оазис человечности посреди мира-пустыни, населенной обезьянами, – это уже другой вопрос, – заключил доктор Макфэйл. – Нынешнее положение дел внушает глубокий пессимизм, но отчаиваться преждевременно, я в этом убежден.

– И обращение к истории не переубеждает вас?

– Нет, не переубеждает.

– Завидую вам. Как же вам удастся сохранять твердость духа?

– Я никогда не забываю о том, что такое история. История – это повествование о поступках, на которые людей толкнуло невежество вкупе с величайшей самонадеянностью, каковая побуждает узаконивать это невежество под видом политических и религиозных догм. – Он вновь взглянул в альбом. – Давайте вернемся к дому в «королевском городе», вернемся к Джеймсу и Джанет, к их шестерым детям, которых Бог Кальвина в своей непостижимой злобе предал в руки их нежных родителей. «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Идеологическая обработка, подкрепленная психологическим давлением и физической болью, – вот вам совершенная система Павлова. Но, к несчастью для религии и политической диктатуры,

человек как лабораторное животное менее надежен, чем собака. Что касается Тома, Мэри и Джин, заданные условия сработали должным образом. Том сделался священником, а Мэри вышла замуж за священника и в свое время умерла при родах. Джин осталась дома, ухаживала за матерью, когда та болела раком, а последующие двадцать лет пожертвовала одряхлевшему, впавшему в маразм основателю рода. Что ж, что хорошо, то хорошо. Но с четвертым ребенком, Анни, все обстояло иначе. Анни была хорошенькой. В восемнадцать лет ей сделал предложение драгунский капитан. Но капитан принадлежал к англиканской церкви и пребывал в преступном заблуждении относительно предопределения и благой воли Господа. Родители не дали согласия на брак. Казалось, Анни предстоит разделить судьбу Джин. До двадцати восьми лет она терпела, но потом позволила себя соблазнить второму помощнику капитана, служившему на судне Ост-Индийской компании. Семь недель она была безумно счастлива – впервые с тех пор, как себя помнила. Лицо ее казалось невыразимо прекрасным, каждое движение было полно живости. Затем помощник капитана отбыл в двухлетнее плавание к Мадрасу или Макао. Через четыре месяца Анни, беременная, не имея ни единого друга, который мог бы ее поддержать, в отчаянии бросилась в Тэй. Далее идет Александер: он сбежал из школы и присоединился к компании актеров. В доме владельца канатной фабрики было запрещено упоминать его имя. И наконец, Эндрю – самый младший, Вениамин. Образцовый ребенок! Послушный, старательный – послания апостолов он знал наизусть. Но будто нарочно для того, чтобы подкрепить веру матушки в человеческую испорченность, произошел следующий случай. Мать застала малыша играющим гениталиями. Эндрю высекли до крови, но через неделю застали за тем же занятием. Его высекли опять и посадили на хлеб и воду, внушив, что он согрешил против Святого Духа и что именно за этот грех его мать обречена болеть раком. Все детские годы Эндрю не оставляли кошмарные видения адских мук. Искушения также неотступно преследовали его, и он поддавался им – но делал это тайком, в уборной на задворках сада, испытывая мучительный страх перед грядущим наказанием.

– Подумать только, – заметил Уилл, – и еще жалуются, что в современной жизни нет смысла. Представьте, какова была та жизнь. Это повесть, поведенная глупцом, или же повесть, поведенная кальвинистом? Я выбираю глупца!

– Допустим, – сказал доктор Макфэйл. – Но, быть может, существует еще и третья возможность? Помимо рассказней имбецила или параноика.

– Повесть, поведенная человеком совершенно здоровым, – вставила Сьюзила.

– Да, ради разнообразия, – подхватил доктор Макфэйл, – ради благословенного разнообразия. К счастью, несмотря на предопределение, даже самый яростный, дьявольский напор воспитателей не способен был сломить человека. По всем правилам Фрейда и Павлова, моему прадеду предстояло вырасти духовным калекой. Но из него получился, если можно так выразиться, духовный атлет. Что наглядно доказывает, – мимоходом добавил доктор Роберт, – несостоятельность обеих разрекламированных психологических школ. Фрейдизм и бихевиоризм – это разные полюса, но они совершенно совпадают в оценке присущей индивидуумам несхожести. Как ваши заласканные психологи подходят к этим фактам? Очень просто. Они не замечают их. Они вежливо притворяются, что подобных фактов не существует. Отсюда их неспособность иметь дело с человеческим характером – таким, каков он есть, или хотя бы дать ему теоретическое объяснение. Рассмотрим, например, наш случай. Братья и сестры Эндрю в окружающей их обстановке либо делались ручными, либо погибали. Эндрю не был сломлен, но и не сделался ручным. Почему? Потому что на рулетке наследственности он выиграл счастливый номер. Он обладал более упругой конституцией: имел иную анатомию, иную биохимию, иной темперамент. Родители обходились с ним куда более жестоко, чем с остальным потомством. Но Эндрю выскочил из переделки с развевающимися знаменами, почти без единой царапины.

– Несмотря на прегрешения против Святого Духа?

– От этого, к счастью, он избавился на первом же курсе медицинского факультета в Эдинбурге. Он был тогда совсем мальчик, едва исполнилось семнадцать. (В те годы все рано

начинали.) В прозекторской он наслушался ужасающих непристойностей и богохульств: так его товарищи студенты старались поддержать бодрость духа среди медленно разлагающихся трупов. Поначалу он слушал с ужасом, в тошнотворном страхе ожидая Господнего отмщения. Но ничего не происходило. Богохульства цвели пышным цветом, студенты во всеуслышание сквернословили и прелюбодействовали, отделяваясь временами, в худшем случае, легким триппером. Страх ушел, уступив место чувству облегчения и свободы. Осмелев, Эндрю сам принялся отпускать соленые шутки. Когда он впервые произнес слово из четырех букв, он осознал себя освобожденным – и это было истинно религиозное переживание! На досуге он прочел «Тома Джонса», прочел «Опыт о чудесах» Юма, читал безбожника Гиббона. Усовершенствовавшись в знании французского, который изучал в школе, он стал читать Ламетри и доктора Кабаниса. Человек – это машина; мозг выделяет секрет так же, как печень выделяет желчь. Как просто это казалось, как ясно и очевидно! Со всею пылкостью новообращенного на собрании евангелистов, он ратовал за атеизм. При данных обстоятельствах этого следовало ожидать. Если вы уже не перевариваете Святого Августина, вы не станете повторять вздор Афанасия Великого. Вынимаете затычку – и спускаете все это в канализацию. Какое блаженство! Но долго оно не длилось. Эндрю почувствовал, что чего-то недостает. Дитя опыта оказалось выплеснутым вместе с теологической грязью и мыльной водой. Природа, впрочем, не терпит пустоты. Счастье сменяется растерянностью. Так поколение за поколением страдают от сменяющихся друг друга Весли, Пьюзи, Муди и Билли, Санди и Грэхемов – работающих, как бобры, чтобы откачать теологию из сточного колодца. Они надеются вернуть обратно и ребенка, однако у них это никогда не получается. Лучшее, что может евангелист – это нацедить немного грязной воды. Которую вновь приходится спускать. И так далее до бесконечности. Довольно скучное занятие, как понял наконец доктор Эндрю, и совершенно бесполезное. И все же он увлекся им в первом порыве своей новообретенной свободы. Взволнованный, ликующий, он скрывал от мира свое состояние души, представляя перед ним неизменно серьезным, учтивым, независимым.

– А что его отец? – спросил Уилл. – Между ними состоялась битва?

– Ничего подобного: Эндрю не выносил споров. Он был из тех, кто идет своей дорогой, не заявляя об этом открыто и не переубеждая людей, предпочитающих жить иначе. Старику так и не представился случай выступить в роли Иеремии. Эндрю ни словом не обмолвился о Юме и Ламетри и внешне придерживался заведенных установлений. Но, закончив учение, он не вернулся домой. Вместо этого он поехал в Лондон и нанялся, в качестве врача и натуралиста, на военное судно «Мелампус», направлявшееся в южные моря с предписанием составлять карты, вести наблюдения, собирать образцы и защищать протестантских миссионеров, а также британские интересы. Плавание «Мелампуса» длилось три года. Они заходили на Таити; два месяца провели на Самоа и месяц на Маркизских островах. В сравнении с Пертом острова казались раем, невинные обитатели которого не ведали, что такое кальвинизм, капитализм и индустриальные трущобы; но, к сожалению, они не знали и того, кто такой Моцарт или Шекспир, не занимались наукой и не умели мыслить логически. Да, там был рай, но рай неподвижный. Плавание продолжалось. Они посетили Фиджи, Каролинские и Соломоновы острова. Составили карту северного побережья Новой Гвинеи, а в Борнео, сойдя на берег, поймали беременную самку орангутанга и добрались до вершины горы Кинабалу. Неделью пробыли на острове Панай, и две недели на архипелаге Мергуи. Оттуда повернули на запад, взяв курс на Андаманские острова, а после Андаманских островов отплыли в Индию. Там прадед упал с лошади, получив перелом правой ноги. Капитан «Мелампуса» нанял другого врача, и корабль взял курс на Англию. Через два месяца, поправившись, доктор Эндрю приступил к медицинской практике в Мадрасе. Врачей в те времена недоставало, зато болезни были распространены повсеместно. Молодой человек стал преуспевать. Но жизнь среди торгашей и окружных чиновников казалась ему невыносимо скучной. Он чувствовал себя будто в изгнании, однако настоящее изгнание привлекает приключениями и неизвестностью, а это была всего лишь ссылка в провинцию

вроде Суонси или Хаддерсфилда, только в тропиках. И все же он противостоял искушению взять билет на пассажирское судно и отбыть в родные края. Если уж он терпел пять лет, следует подождать еще немного, заработать побольше денег и затем купить хорошую практику в Эдинбурге – нет, лучше в Лондоне, в Вест-Энде. Будущее манило его, переливаясь золотыми и розовыми красками. Он женится на девушке с каштановыми волосами, взяв за ней скромное приданое. У них будет четверо или пятеро детей, которые получат атеистическое воспитание без розги, и будут чувствовать себя счастливыми. Практика его будет постоянно увеличиваться, и он будет лечить пациентов из высших кругов общества. Богатство, хорошая репутация, знатность – возможно, ему пожалуют дворянство. Сэр Эндрю Макфэйл, выходящий из своей кареты на Белгрейв-Сквер; благородный сэр Эндрю, королевский врач. Его приглашают в Петербург – оперировать великого князя; в Тюильри, в Ватикан, в Великую Порту. Сладостные мечты! Но дальнейшие события, которым предстояло случиться, превзошли всяческие ожидания. Одним прекрасным утром в его приемную вошел смуглокожий незнакомец, пояснив на ломаном английском, кто он такой. Незнакомец прибыл с острова Пала по поручению его величества раджи, чтобы сыскать и привезти искусного хирурга-европейца. Вознаграждение будет царским. Царским, настаивал он. Доктор Эндрю принял приглашение. Отчасти из-за денег; но в основном по причине скуки: ему хотелось перемен, хотелось изведать приключений. Поездка на запретный остров – непреодолимый соблазн!

– Тогда, – напомнила Сьюзила, – на Палу попасть было еще трудней, чем теперь.

– Вообразите, как охотно молодой доктор Эндрю ухватился за возможность, предоставленную ему посланником раджи. Через десять дней их корабль бросил якорь у северного побережья запретного острова. Доктора с медицинским саквояжем и жестяным сундучком, в котором находилась его одежда и самые необходимые книги, перевезли на каноэ, через ходящие ходуном буруны, а затем пронесли в паланкине по улицам Шивапурама на царский двор. Царственный пациент с нетерпением дожидался его. Не дав доктору ни побриться, ни переодеться, его ввели в царские покои, где он увидел тщедушного человечка с коричневой кожей, лет сорока, изможденного болезнью, что только подчеркивало его парчовое одеяние; распухшее, с искаженными чертами лица, казалось, не было лицом человека, и говорил раджа еле слышно, сильным шепотом. Доктор Эндрю осмотрел его. Опухоль, начинаясь от верхнечелюстной полости, распространялась по всем направлениям. Она заполнила нос, проникла в правую глазную впадину и наполовину забила горло. Дыхание сделалось затрудненным, глотание сопровождалось острой болью, и спать было невозможно, так как пациент задыхался во сне, и просыпался, судорожно глотая воздух. Было очевидно, что без хирургического вмешательства раджа проживет не более двух месяцев. При хирургическом вмешательстве – и того меньше. В те добрые старые времена операции проводились без хлороформа. Даже при самых благоприятных обстоятельствах для каждого четвертого пациента обращение к помощи хирурга завершалось роковым исходом. Где условия были менее сносными, шансы значительно уменьшались: пятьдесят против пятидесяти, тридцать против семидесяти, ноль против ста. В настоящем случае прогноз был наихудшим. Пациент уже очень ослаб, а операция предстояла затяжная, сложная и чрезвычайно болезненная. Существовала опасность, что он умрет на операционном столе, либо через несколько дней после операции – от заражения крови. А в случае смерти больного, размышлял доктор Эндрю, какая судьба ожидает хирурга-иностранца, который убил короля? И потом – кто будет держать царственного пациента во время операции, когда тот под ножом будет корчиться от боли? У кого достанет решимости не повиноваться приказу, если господин, не выдержав муки, криками потребует отпустить его?

Возможно, самое благоразумное было сказать – здесь и теперь – что случай безнадежен, что врач при данных обстоятельствах ничего не может сделать, и попросить, чтобы его отправили назад, в Мадрас. Доктор Эндрю вновь взглянул на больного. Сквозь гротескную маску, в которую превратилось его лицо, раджа неотрывно смотрел на врача, как

осужденный на своих судьей, безмолвно моля о помиловании. Тронутый этим немым призывом, доктор Эндрю ободряюще улыбнулся и похлопал монарха по руке. И тут ему в голову неожиданно пришла некая мысль: она была нелепой, безумной, совершенно невероятной, и все же...

Пять лет назад, когда он еще был в Эдинбурге, доктору Эндрю попала статья в «Ланцете», развенчивающая печально знаменитого профессора Эллиотсона за его пропаганду животного магнетизма. Эллиотсон имел дерзость говорить о безболезненных операциях, когда пациент пребывает в гипнотическом трансе.

Профессора объявили либо легковерным идиотом, либо бессовестным мошенником, а его так называемые свидетельства – не имеющим никакой ценности вздором. Все это очевидный обман, шарлатанство, откровенное вранье. Праведное возмущение изливалось в шести столбцах. Доктор Эндрю, тогда еще увлекавшийся Ламетри, Юмом и Кабанисом, прочитал статью с ревностью ортодоксального одобрения. И тут же начисто забыл о животном магнетизме. Но сейчас, в присутствии больного раджи, он вдруг вспомнил ту статью – и подумал о безумном профессоре, магнетических пассах, а также о безболезненных ампутациях, низком уровне летальных исходов и быстром выздоровлении пациентов. Как знать, может, что-то в этом и есть. Он молчал, глубоко задумавшись, пока наконец больной не заговорил с ним. Раджа обучался английскому у молодого моряка, который, сбежав с корабля в Рендан-Лобо, ухитрился пересечь пролив и добраться до острова Пала. Ученик усвоил беглость речи, однако, старательно подражая наставнику, перенял также сильный, ярко выраженный выговор кокни. «Ох, уж этот акцент! – рассмеялся доктор Макфэйл. – Мой прадед неоднократно упоминает о нем в своих мемуарах». Видимо, ему казалось неподобающим, что король разговаривает как Сэм Уэллер. И тут дело касалось не только социального статуса. Раджа, будучи верховным правителем, обладал также незаурядным интеллектом и самой изысканной утонченностью; он был не только глубоко религиозен (ведь даже неотесанный простофиля может иметь религиозные убеждения) – он познал религию через опыт и был наделен духовной проницательностью. И такой человек выражал свои мысли на кокни! Смириться с этим шотландцу ранневикторианской эпохи, читавшему «Записки Пиквикского клуба», было куда как непросто. Но и радже, в свою очередь, очень непросто было исправить огрехи в произношении, несмотря на тактичные поучения моего прадеда. Однако все это ожидало их в будущем. А сейчас, при первой встрече, в столь трагических обстоятельствах, этот шокирующий говор простолудинов показался ему даже трогательным. Сложив с мольбой руки, больной прошептал:

– Помог'ите мне, дохтор Макфэйл. Помог'ите.

Призыв подействовал. Доктор Макфэйл взял исхудавшие руки раджи в свои и со всею доверительностью поведал ему о недавно открытом, чудесном новом способе лечения, который освоен пока только самыми выдающимися врачами. Обернувшись к слугам, которые все это время стояли поодаль, он велел им выйти из помещения. По-английски они не понимали, но интонации и жеста оказалось достаточно. Поклонившись, слуги удалились. Доктор Эндрю снял пиджак, закатал рукава рубашки и принялся делать те самые прославленные магнетические пассы, о которых некогда с таким скептическим удовольствием читал в журнале. От макушки головы, вдоль лица – вниз, к надчревной области, снова и снова, пока пациент не погрузится в гипнотический сон, или пока (согласно язвительному замечанию анонимного автора статьи) «врач-шарлатан не заявит, что околпаченный им пациент находится сейчас под магнетическим воздействием». Мошенничество, надувательство и вранье. Но все же, все же... Доктор упорно работал в тишине. Двадцать пассов, пятьдесят пассов. Больной вздохнул и закрыл глаза. Шестьдесят, восемьдесят, сто, сто двадцать. Жара была удушающей, рубаха доктора насквозь промокла, руки болели. Но доктор Эндрю все повторял и повторял нелепые жесты. Сто пятьдесят, сто семьдесят пять, двести. Пусть это надувательство и вранье, он во что бы то ни стало добьется, чтобы этот бедняга погрузился в гипнотический сон, даже если придется трудиться весь день.

– Вы засыпаете... засыпаете... – сказал он вслух после двести одиннадцатого взмаха. – Вы засыпаете...

Голова больного чуть глубже погрузилась в подушки, и вдруг доктор Эндрю услышал громкий храп.

– Вы спите не задыхаясь, – поспешно добавил он. – Воздух проходит свободно, и вы не задыхаетесь.

Дыхание раджи стало ровным. Доктор Эндрю сделал еще несколько пассивных движений, а потом решил, что теперь можно немного отдохнуть. Он отер пот с лица, встал, вытянул руки и сделал несколько вращательных движений вперед-назад. Снова сев у кровати, он взял худое, как трость, запястье раджи и нащупал пульс. Час назад он насчитал сто ударов в минуту, теперь же только около семидесяти. Он поднял руку пациента: она повисла как неживая. Доктор Эндрю отпустил ее – и рука, упав, застыла неподвижно на постели.

– Ваше величество, – позвал он несколько раз, с каждым разом все более громко, – ваше величество!

Раджа не откликнулся. Пусть все это шарлатанство и вранье, но действовал метод безотказно, теперь он видел это воочию...

Ширококрылый, ярко окрашенный богомол спорхнул на перекладину в изножье кровати, сложил бело-розовые крылья и протянул удивительно мускулистые передние лапки в молитвенном жесте. Доктор Макфэйл достал увеличительное стекло и склонился, чтобы рассмотреть насекомое.

– *Gongylus gongyloides*, – определил он. – Окраской напоминает цветок. Когда невежественные мошки приближаются попить нектар, он хватает и высасывает их. Самки богомола пожирают своих самцов. – Убрав стекло, доктор Роберт откинулся на спинку стула. – Мир привлекает нас своей невероятностью. *Gongylus gongyloides*, *Homo sapiens*, приезд моего прадеда на Палу, гипноз – все это самые невероятные вещи.

– Да, – откликнулся Уилл Фарнеби. – Но еще невероятней мой приезд на Палу и гипноз; на Пале я оказался, потерпев кораблекрушение и затем сорвавшись в пропасть, а в гипнотический сон погрузился, слушая монолог об английском соборе.

Сьюзила рассмеялась.

– К счастью, мне не пришлось прибегать к пассивности. В нашем тропическом климате! Я восхищаюсь доктором Эндрю. Порой требуется три часа, чтобы пациент перестал чувствовать боль.

– Но доктор Эндрю этого добился?

– Блестящим образом.

– И провел операцию?

– Да, операцию он сделал. Но не сразу, – ответил доктор Макфэйл. – Потребовалась длительная подготовка. Сначала доктор Эндрю внушил пациенту, что тот может глотать без боли. В течение трех недель он кормил его, между приемами пищи погружая в сон. Наш организм творит чудеса, если предоставить ему соответствующую возможность. Раджа поправился на двадцать фунтов и почувствовал себя новым человеком, полным надежд и уверенности в будущем. Он знал, что преодолит суровые испытания. И то же самое чувствовал доктор Эндрю. Пока он укреплял веру раджи в предстоящий успех, возросла и его собственная убежденность. Но она не была слепой. Доктор Эндрю чувствовал, что операция пройдет удачно. Однако, несмотря на уверенность, он делал все, чтобы обеспечить себе успех. Он не оставлял работы над гипнотическим сном. Сон, внушил он своему пациенту, с каждым днем будет становиться все глубже, но наиболее глубоким он будет в день операции. То же касалось и длительности сна. «Вы проспите, – уверял он раджу, – еще четыре часа после операции, а когда проснетесь, не почувствуете ни малейшей боли». Стараясь вселить уверенность в своего пациента, доктор Эндрю испытывал смешанные чувства: убежденность соседствовала со скептицизмом. Умом он понимал, что, исходя из предшествующего опыта, можно смело надеяться на успех. И все же предстоящая операция была делом совершенно новым. Но разве невозможное не случалось уже несколько раз? И

опять случится. Надо только говорить о том, что это произойдет обязательно, повторять снова и снова. Так он и поступал, но самым лучшим его изобретением были репетиции.

– Что же он репетировал?

– Операцию. Чуть ли не десять раз он подробно пересказывал ее пациенту, погружив его в гипнотический сон, деталь за деталью. Последняя репетиция состоялась утром перед операцией. В шесть часов доктор Эндрю пришел к больному и, весело поболтав с ним, начал делать пассы. Через несколько минут пациент впал в глубокий сон. Далее доктор Эндрю скрупулезнейше описал, что именно он собирается делать. Коснувшись скулы у правого глаза раджи, он сказал: «Я натянул кожу. А теперь, вот этим скальпелем (он провел по щеке кончиком карандаша) я делаю надрез. Вы не чувствуете боли, у вас нет никаких неприятных ощущений. А теперь я рассекаю подкожные ткани, но боли вы не чувствуете. Вы спокойно лежите и спите, пока я разрезаю щеку до носа. Я то и дело останавливаюсь, чтобы перевязать кровеносный сосуд, а потом опять продолжаю. Подготовительная часть работы проделана, и теперь я добрался до опухоли. Она растет из полости под скулой, проникая в глазную впадину, и распространяется вниз, проникая в глотку. И пока я вырезаю ее, вы лежите, как и лежали – спокойно, удобно, расслабившись. А теперь я приподнимаю вашу голову». Сказав это, он приподнял голову раджи и склонил ее чуть вперед.

– Я приподнял и наклонил ее, чтобы стекала кровь, попавшая в рот и глотку. Часть крови попала в дыхательное горло, и вы выкашливаете ее, не просыпаясь.

Раджа кашлянул раз или два и, едва доктор Эндрю разжал руки, уронил голову на подушку, продолжая спать.

– Вы не кашляете даже тогда, когда я удаляю опухоль из вашего горла. – Доктор Эндрю открыл радже рот и просунул два пальца ему в глотку. – Я вытаскиваю ее, но вы не кашляете. Если же вы кашлянете, чтобы удалить кровь, то сделаете это во сне. Да, во сне, в глубоком, глубоком сне.

Репетиция закончилась. Через десять минут, сделав еще несколько пассов и велел пациенту спать еще глубже, доктор Эндрю приступил к операции. Он натянул кожу, сделал надрез, рассек щеку и отсек корни опухоли в глотке. Раджа лежал спокойно, пульс его был устойчив и не превышал семидесяти пяти ударов в минуту, боль совершенно не ощущалась, словно это опять была репетиция. Доктор Эндрю проник в горло; раджа кашлянул, но не проснулся. После операции пациент проспал еще четыре часа. Пробудившись, он улыбнулся из-под бинтов и на певучем кокни спросил у доктора, когда же начнется операция. Доктор Эндрю покормил его и обтер губкой, а потом, проделав пассы, велел спать еще несколько часов и набираться сил. Так прошла неделя: шестнадцать часов гипнотического сна ежедневно и восемь часов бодрствования. Раджа почти не чувствовал боли, и, несмотря на то, что и операция, и перевязки происходили без применения антисептических средств, раны не нагнаивались и заживали хорошо. Вспоминая ужасы, которые ему доводилось наблюдать в эдинбургском лазарете, и еще большие ужасы в хирургических палатах в Мадрасе, доктор Эндрю просто глазам своим не верил. Вскоре ему представился еще один случай убедиться, что можно сделать при помощи животного магнетизма. Старшая дочь раджи была на девятом месяце беременности. Рани, под впечатлением чудесного выздоровления мужа, послала за доктором. Войдя к ней в покои, он застал ее вместе с хрупкой испуганной шестнадцатилетней девочкой, которая на ломаном кокни объяснила ему, что и она, и ее ребенок должны погибнуть. Когда она шла по тропинке, путь ее пересекли три черных дрозда, и так повторялось три дня подряд. Доктор Эндрю не стал ничего доказывать. Уложив ее, он принялся делать пассы. Через двадцать минут дочь раджи погрузилась в гипнотический сон. В его стране, принялся уверять он пациентку, считается, что черные дрозды приносят счастье; они знаменуют благополучные роды и радость. Ребенка она родит легко и без боли. Она не будет чувствовать боли – так же, как и ее отец во время операции. Совсем никакой боли, пообещал он, совсем никакой.

Через три дня, после трех-четырех часов усиленного внушения, все благополучно завершилось. Проснувшись перед ужином, раджа увидел жену, сидящую у его кровати.

– У нас родился внук, – сказала рани, – и наша дочь здорова. Доктор Эндрю сказал, что завтра тебя отнесут к ней в комнату, и ты дашь им обоим свое благословение.

Через месяц раджа распустил совет регентов и стал сам осуществлять верховную власть. Доктора Эндрю, спасшего жизнь ему и (рани была в этом уверена) его дочери, он сделал своим советником.

– Значит, он не возвратился в Мадрас?

– Ни в Мадрас, ни в Лондон. Он остался на Пале.

– Чтобы исправить произношение раджи?

– Да, но главное, ради того чтобы изменить жизнь на острове.

– Чего он добивался?

– Вряд ли доктор Эндрю сумел бы ответить на данный вопрос. Тогда у него еще не было никаких планов – только некоторые симпатии и антипатии. Что-то на Пале ему нравилось, но многое не нравилось. Но о Европе, а также о странах, где он побывал во время плавания на «Мелампусе» он мог бы сказать то же самое: что-то он всей душой одобрял, иное с отвращением отвергал. У доктора Эндрю сложилось мнение, что для людей цивилизация – это и благо, и наказание. Она приносит им расцвет, однако она же губит лучшее в зачатке или внедряет червя в самую сердцевину бутона. Может быть, на этом запретном острове удастся избежать червотчины и позволить каждому бутону расцвести с наибольшей пышностью? Вот вопрос, на который и раджа, и доктор Эндрю искали ответ, со временем все более осознавая, как именно он прозвучит.

– И они нашли его?

– Оглядываясь назад, можно только удивляться тому, чего сумели добиться эти двое. Шотландский врач и паланезийский верховный правитель; кальвинист, сделавшийся атеистом, и ревностный махаяна-буддист – что за странная пара! Но это была пара неразлучных друзей, взаимно дополнявших друг друга и складом характера, и способностями, не говоря уж о философских взглядах и запасе знаний. Каждый из них восполнял пробелы другого, побуждая к развитию врожденных способностей. Раджа был человеком острого и тонкого ума, но он ничего не знал о мире, лежащем за пределами острова, и не был знаком с европейской наукой, технологией, искусством, европейским образом мышления. Доктор Эндрю не уступал ему в интеллектуальных способностях, но зато он ничего не знал об индийской живописи, поэзии и философии. Не знал он также, что существует наука о человеческой душе и искусство выживания. В последующие после операции месяцы и врач, и пациент стали учить друг друга. Конечно же, это было только начало. Но они не были просто частными лицами, которые занялись самосовершенствованием. Раджа правил миллионом подданных, а доктор Эндрю был фактически его первым министром.

Их самосовершенствование обернулось усовершенствованием всего общества. Король и доктор учились друг у друга лучшему, чего достигли разные культуры – восточная и европейская, древняя и современная, для того, чтобы эти достижения могла воспринять вся нация. Взять лучшее от двух культур – но что я говорю? Взять лучшее из мировой культуры, воплощенной в культурах национальных, используя все потенциальные возможности. Таков был их дерзкий замысел, и недостижимость цели только подстегивала их задор; и они очертя голову ринулись туда, куда боятся ступить ангелы, и в конце концов доказали всем, что были не такими уж безумцами. Конечно же, им не удалось использовать для решения своих задач мировую культуру в полном объеме, но предпринимая к тому дерзкие попытки, они достигли большего, чем может вообразить себе скромный, благоразумный человек, даже не помышляющий о примирении непримиримого.

– «Глупец, упорствующий в своем недомыслии, – процитировал Уилл “Пословицы Ада”, – становится мудрецом».

– Вот именно, – согласился доктор Роберт. – Но самая выдающаяся глупость – та, что описана Блейком. Ее-то и вознамерились совершить раджа и доктор Эндрю – сочетать браком Небеса и Ад. Но если вы все-таки упорствуете в этой беспримерно неразумной затее,

вас ожидает великая награда. Разумеется, упорствовать надо с умом. Глупый безумец ничего не достигнет, и только умный, знающий безумец способен сделаться мудрецом, или достичь замечательных результатов. К счастью, оба наших дурака были умными безумцами. Во всяком случае, они начали осуществлять свою безумную затею наиболее скромным и находящим отклик способом. Первым делом они научили людей избавляться от боли. Паланезийцы были буддистами. Они знали, что несчастья человека проистекают из состояния его души. Вы к чему-то прилепляетесь, чего-то страстно желаете, отстаиваете свои права – и живете в созданном вами аду. Стоит вам только отрешиться от желаний, и в душе наступает мир. «Я покажу вам страдания, – сказал Будда, – и я покажу вам конец страданий». Итак, доктор Эндрю обладал особым методом отрешения от страданий, позволившим справиться с физической болью. При помощи раджи, а также рани и ее дочери, выступавшими в качестве переводчиц, если аудиторию составляли женщины, доктор Эндрю давал уроки повитухам, врачам, учителям, матерям, инвалидам. Предлагая роды без боли, наши друзья снискали симпатии всех женщин Палы. Удаляя безболезненно камни и катаракту, леча геморрой, они завоевали расположение со стороны всех стариков и больных. Одним ударом они добились того, что более половины взрослого населения страны сделалось их союзниками, относившимися к ним дружески или, по крайней мере, способными воспринять без предубеждений следующую реформу.

– Каков же был их следующий шаг?

– Реформирование агрокультуры и языка. Из Англии был приглашен человек для основания Ротамстеда-в-Тропиках, и наряду с этим они ввели в употребление еще один язык, помимо паланезийского. Пале предстояло оставаться запретным островом; доктор Эндрю всецело был согласен с раджей, что миссионеры, плантаторы и предприниматели представляют собой опасность. Но если сюда нельзя пустить иностранцев, нужно помочь местному населению проникнуть во внешний мир. Если не физически, то хотя бы мысленно. Но их язык и архаическая версия брахманского алфавита являлись как бы тюрьмой без окон. И они не могли оттуда выйти, даже просто выглянуть наружу, не изучив английский язык вкупе с освоением латинского алфавита. Среди придворных лингвистические успехи раджи уже породили моду. Благородные паланезийки и паланезийцы пересыпали свою речь словечками на кокни, иные из них даже выписывали с Цейлона учителей, чтобы выучиться английскому. Теперь же мода переросла в политику. Учредили английские школы и пригласили бенгальских печатников, которые прибыли из Калькутты вместе со своими станками и шрифтами Каслона и Бодони. Первой английской книгой, изданной в Шивапураме, стала «Тысяча и одна ночь» (в отрывках), второй – перевод «Алмазной Сутры», до того существовавшей только в рукописях на санскрите. Все, кто желал ознакомиться с приключениями Синдбада и Маруфа или интересовался Мудростью с Иного Берега, поторопились взяться за изучение английского. Это было начало длительного образовательного процесса, который превратил нас в двуязычную нацию. Мы говорим по-паланезийски, когда готовим, рассказываем анекдоты, беседуем о любви или занимаемся любовью (кстати, мы обладаем самым богатым в юго-восточной Азии запасом эротической и эмоциональной лексики). Но обращаясь к бизнесу, к науке, к спекулятивной философии, мы говорим преимущественно по-английски. К тому же большинство паланезийцев предпочитает писать по-английски. Любому писателю литература необходима как эталон; он ищет там образцы для подражания – или опоры для отталкивания. Пала имеет хорошую живопись и скульптуру, замечательную архитектуру; искусство танца здесь восхитительно, а музыка поражает тонкостью и выразительностью. Но у нас нет настоящей литературы, нет национальных поэтов, прозаиков, драматургов. Только барды, пересказывающие буддийские и индусские мифы, да еще монахи пишут проповеди и плетут метафизическое кружево. Приняв английский в качестве мачехи, мы получили литературу с богатым прошлым и настоящим. Мы получили основу и духовную опору, набор стилей и приемов, и неиссякаемый источник вдохновения. Одним словом, мы обрели возможность возделывать поле, которое прежде никогда не возделывали. Благодаря радже и моему прадеду, у нас

теперь существует англо-паланезийская литература, современным светилом которой – добавлю – является Сьюзила.

– Я остаюсь в тени, – запротестовала она. Доктор Макфэйл закрыл глаза и, улыбаясь, процитировал:

Так, ушедшая в небытие, я рукою Будды
Предлагаю несорванный цветок, монолог лягушки
Посреди листьев лотоса, перепачканный молоком детский рот
И налитую полную грудь, подобно незастланному облаками
небу,
Являющему и горы, и клонящуюся к закату луну;
Пустоту, которая есть чрево любви,
Поэзию безмолвия.

Он вновь открыл глаза.

– И не только поэзию безмолвия, но и науку, философию, теологию безмолвия. А теперь вам самое время поспать. – Доктор Макфэйл поднялся и подошел к двери. – Пойду принесу для вас стакан фруктового сока.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Патриотизм ограничен. Ограничено все, что бы вы ни взяли. Наука, религия, искусство также ограничены. Политика и экономика не могут заменить собою все, и то же можно сказать о любви и о долге. Ограничен любой ваш поступок, даже самый бескорыстный, и любая мысль, как бы она ни была возвышенна. Ничто не является достаточным, поскольку лишено всеохватности».

– Внимание! – прокричала вдали птица.

Уилл поглядел на часы: без пяти двенадцать. Он закрыл «Заметки о том, что есть что», достал бамбуковый альпеншток, принадлежавший некогда Дугласу Макфэйлу, и отправился на свидание с Виджайей и доктором Робертом. Главное здание Экспериментальной станции находилось менее чем в четверти мили от бунгало доктора Роберта. Однако день был жарким; к тому же предстояло преодолеть два пролета ступенек. Правая нога хотя и заживала, но находилась пока в лубках, и потому путешествие представлялось нелегким.

Медленно, мучительно Уилл проделал путь по извилистой тропе и взобрался по ступенькам. На верхней площадке он остановился, чтобы перевести дыхание и вытереть пот со лба. Держась поближе к стене, где была узкая полоска тени, он направился к двери, над которой была надпись: «ЛАБОРАТОРИЯ».

Дверь была приоткрыта; распахнув ее, он увидел длинную комнату с высоким потолком. Обыкновенная лаборатория: раковины и рабочие столы, шкафы со стеклянными дверцами, где хранятся колбы и реактивы, запах химикалий и лабораторных мышей. Сначала Уилл подумал, что в комнате никого нет, но вдруг в стороне за шкафом, почти заслонявшим правый угол, заметил Муругана, который сидел, поглощенный чтением. Уилл постарался войти как можно тише, чтобы доставить себе удовольствие застать юношу врасплох. Шагов не было слышно из-за шума электрического вентилятора, и Муруган заметил Уилла, только когда он вплотную приблизился к столу. Юноша виновато вздрогнул, с панической поспешностью засунул книгу в кожаный портфель и, потянувшись за другой, поменьше, что лежала перед ним раскрытой, придвинул ее поближе. С гневом он взглянул на незваного посетителя.

– Это я, – с улыбкой успокоил его Уилл. Юноша облегченно вздохнул.

– А я думал, это... – Он осекся, не окончив фразы.

– Кто-нибудь из тех, кто мешает заниматься чем хочешь?

Муруган хмыльнулся и кивнул курчавой головой.

- Где остальные? – поинтересовался Уилл.
– В поле – подрезают, опыляют и все такое прочее, – презрительно сообщил Муруган.
– Кот за порог – мышам раздолье. Что это вы так увлеченно читали?
С невинным лукавством Муруган показал лежащую на столе книгу:
– Она называется «Начальная экология».
– Это я вижу, – заметил Уилл. – Но я спросил вас о той, что вы читали до нее.
– Ах та, – Муруган пожал плечами. – Вам она не покажется интересной.
– Мне интересно все, что пытаются спрятать, – заверил его Уилл. – Это порнография?
Муруган, забыв о притворстве, обиженно взглянул на него.
– За кого вы меня принимаете?

«За нормального парня», – чуть было не ответил Уилл, но вовремя удержался. Юному другу полковника Дайпы его слова могли показаться оскорблением или намеком. Уилл шутливо поклонился.

– Прошу прощения у вашего величества, – сказал он. – Но я ужасно любопытен. Можно взглянуть? – Он положил руку на раздутый портфель. Муруган, поколебавшись, рассмеялся:

– Действуйте!

– Вот это книжища! – Уилл вытащил из портфеля увесистый том и положил на стол. – «Сирз, Рубак и К°. Весенне-летний каталог», – прочел он вслух.

– Прошлогодний, – извиняющимся тоном сказал Муруган. – Но с тех пор, наверное, мало что изменилось.

– А вот тут вы ошибаетесь, – возразил Уилл. – Если бы стили не менялись ежегодно целиком и полностью, какой смысл покупать новую вещь, когда старая еще не износилась? Вы не знакомы с первейшим принципом современного потребления. – Он наудачу открыл книгу. – «Мягкие танкетки на платформе, большие размеры». – Открыв каталог на другой странице, Уилл наткнулся на иллюстрированное описание бледно-розовых бра с дакроновым и хлопковым абажуром. Перелистнул страницу и там – *memento mori*²⁶ – нашел то, что предстояло носить покупателю бра через двадцать лет – оснащенный ремешками набедрник для поддержания живота.

– Самое интересное в конце, – сказал Муруган. – Всего в книге одна тысяча триста пятьдесят восемь страниц, – заметил он. – Подумать только! Тысяча триста пятьдесят восемь!

Уилл перелистнул первые тысячу пятьдесят.

– О-о, здесь будет поинтересней, – воскликнул он. – Наши прославленные револьверы и автоматы двадцать второго калибра.

Далее, за лодками из стекловолокна, рекламировались надежные бортовые моторы в двенадцать лошадиных сил. Навесные моторы стоили всего лишь двести тридцать четыре доллара девяносто пять центов, включая резервуар для топлива.

– Какой большой выбор!

Но Муруган не был любителем мореплавания. Взяв книгу, он с нетерпением перелистнул еще несколько страниц.

– Взгляните на этот итальянский мотороллер!

Пока Уилл вглядывался, Муруган прочел вслух:

– «Этот элегантный спидстер проходит до ста десяти миль на галлон топлива». Только подумайте! – Обычно угрюмое лицо юноши сияло воодушевлением. – И даже на этом мотороллере в четырнадцать с половиной лошадиных сил вы пройдете шестьдесят пять миль на галлон. А вот этот обеспечит вам семьдесят пять – причем скорость гарантируется!

– Отлично! – поддакнул Уилл. – Вам прислали эту замечательную книжку из Америки? – осведомился он с любопытством. Муруган покачал головой:

– Мне дал ее полковник Дайпа.

²⁶ напоминание о смерти (лат.)

– Полковник Дайпа?

Что за странный подарок от Адриана Антиною! Уилл вновь взглянул на изображение мотоцикла, а потом перевел глаза на сияющее лицо Муругана. И вдруг его осенило; цель полковника Дайпы была ясна: «Змей обольстил меня, и я ела». Дерево посреди сада носило название «Потребительские товары», и обитатели любого низкоразвитого Эдема, познав хотя бы однажды вкус запретного плода или просто увидев одну тысячу триста пятьдесят восемь приманчивых листьев запретного дерева, со стыдом осознавали, что они, с промышленной точки зрения, наги. Будущий раджа Палы был вынужден признать, что он всего-навсего голоштаный правитель племени дикарей.

– Вам следует, – продолжал Уилл, – ввезти миллион каталогов и раздавать их всем подданным – разумеется, бесплатно, как и противозачаточные средства.

– Зачем?

– Чтобы пробудить в них аппетит к собственности. Тогда они все начнут выступать за прогресс – за нефтяные скважины, вооружение, за Джо Альдехайда и советских специалистов.

Муруган нахмурился и покачал головой.

– Не поможет.

– Вы хотите сказать, что их нельзя соблазнить? Даже при помощи элегантных спидстеров и бледно-розовых бра? Невероятно!

– Да, невероятно, – с горечью ответил Муруган, – и тем не менее это факт. Им это неинтересно.

– Даже молодым?

– Я и говорю о молодых.

Уилл Фарнеби насторожился. Подобное отсутствие интереса вызывало интерес.

– А вы не догадываетесь, почему?

– Что тут догадываться? Я это знаю наверняка.

Невольно пародируя свою мать, Муруган вдруг заговорил с интонацией праведного негодования, совершенно не вязавшейся с его годами и внешностью.

– Начать с того, что они слишком заняты... – Муруган поколебался и наконец с отвращением прошипел сквозь зубы ненавистное слово: – ...Сексом.

– Но сексом занимаются все. И тем не менее не устают домогаться высокоскоростных спидстеров.

– Здесь секс другой, – настаивал Муруган.

– И причиной тому – йога любви? – спросил Уилл, припоминая восторженное лицо юной сиделки. Юноша кивнул.

– Они испытывают что-то такое, что позволяет им вообразить себя счастливыми, и не желают ничего другого.

– Какое блаженство!

– Никакого блаженства здесь нет, – отрезал Муруган. – Одна только мерзость и глупость. И речи нет о прогрессе; только секс, секс и секс. Да еще эти ужасные наркотики.

– Наркотики? – изумился Уилл. Наркотики в стране, где, по словам Сьюзины, нет наркоманов? – А что за наркотики?

– Они готовят их из поганок. Из поганок!

Голос юноши звенел – точь-в-точь как у рани, когда она вдохновенно чем-либо возмущалась; сходство было довольно комическое.

– Из таких симпатичных красноватых поганок, на которых обычно сидели гномы?

– Нет, из желтых, которые люди обычно собирали в горах. А теперь их выращивают на особых грядках сотрудники высокогорной Экспериментальной станции. Научное разведение поганок. Мило, не правда ли?

Дверь хлопнула, послышались голоса и шаги по коридору. Неожиданно негодующий дух рани улетучился, и Муруган вновь превратился в недобросовестного школьника, пытающегося скрыть свою провинность. В один миг «Начальная экология» заняла место

Сирза и Роубака, а подозрительно раздутый портфель оказался под столом. И тут же в лабораторию стремительно вошел Виджайя – обнаженный до пояса, потный после работы, его кожа сияла, как натертая маслом бронза. За ним вошел доктор Роберт. Муруган поднял глаза от книги: теперь он изображал собой образцового студента, которому помешали заниматься посторонние. Уилл, позабавившись, искренне переключился на вошедших.

– Я пришел слишком рано, – ответил он на извинения Виджайи, – и помешал нашему юному другу заниматься. Мы проболтали все это время.

– О чем же вы беседовали? – поинтересовался доктор Роберт.

– Обо всем на свете. О королях и капусте, о мотороллерах, об отвисших животах... Когда вы вошли, мы говорили о поганках. Муруган сказал мне, что из ядовитых грибов здесь вырабатывают наркотики.

– «Что в имени?», – со смехом отозвался доктор Роберт. – Все что угодно. К несчастью, Муруган воспитывался в Европе, и потому он называет это наркотиками, испытывая, в силу условного рефлекса, закономерное отвращение. Мы же называем это препаратом мокша – проявителем реальности, пилюлей красоты и истины. Непосредственный опыт подтверждает, что эти имена даны препарату заслуженно. Однако наш юный друг никогда не применял мокша-препарат, и его невозможно уговорить даже попробовать. Для него это наркотик, а к наркотикам порядочные люди не прикасаются.

– Что скажет его высочество? – спросил Уилл. Муруган покачал головой.

– Что это дает, кроме иллюзий? – пробормотал он. – С какой стати я должен сбиваться с пути – чтобы надо мной потешались?

– В самом деле! – с добродушной иронией заметил Виджайя. – Ты, в нормальном состоянии, единственный, над кем не потешаются и кто не имеет никаких иллюзий!

– Я такого не говорил, – запротестовал Муруган. – Я просто хотел сказать, что не нуждаюсь в вашем фальшивом самадхи.

– А откуда тебе известно, что оно фальшивое? – спросил доктор Роберт.

– Потому что по-настоящему люди достигают этого состояния после долгих лет медитации, тапас и... воздержания от отношений с женщиной.

– Муруган – пуританин, – пояснил Виджайя Уиллу. – Его возмущает, что четыреста миллиграммов мокша-препарата даже начинающим – да-да, даже мальчикам и девочкам, которые занимаются любовью, – позволяют увидеть мир таким, каким он предстает свободному от оков «эго» взору.

– Но то, что они видят – нереально, – настаивал Муруган.

– Нереально! – повторил доктор Роберт. – Опыт собственных чувств также можно назвать нереальным.

– Напрашивается вопрос, – возразил Уилл. – Опыт может быть реален в отношении внутреннего раздражителя, безотносительно ко внешнему?

– Конечно, – подтвердил доктор Роберт.

– И вы способны объяснить, что происходит в мозгу человека, принявшего препарат?

– Отчасти – да.

– Мы постоянно работаем над этим, – добавил Виджайя.

– Например, – сказал доктор Роберт, – мы открыли, что людям, при расслаблении не имеющим показателей альфа-активности, мокша-препарат назначать не следует. Таким образом, примерно для пятнадцати процентов населения необходимо подыскать другие средства.

– Мы также пытаемся выявить неврологическое соответствие этих переживаний, – сказал Виджайя. – Какие процессы в мозгу сопутствуют видению? И что происходит при переключении души из до-мистического в истинно-мистическое состояние?

– И вы это знаете?

– Знать – это слишком громкое слово. Скажем лучше, что мы находимся в преддверии некоторых догадок. Ангелы, Новые Иерусалимы, Мадонны, Будды – все они соотносятся с некими необычными раздражениями участков первичных представлений – зрительного

центра, например. Каким образом мокша-препарат стимулирует мозг, мы еще не открыли. Важен сам факт, что он производит эти стимулы. Он также воздействует и на молчаливые области мозга, не участвующие в восприятии, движении, ощущениях.

– И как же отвечают на раздражение эти молчаливые области мозга?

– Давайте сначала рассмотрим, как они не отвечают. Не наблюдается ни зрительных, ни слуховых образов, ни каких-либо парапсихологических явлений вроде телепатии или ясновидения. Одним словом, никакой околומистической суеты. Что мы здесь имеем, так это полнокровный мистический опыт. Вы знаете: Единое во Всем и Все в Едином. Из этого опыта непосредственно вытекают: безграничное сочувствие, безмерное постижение тайны и смысла бытия.

– Не говоря уж о радости, – добавил доктор Роберт, – невыразимой радости.

– И весь этот набор – в вашей голове, – сказал Уилл. – Дело строго частное. Никаких обращений к вечной сущности – вы обходитесь только поганками.

– Это нереально, – вмешался Муруган. – Вот что я собирался сказать.

– Вы полагаете, – сказал доктор Роберт, – что мозг производит сознание. А я считаю, что он его транслирует. И мое объяснение не более надуманно, чем ваше. Как явления одного уровня становятся явлениями другого уровня, разительно несоизмеримого с первым? Этого никто не знает. Все, что мы можем – это воспринимать факты и сочинять гипотезы. А все гипотезы стоят друг друга, если подходить объективно. Вы утверждаете, что препарат мокша заставляет молчаливые участки мозга производить субъективные впечатления, которые люди называют «мистическим опытом». А я полагаю, что мокша-препарат, воздействуя на эти участки, открывает что-то вроде протока, через который Сознание (с большой буквы) в большем объеме притекает в сознание (с маленькой). Вы можете доказывать истинность своей гипотезы, я буду доказывать истинность своей. И даже если вы убедите меня в том, что я не прав, что это меняет?

– Я думаю, это многое меняет, – сказал Уилл.

– Вы любите музыку? – спросил доктор Роберт.

– Да, очень.

– Тогда ответьте мне, к кому обращен квинтет Моцарта соль минор? К аллаху или дао? Или ко второму лицу Троицы? Или к атману-брахману?

Уилл рассмеялся:

– К счастью, ни к кому.

– Но это не значит, что квинтет не стоит слушать. И то же касается мокша-препарата, а также опыта, который приносят молитва, пост, духовные упражнения. Даже если они не связаны с чем-то внешним, значение их оттого не утрачивается. Духовный опыт, как и музыка, ни с чем не сопоставим. Обращение к нему способно исцелить и преобразить вас. И все это, возможно, происходит только у вас в мозгу. Сугубо частное явление, которое объясняется не через нечто привходящее, но в пределах физиологии личности. Какая нам разница? Мы должны просто считаться с фактом, что определенный опыт заставляет человека прозреть и делает его жизнь благословенной.

Они помолчали.

– Позвольте, я скажу вам два слова, – обратился доктор Роберт к Муругану, – раньше мне не хотелось об этом заговаривать, но теперь я чувствую, что обязан это сделать ради благополучия трона и всего народа Палы. И говорить я буду ни о чем ином, как об этом особом опыте. Возможно, мой рассказ поможет вам лучше понять свою страну и путь, по которому она идет.

Выдержав паузу, доктор Роберт сказал сухо, почти деловито:

– Полагаю, вы знакомы с моей женой.

Муруган, все еще глядя в сторону, кивнул.

– Меня огорчила весть о ее болезни, – пробормотал он.

– Ей уже недолго осталось, – сказал доктор Роберт. – Это вопрос нескольких дней. Четырех-пяти – самое большее. И тем не менее она в полном сознании и понимает, что с ней

происходит. Так вот, вчера она попросила меня принять вместе мокша-препарат. Мы принимали его вместе, – заметил он вскользь, – раз или два в год на протяжении тридцати семи лет – почти с тех самых пор, как решили пожениться. А теперь мы сделали это в последний раз. Это было рискованно, поскольку могло оказать нежелательное воздействие на печень. Но мы решили, что стоит рискнуть. И, как выяснилось, не напрасно, мокша-препарат – или наркотик, как вы его называете, – вряд ли бы нанес серьезный ущерб ее здоровью. Но он вызвал духовное преображение.

Наступило молчание. Уилл вдруг услышал, как в клетках пищат и скребутся лабораторные крысы и через открытое окно доносится гам тропического леса и отдаленный призыв птицы минах:

– Здесь и теперь, друзья. Здесь и теперь.

– Вы как та птица минах, – продолжил доктор Роберт, – пытаетесь повторять слова, значения которых не понимаете. «Это нереально, это нереально». Если бы вы пережили то, что мы с Лакшми пережили вчера, вы бы судили иначе. Вы поняли бы, что это гораздо более реально, чем сама действительность, чем то, что вы чувствуете и думаете в данный момент. Да, гораздо более реально, чем мир, который вы сейчас перед собой видите. А нереальны как раз те слова, что вас научили повторять: «Нереально, нереально».

Доктор Роберт взволнованно положил руку на плечо юноше.

– Вас научили, что мы – кучка самодовольных наркоманов, погрязших в галлюцинациях и фальшивых самадхи. Послушайте, Муруган, – забудьте все дурные слова, которыми вас напичкали. Забудьте их хотя бы ради единственного эксперимента. Примите четыреста миллиграммов мокша-препарата – и вы на собственном опыте узнаете, что он собой представляет и что он говорит вам о вас и этом странном мире, в котором вы обречены жить, познавать, страдать и в конце концов умереть. Да, даже вы некогда умрете – быть может, через пятьдесят лет, а быть может, завтра. Кто скажет наверняка? Но это рано или поздно должно случиться, и глупо не готовить себя к этому. – Доктор Роберт повернулся к Уиллу: – Вы не пойдете с нами? Мы только примем душ и переоденемся.

Не дожидаясь ответа, он вышел в длинный центральный коридор. Уилл, опираясь на бамбуковый посох, двинулся за ним следом, сопровождаемый Виджайей.

– Думаете, на Муругана действуют слова доктора?

Виджайя пожал плечами.

– Сомневаюсь.

– Я думаю, что с такой мамашей и при его страсти к двигателям внутреннего сгорания, он останется глух к любым вразумлениям. Слышали бы вы, как он рассуждает о мотоциклах!

– Мы слышали, – сказал доктор Роберт, поджидая их у голубой двери. – И довольно часто. Когда он станет совершеннолетним, мотоциклы сделаются немаловажной частью политики.

– Моторизировать или не моторизировать, – засмеялся Виджайя, – вот в чем вопрос.

– И вопрос этот стоит не только перед Палой, – добавил доктор Роберт, – но и перед всякой слаборазвитой страной.

– И ответ, – сказал Уилл, – везде один и тот же. Где бы я ни был – а побывать мне удалось почти везде – все выступают за моторизацию. Все без исключения.

– Да, – согласился Виджайя, – моторизация ради моторизации, и к черту всяческие соображения о реализации потенциальных возможностей души, самопознании, внутренней свободе. Не говоря уж об общественном и климатическом здоровье и благополучии.

– Тогда как мы, – сказал доктор Роберт, – всегда предпочитали приспособливать экономику и развитие техники к условиям существования человеческой личности. Мы ввозим то, что не можем производить, но и производим, и ввозим мы только то, что в состоянии себе позволить. Здесь нет ограничений в фунтах, марках или долларах, все определяется преимущественно – да, преимущественно, – подчеркнул он, – нашим желанием быть счастливыми, жить полноценной жизнью. Мотоциклы, как было решено по самом тщательном рассмотрении, мы не можем себе позволить. Бедняге Муругану это понимание

достанется дорогой ценой, так как он не желает ничего понимать сейчас.

– А как бы он мог понять это сейчас?

– Получив образование и научившись видеть реальность. К сожалению у него нет ни того, ни другого. В Европе ему дали ложное образование: швейцарский гувернер, английские тьюторы, американское кино, всяческая реклама, – а чувство реальности вытравила мать, клеймом спиритуализма. Неудивительно, что юноша без ума от мотоциклов.

– Подданные не разделяют его страсти?

– С какой стати? Они сызмальства научены познавать мир во всей его полноте и наслаждаться этим познанием. Более того: они видели и мир, и себя, и людей озаренными и преображенными при помощи средств, открывающих реальность. Это помогло им познать и насладиться самыми обыкновенными вещами, будто драгоценностями или чудесами. Драгоценностями или чудесами, – подчеркнул он, – вот почему мы отвергаем ваши мотоциклы, виски, телевидение, Билли Грэхема и прочие подобные развлечения.

– «Ничто не является достаточным, поскольку лишено всеохватности», – процитировал Уилл. – Теперь я понимаю, что имел в виду старый раджа. Вы не будете хорошим экономистом, не став при этом психологом. Или хорошим инженером без знания метафизики.

– Не забудьте и о других науках, – сказал доктор Роберт. – Фармакология, социология, физиология, не говоря уж об аутологии, нейротеологии, метакимии, микомистицизме, и наконец, – он взглянул в сторону, будто желая остаться наедине со своими мыслями о Лакшми, – и наконец, о науке, по которой всем нам рано или поздно предстоит держать экзамен, – я говорю о танатологии. – Помолчав, он добавил другим тоном: – Что ж, давайте вымоемся, – и открыл голубую дверь.

Уилл увидел длинную раздевалку с рядом душевых кабин и умывальников по одну сторону и со шкафчиками и навесным буфетом – по другую. Уилл сел и, пока его друзья мылились в душевых, продолжал беседу.

– Позволят ли, – спросил он, – необразованному чужаку принять пилюлю красоты и истины?

– В каком состоянии ваша печень? – в ответ на его вопрос поинтересовался доктор Роберт.

– В превосходном.

– По психическому складу вы слабо выраженный шизофреник. Итак, я не вижу противопоказаний.

– Значит, можно провести эксперимент?

– Когда вам будет угодно.

Он встал под душ и включил воду. Виджайя последовал его примеру.

– Разве не предполагается, что вы интеллектуалы? – снова принялся расспрашивать Уилл, когда оба его спутника взяли за полотенца.

– Да, мы занимаемся умственным трудом, – согласился Виджайя.

– Тогда к чему эта изнуряющая работа на поле?

– По самой простой причине: сегодня утром у меня было много свободного времени.

– И у меня тоже, – сказал доктор Роберт.

– И потому вы оба вышли в поле и взялись подражать Толстому.

Виджайя рассмеялся:

– Вы вообразили, что мы делаем это из этических побуждений?

– А разве нет?

– Конечно, нет. У меня есть мускулы, и потому я даю им нагрузку; без физического труда я бы превратился в одержимого манией сидения угрюмца.

– У которого нет разницы между корой головного мозга и задницей, – добавил доктор Роберт. – И пусть даже кора останется корой: мозг будет пребывать в застойном, бессознательном отравлении. Вы, западные интеллектуалы, одержимы манией неподвижности. Вот почему большинство из вас столь омерзительно нездоровы. В былые

времена и князья, и ростовщики, и метафизики – хоть сколько-нибудь должны были ходить пешком. Или трястись на лошади. Но сейчас все, от магната до машинистки, от логического позитивиста до позитивного мыслителя, проводят девяносто процентов времени на вспененной резине. Губчатые сиденья для рыхлых задниц – дома, на службе, в машине, в баре, в самолетах, поездах, автобусах. Ногам нет работы, отсутствует борьба с расстояниями, с земным притяжением, только лифты, самолеты и автомобили, вулканизированная резина и вечное сидение. Жизненная мощь, которую выказывает атлет, поигрывая обнаженными мускулами, обращается на внутренние органы и нервную систему и постепенно разрушает их.

– И вы ради терапии взялись за лопату?

– Это профилактика: в терапии нет необходимости. На Пале даже профессор, даже член правительства проводит два часа ежедневно с лопатой в руках.

– Исполняя свой долг?

– И доставляя себе удовольствие.

Уилл поморщился:

– Мне бы это не доставило удовольствия.

– Это потому, что вы не умеете правильно использовать свои умственные способности, – пояснил Виджайя. – Если бы вас научили работать с минимальным напряжением, но при максимальной осознанности, вы бы получили удовольствие даже от самого тяжелого физического труда.

– А у вас это, конечно, умеют даже дети.

– Да, их учат этому с самых первых шагов. Например, как удобнее всего застегивать пуговицы? – В подтверждение своих слов Виджайя принялся застегивать пуговицы рубашки, которую только что надел. – И голова, и тело должны быть в удобном положении. Дети должны почувствовать, что значит удобное положение, почувствовать давление пальцев на пуговицы, осознать мускульное напряжение. К четырнадцати годам они уже умеют осуществлять наилучшим образом все, за что им приходится браться в процессе обучения. И тогда же они начинают работать. Полтора часа ручной работы в день.

– Назад к детскому труду!

– Или – долой детскую праздность! У вас подросткам не разрешается работать; и потому они выпускают пар, становясь правонарушителями, или сбрасывают его потихоньку, заболевая доморощенной манией сидения. А теперь пора идти, – добавил он. – Я вас провожу.

Едва они вошли, Муруган защелкнул портфель.

– Я готов, – сказал он и, покрепче прижав к груди тридцать тысяч пятьдесят восемь страниц Новейшего Завета, выбрался из холодка лаборатории на солнце. Через несколько минут, скрючившись в допотопном джипе, все четверо уже катили по дороге, которая мимо лужайки с белым быком, мимо лотосового пруда и огромного каменного Будды, через ворота станционного комплекса вела к шоссе.

– Просим извинить нас за то, что не можем предоставить вам более удобного способа передвижения, – сказал Виджайя, пока они подпрыгивали и тряслись на ухабах. Уилл похлопал по колену Муругана.

– Вот перед кем вам надо извиняться, – сказал он. – Вот чья душа жаждет «ягуаров» и «тандербердов».

– Боюсь, эта жажда так и останется неудовлетворенной, – отозвался с заднего сиденья доктор Роберт.

Муруган ничего не ответил, лишь улыбнулся презрительно, как бы в уверенности, что ему-то лучше знать.

– Мы не можем себе позволить импортировать игрушки, – продолжал доктор Роберт. – Только самое существенное.

– А именно?

– Скоро сами увидите.

Обогнув поворот, они увидели внизу соломенные крыши и раскидистые сады довольно обширного селения. Виджайя вырулил на обочину и выключил мотор.

– Перед вами Новый Ротамстед, – провозгласил он, – его также называют Мадалия. Рис, овощи, домашняя птица, фрукты. И, помимо того, две гончарные мастерские и мебельная фабрика. А вон там, взгляните, линия электропередачи.

Виджайя махнул рукой туда, где ряд металлических опор взбирался по склону за деревней, потом исчезал за грядой и появлялся вновь, поднимаясь со дна следующей долины к зеленому поясу лесистых гор и увенчанным облаками дальним вершинам:

– На импортное электрооборудование мы средств не жалеем. Но когда водопады уже обузданы и от них протянуты электромагистрали, остается еще один вопрос первоочередной важности.

Он указал пальцем на бетонное здание без окон, неожиданно вырвавшееся посреди деревянных домиков у самого въезда в деревню.

– Что это? – поинтересовался Уилл. – Огромная электродуховка?

– Нет, печи для обжига находятся на другом конце деревни. Это общественный холодильник.

– В прежние времена, – пояснил доктор Роберт, – мы теряли половину производимой нами скоропортящейся продукции. Теперь потери практически отсутствуют. Все, что мы выращиваем, мы выращиваем для себя, а не для окружающих нас бактерий.

– Теперь у вас есть чем питаться.

– Да, в достаточном количестве. Мы питаемся лучше, чем любая из стран в Азии, и еще экспортируем часть продукции. Ленин утверждал, будто коммунизм – это социалистический строй плюс электрификация страны. Наше уравнение выглядит несколько иначе. Электричество минус тяжелая индустрия плюс контроль над рождаемостью дают в сумме демократию и изобилие. Электричество плюс тяжелая индустрия минус контроль над рождаемостью – в результате нищета, тоталитаризм и войны.

– Кстати, – спросил Уилл, – кто всем этим владеет? Вы капиталисты или государственные социалисты?

– Ни те, ни другие. Мы, по большей части, кооператоры. Сельское хозяйство на Пале всегда было связано с террасированием и ирригацией. А это требует объединенных усилий и дружеского согласия. Хищническая конкуренция несовместима с условиями выращивания риса в горной стране. Население с легкостью перешло от взаимопомощи в пределах сельской общины к разветвленной сети торговых, закупочных, деловых и финансовых кооперативов.

– Кооперативное финансирование?

Доктор Роберт кивнул.

– У нас вы не найдете ростовщиков-кредиторов, каких повсюду встретишь в Индии. Нет и коммерческих банков на ваш, западный образец. Наша система ссуд и займов ориентирована на кредитные общества наподобие тех, что в прошлом столетии создавал в Германии Вильгельм Райфайзен. Доктор Эндрю посоветовал радже пригласить на Палу одного из учеников Райфайзена, чтобы тот организовал здесь кооперативную банковскую систему. И до сих пор она работает надежно.

– А какие у вас деньги?

Доктор Роберт сунул руку в карман и выгреб оттуда горсть серебряных, золотых и медных монет.

– Даже по самым скромным оценкам Палу можно назвать золотодобывающей страной. Золота мы намываем достаточно, чтобы придать нашим бумажным деньгам прочное обеспечение. Золото входит и в наш экспорт. Мы в состоянии оплатить наличными и дорогие электротранспортные линии, и генераторы на другом конце страны.

– Похоже, вы довольно удачно решаете свои экономические проблемы.

– Решать их не так уж трудно. Начать с того, что мы не позволяем себе рожать детей более, нежели способны прокормить, одеть, снабдить жильем и дать достойное человека образование. Поскольку остров не перенаселен, у нас всего вдоволь. Но, живя в достатке, мы

ухитряемся противостоять искушению, которому сейчас подвергся Запад, – искушению избыточного потребления. Мы не отягощаем свои коронарные сосуды, шесть раз в день поглощая столько жира, сколько можем в себя набить... И мы не поддались внушению, согласно которому два телевизора дают вдвое больше счастья, нежели один. И наконец, мы не тратим четверти национального продукта, готовясь к третьей мировой войне или к ее родичу-сосунку, региональному конфликту номер 2333. Гонка вооружений, мировая задолженность, запланированное устаревание – вот три столпа, на которые опирается процветание Запада. Если бы не война, расточительство и займы, вы бы погибли. И в то время как вы купаетесь в изобилии, весь остальной мир все глубже и глубже погружается в пучину гибели. Невежество, милитаризм, перенаселенность – последняя является серьезнейшей из вышеназванных проблем. Без ее решения нечего и думать об оздоровлении экономики. С резким ростом населения стремительно падает жизненный уровень. – Пальцем доктор Роберт прочертил нисходящую линию. – А с падением жизненного уровня (палец взлетел вверх) налицо недовольства и мятежи; здесь же приход к власти одной партии и террор, национализм и агрессия. Еще десять-пятнадцать лет неограниченного размножения, и весь мир, от Китая до Перу – через Африку и Ближний Восток, будет кишеть Великими Вождями, попирающими свободу и вооруженными до зубов при помощи России или Америки, а то и обеих сразу; размахивая флагами, все они будут истошно вопить о Lebensraum²⁷.

– А что же Пала? – спросил Уилл. – Здесь тоже лет через десять появится Великий Вождь?

– Мы не будем этому способствовать, – ответил доктор Роберт. – У нас всегда делалось все возможное, чтобы Великий Вождь не появился.

Краешком глаза Уилл заметил, как лицо Муругана исказила гримаса презрительного негодования. Антиной, очевидно, воображал себя героем в духе Карлейля. Уилл обернулся к доктору Роберту:

– Скажите мне, как вы этому препятствуете?

– Начать хотя бы с того, что мы не ведем войн и не готовимся к ним. Вот почему мы не нуждаемся ни в призывниках, ни в военной иерархии, ни в унифицированных приказах. Затем, наша экономическая система: она не позволяет, чтобы богатство отдельного гражданина более чем в пять раз превышало средний уровень. В нашей стране нет крупных промышленников или финансистов. Нет у нас также ни политиков, ни чиновников крупного масштаба. Пала представляет собой федерацию самоуправляющихся единиц: географических, профессиональных, экономических, – вот почему у нас такой простор для демократических лидеров скромного калибра, но нет места для диктатора, который возглавил бы централизованное управление. Другой момент: мы не имеем официальной церкви, наша религия обходится без посредников и исключает веру в догмы и те эмоции, которые с этой верой связаны. И потому мы застрахованы как от чумы папизма, так и от возрождения фундаментализма. Наряду с трансцендентальным опытом, мы последовательно культивируем скептицизм. Отучая детей воспринимать слова слишком всерьез, мы учим их анализировать все, что они видят и слышат. Это является составной частью школьной программы. В результате у нас, на Пале, еще не появилось красноречивого подстрекателя толпы наподобие Гитлера или нашего ближайшего соседа полковника Дайпы.

Для Муругана это было уже чересчур.

– Но взгляните, как вдохновляет полковник Дайпа свой народ! – вспыхнул юноша, не в силах долее сдерживать себя. – Какая преданность! Какое самопожертвование! Здесь вы ничего подобного не встретите.

– И слава богу! – искренне заявил доктор Роберт.

– Слава богу! – эхом отозвался Виджайя.

²⁷ жизненное пространство (нем.)

– Но ведь это прекрасные качества! – не уступал Муруган. – Я восхищаюсь ими.

– Я также восхищаюсь ими, – сказал доктор Роберт, – вроде того, как я восхищаюсь тайфуном. К сожалению, это вдохновение, эта преданность и самоотдача несовместимы со свободой, не говоря уж о разуме и человеческом достоинстве. А свобода, разум и достоинство – как раз те ценности, ради которых трудится Пала с самых времен вашего тезки, Муругана-реформатора.

Виджайя вытащил из-под сиденья жестяную коробку и, открыв крышку, раздал всем сэндвичи с сыром и авокадо:

– Надо поесть, прежде чем ехать дальше. – Он завел мотор и, в одной руке держа сэндвич, другой вырулил на дорогу. – Завтра, – пообещал он Уиллу, – я покажу вам деревню, а моя семья за ленчем будет еще более примечательным зрелищем!

Почти у самого въезда в деревню он направил джип в боковую колею; дорога карабкалась вверх, петляя меж террас с рисовыми полями, огородами и фруктовыми садами; на особых плантациях выращивались молодые деревца, которые шли на сырье для бумагоделательной фабрики в Шивапураме.

– Сколько газет издается в Пале? – поинтересовался Уилл и с удивлением узнал, что только одна. – Кто же держит монополию? Правительство? Правящая партия? Или какой-нибудь местный Джо Альдехайд?

– У нас нет монополистов, – заверил его доктор Роберт. – Есть коллегия редакторов, представляющих интересы различных партий и течений. Каждому в газете отведено определенное место. Читатель может сопоставить их аргументы и прийти к собственным выводам. Помню, как я был потрясен, впервые взяв в руки одну из ваших больших газет. Пристрастность в заголовках, односторонность изложения и комментария, лозунги и призывы вместо разумных доводов. Никакого обращения к рассудку, вместо этого – стремление воздействовать на условные рефлексy избирателей, а помимо прочего – криминальная хроника, объявления о разводах, анекдоты, всяческая чепуха – все, чтобы отвлечь внимание, не позволить думать.

Машина одолела подъем, и теперь они находились на гряде меж двух головокружительных спусков; налево внизу простиралось окаймленное деревьями озеро, направо была видна обширная долина, где меж двух деревень, отличаясь неестественно-правильными геометрическими очертаниями, высилось здание огромной фабрики.

– Цемент? – предположил Уилл. Доктор Роберт кивнул.

– Одна из необременительных для нас отраслей промышленности. Мы полностью удовлетворяем свои нужды и производим немного на экспорт.

– А население этих деревень обеспечивает рабочую силу?

– Да, они работают там, когда свободны от труда в поле, в лесу и на лесопильном заводе.

– И такая система временной занятости оправдывает себя?

– Смотря какие задачи поставить перед собой. Максимальной эффективности мы не имеем. Но на Пале максимальная эффективность не является категорическим императивом, как у вас, на Западе. Вы стараетесь получить наибольшее количество продукции за наикратчайший отрезок времени. Мы же в первую очередь думаем о людях и об удовлетворении их нужд. Перемена видов деятельности не ведет к увеличению объема производства. Но многим нравится заниматься то одной, то другой работой, не ограничивая себя в течение жизни каким-то одним видом деятельности. Выбирая между механической эффективностью и человеческим удовлетворением, мы предпочитаем последнее.

– Когда мне было двадцать лет, – вмешался Виджайя, – я четыре месяца проработал на этом предприятии, затем два с половиной месяца на производстве суперфосфатов, а потом полгода провел в джунглях на лесозаготовках.

– Чертовски тяжелый труд!

– Двадцать лет назад, – объявил доктор Роберт, – мне довелось выплавлять медь. Потом я ходил в море на рыболовецком судне. У нас каждый понемногу обучен всем работам. И

потому все мы имеем представление о самых различных предметах и ремеслах, о сообществах людей, об их нравах и способах мышления.

Уилл покачал головой:

– Я бы предпочел узнать обо всем этом из книжки.

– Читая книгу, вы обретаеете книжное знание, но истинное знание от вас ускользает. В глубине души все вы остаетесь платониками, – добавил он. – Вы преклоняетесь перед словом, и отвергаете материю.

– Скажите это священникам, – заметил Уилл. – Они вечно упрекают нас в грубом материализме.

– Да, ваш материализм груб, – согласился доктор Роберт, – потому что неполноценен. Вы предпочитаете абстрактный материализм. А мы материалисты конкретные, наш материализм – это бессловесное созерцание, осязание и обоняние, это материализм напряженных мускулов и испачканных рук. Абстрактный материализм ничем не лучше абстрактного идеализма, поскольку делает почти невозможным сиюминутный духовный опыт. Познание всех видов работ как знакомство с конкретной материальностью является первым, обязательным шагом на пути к конкретной духовности.

– Но даже от наиконкретнейшего материализма не будет проку, – сказал Виджайя, – если вы не осознаете вполне, что делаете и что переживаете. Вы должны в совершенстве понимать дело, за которое взялись, ремесло, которому вас обучают, людей, с которыми работаете.

– Совершенно верно, – подтвердил доктор Роберт. – Мне следует прояснить, что конкретный материализм – это всего лишь сырой материал для человеческой жизни в целом. Только путем осознания, полного и постоянного осознания, мы преобразуем его в конкретную духовность. Осознавайте полностью, что вы делаете, и работа обернется йогой труда; игра превратится в йогу игры, а повседневная жизнь – в йогу будней.

Уилл подумал о Ранге и маленькой сиделке.

– А что вы скажете о любви?

– Сознание преобразует и любовь, – кивнул доктор Роберт. – Занятие любовью становится йогой любви.

Муруган, подражая матери, принял оскорбленный вид.

– Психофизиологические средства достижения трансцендентальной цели, – Виджайя возвысил голос, стараясь перекрыть однообразный скрежет зубчатой передачи, которую он только что переключил, – вот что такое все эти различные йоги. Кроме того, они позволяют нам решить проблему власти. – Виджайя приглушил мотор и заговорил нормальным голосом. – Проблемы власти возникают на каждом шагу: возьмите хоть молодоженов, хоть сиделок, хоть членов правительства. Помимо Великих Вождей существуют тираны более мелкого пошиба, тысячи безмолвных, безвестных гитлеров, деревенских наполеонов, семейных кальвинов и торквемада. Не говоря уж о множестве задира и хулиганов, имевших глупость стать на путь преступления. Как огромную энергию этих людей направить к полезной цели или хотя бы обезвредить ее?

– Хотел бы я это узнать, – сказал Уилл. – С чего вы начали?

– Мы начали со всего сразу, – ответил Виджайя. – Но поскольку начать рассказывать сразу со всего нельзя, начнем с анатомии и физиологии власти. Изложите ваш биохимический подход к проблеме, доктор Роберт.

– Все началось, – сказал доктор Роберт, – около сорока лет назад, когда я учился в Лондоне. По выходным я посещал тюрьмы, если выдавался свободный вечер, читал книги по истории. История и тюрьмы, – повторил он, – как выяснилось, тесно связаны между собой. Перечень преступлений, глупостей и бедствий человечества (так, кажется, говорит Гиббон) – и места, где претерпевают бедствия неудачливые глупцы и преступники. Читая книги и беседуя с заключенными, я стал задавать себе вопросы. Какого рода люди становятся опасными правонарушителями – прославленными правонарушителями, которым посвящены страницы исторических книг, или заурядными обитателями Пентонвилла и «Уормвуд

скрабза»? Каковы они, люди, домогающиеся власти, жаждущие запугивать и повелевать? Кто эти жестокие чудовища, чего они хотят, и почему готовы мучить и убивать без зазрения совести – просто оттого, что им нравится мучить и убивать? Я обсуждал эти вопросы со специалистами – врачами, физиологами, социологами, учителями. Монтегацца и Гальтон вышли из моды, и потому меня заверили, что ответы на свои вопросы я должен искать в области культуры, экономики и семьи. Все сводилось к материнскому влиянию, к отсутствию навыков личной гигиены, к неблагоприятному воздействию среды и к ранним психологическим травмам. Меня это убедило лишь наполовину. Материнское влияние, чистоплотность и благоприятное окружение – все это, разумеется, важно. Но являются ли эти факторы решающими? Посещая тюрьму, я заметил, что существует некий врожденный склад, а вернее, два врожденных психологических склада; причем опасные правонарушители и властолюбивые нарушители спокойствия отнюдь не принадлежат к одному и тому же типу. Большинство заключенных, как я уже тогда начал понимать, можно подразделить на два различных, резко несхожих между собой вида – на мускулистых особей и Питеров Пэнов. Я специализировался на втором типе.

– На мальчиках, которые никогда не становятся взрослыми? – спросил Уилл.

– Никогда – это неверно сказано. В действительной жизни Питер Пэн всегда взрослеет. Но это случается слишком поздно: психически он созревает гораздо медленней, нежели стареет годами.

– А бывают ли девочки – Питеры Пэны?

– Крайне редко. Зато мальчиков что грибов в лесу. На каждые пять-шесть мальчиков приходится один Питер Пэн. А среди трудных детей, которые не умеют читать, не хотят учиться, не желают ни с кем ладить, семь из десяти, что доказывает рентгеновский снимок запястья, являются Питерами Пэнами. Остальные относятся к той или иной разновидности мускулистых особей.

– Не приведете ли вы какой-нибудь исторический пример правонарушителя из Питеров Пэнов? – попросил Уилл.

– За примером далеко ходить не надо. Самый недавний, самый яркий пример такого Питера Пэна – это Адольф Гитлер.

– Гитлер? – с изумлением переспросил Муруган. Очевидно, Гитлер был одним из его кумиров.

– Почитайте биографию фюрера, – предложил доктор Роберт. – Типичный Питер Пэн. В школе – полнейшая безнадежность. Неспособность ни к соперничеству, ни к сотрудничеству. Зависть ко всем нормальным, успевающим детям; завидуя, он ненавидел их и презирал тех, кто слабее его. Наступает время полового созревания. Но Адольф и здесь отстает. Другие мальчики ухаживают за девочками, и девочки не остаются равнодушными. Но Адольф слишком застенчив, слишком неуверен в себе как мужчина. Не умея упорно трудиться, он предается мечтаниям. В воображении своем он видит себя Микеланджело – хотя, к сожалению, не умеет рисовать. Зато он умеет ненавидеть, склонен к низменной хитрости, обладает неутомимыми голосовыми связками и способностью орать без усталости в приступе питеро-пэновской паранойи. Тридцать или сорок миллионов человеческих жизней, и одному небу известно, сколько миллиардов долларов – такова цена, которую человечество заплатило за позднее взросление крошки Адольфа. К счастью, большинство мальчиков, которые развиваются слишком медленно, имеют возможность сделаться всего лишь заурядными правонарушителями. Но даже мелкие преступники, если их заводится много, обходятся обществу слишком дорого. Вот почему мы стараемся пресечь зло в самом зародыше – вернее, имея дело с Питерами Пэнами, мы прилагаем все усилия, чтобы бутоны раскрывались и росли.

– И у вас получается?

Доктор Роберт кивнул.

– Это не так уж трудно. В особенности, если взяться вовремя. Между четырьмя с половиной – пятью годами все наши дети проходят проверку. Анализ крови,

психологические тесты, выявление соматического типа. Потом мы делаем рентгеновский снимок запястья и ЭЭГ. Все смысленные малыши Питеры Пэны выявляются, и с ними немедленно начинают работать. Через год все они становятся совершенно нормальными. Посев потенциальных неудачников и преступников, потенциальных тиранов и садистов, мизантропов и революционеров во имя революции преобразуется в посев потенциально полезных граждан, которые управляются адандена асатена – без принуждения и палки. У вас с преступниками работают священники, социологи и полиция. Непрерывные проповеди и словесная терапия, избытие приговоров к тюремному заключению. Но каковы результаты? Уровень преступности неуклонно возрастает. И неудивительно. Разговоры о соперничестве единоутробных братьев, об аде, о личности Иисуса не заменят биохимии. Год тюрьмы не исцелит Питера Пэна от эндокринного дисбаланса и не поможет избежать его психологических последствий. Все, что нужно, чтобы избавиться от питеро-пэнии – это диагноз на ранней стадии и три розовых капсулы в день до еды. Добавьте сюда приемлемое окружение, и через полтора года вы получите приятное благоразумие с минимумом душевных добродетелей. Не говоря уж о способности к прайнапарамита и каруна, о мудрости и сочувствии: и все это там, где не было и проблеска надежды! А теперь пусть Виджайя расскажет вам о мускулистых особях. Как вы уже, наверное, заметили, он принадлежит именно к таковым. – Наклонившись, доктор Роберт ткнул гиганта в широкую спину. – Настоящий бык! Счастье для нас, бедных козьяков, что он ручной.

Виджайя, сняв руку с руля, ударил себя в грудь и издал яростный рев.

– Не дразните гориллу, – сказал он, и добродушно рассмеялся. – Давайте поговорим о другом великом диктаторе, – обратился он к Уиллу, – об Иосифе Виссарионовиче Сталине. Гитлер – превосходнейший образец Питера Пэна. Сталин представляет собой великолепную «мускулистую особь». Он был рожден экстравертом. Но не тем мягким, обтекаемым говоруном, которые жаждут общения без разбору. Нет, он был экстравертом тяжелым, упорным, обуреваемым жаждой Дела; его не останавливали ни сомнения, ни угрызения совести, ни симпатия, ни жалость. В завещании Ленин советует своим последователям остерегаться Сталина, как человека, любящего власть и склонного злоупотреблять ею. Но совет был дан слишком поздно. Сталин уже успел укрепиться настолько, что его невозможно было вытеснить. Через десять лет он достиг абсолютной власти. Троцкий был обезврежен; все старые друзья устранены. Подобно Богу, восхваляемому ангелами, Сталин пребывал на уютных маленьких небесах, населенных исключительно лъстецами и подпевалами. И постоянно был занят по горло, ликвидируя кулаков, проводя коллективизацию, создавая военную промышленность, перемещая миллионы рабочих рук из села на заводы. Работал он с упорством и действенной четкостью, которой был лишен германский Питер Пэн с его апокалиптическими фантазиями и неустойчивыми настроениями. Сравните их поведение в последние месяцы войны. Холодный расчет против утешительных снов наяву, трезвый взгляд реалиста против ораторских бредней, которыми Гитлер сам себя заговаривал. Два чудовища, сравнившиеся в содеянных преступлениях, но отличные по темпераментам, неосознанным побуждениям и мере успеха. Питеры Пэны великолепно умеют развязать войну или революцию, но чтобы добиться победы, необходимо быть мускулистой особью. А вот и джунгли, – добавил Виджайя другим тоном, махнув рукой в сторону леса, который стеной встал на их пути.

Минута – и они, с залитого солнцем открытого склона, нырнули в извилистый туннель зеленоватых сумерек, который тонул в водопадах тропической листвы. Лианы свисали с изогнутых аркой ветвей; меж огромных стволов росли папоротники, темнолистые рододендроны и густой кустарник, который был Уиллу незнаком. Воздух был удушливо влажен, и от пышной зелени исходил острый горячий запах, мешавшийся с гнилостными испарениями; ибо гниение – тоже жизнь, хотя и другого рода. Издали, приглушенный листвою, доносился звон топоров и мерное взвизгивание пилы. Дорога сделала еще один поворот, и вдруг зеленые сумерки туннеля сменились ослепительным солнечным светом. Машина выехала из леса на просеку. Высокие, широкоплечие лесорубы отделяли сучья от

только что поваленного дерева. В солнечном сиянии сотни голубых и аметистовых бабочек гонялись одна за другой, порхали и парили в бесконечном беспорядочном танце. У костра на противоположном краю просеки старик помешивал содержимое железного котелка. Рядом спокойно пасся ручной олененок – стройноногий, элегантно-пятнистый.

– Старые друзья, – сказал Виджайя, и крикнул что-то по-паланезийски. Лесорубы закричали в ответ и замахали руками. Дорога резко ушла влево, и они опять свернули в круто взбирающийся в гору зеленый туннель.

– Прекрасные образчики мускулистых особей, – заметил Уилл.

– Быть таким – это постоянное искушение, – сказал Виджайя. – И все же работая среди них, я не встретил ни одного задиры, ни одного потенциально опасного любителя власти.

– Иными словами, – презрительно процедил Муруган, – никто здесь не наделен честолюбием.

– Чем это объяснить?

– Что касается Питеров Пэнов, то с ними все очень просто. У них нет возможности для пробуждения вкуса к власти. Мы излечиваем их от тяги к правонарушению прежде, чем она успевает развиться. Но с мускулистыми особями дело обстоит иначе. Они и здесь такие же силачи, такие же неукротимые экстремисты. Почему же они не превращаются в Сталиных, в полковников Дайпа или, по крайней мере, не становятся домашними тиранами? Прежде всего – наши социальные условия предохраняют семьи от домашнего тиранства, а политическая среда исключает появление тиранов на более высоких уровнях. Второе: мы учим этих людей пониманию и сочувствию, учим их наслаждаться обыденными радостями. Таким образом, они получают альтернативу – множество альтернатив – удовольствию властвовать. И наконец, мы настойчиво работаем над их влечением первенствовать и повелевать, которое присуще едва ли не всем вариациям данного типа личности. Мы направляем эту страсть в определенные каналы, отводим ее в сторону, от людей, переключая на иные предметы. Мы ставим перед ними тяжелые, трудно выполнимые задачи, которые дают работу их мускулам и удовлетворяют желание доминировать; но происходит это не за счет других, и приносит не вред, но пользу.

– Те великолепные силачи валят деревья, вместо того чтобы валить людей?

– Именно так. Если не хватает работы в лесу, можно ловить рыбу, добывать уголь или, скажем, обмолачивать рис.

Уилл Фарнеби вдруг рассмеялся.

– Что вас рассмешило?

– Я подумал об отце. Рубка леса – это ему бы не помешало; а какое облегчение для несчастной семьи! К несчастью, он был английский джентльмен. Работа на лесоповале исключалась.

– Неужто он не имел иного приложения для своей физической силы?

Уилл покачал головой.

– Мой отец, помимо того что был джентльменом, почитал себя интеллектуалом. А интеллектуала не интересуют охота, стрельба или игра в гольф; он размышляет – и попивает. Помимо бренди, мой отец находил удовольствие в унижении других, игре в аукционный бридж и политологии. Он считал себя лордом Эктоном двадцатого столетия – последним, одиноким философом либерализма. Слышали бы вы только, как он обличал злоупотребления нынешнего всемогущего Государства! «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Абсолютно». Сентенция сопровождалась стаканом бренди, и отец переходил к следующему удовольствию: унижению супруги и детей.

– Сам Эктон не вел себя так лишь потому, что был умен и добродетелен. В его теориях нет ничего, что удержало бы мускулистую особь от правонарушения или не позволило бы Питеру Пэну топтать тех, кого бы ему хотелось топтать. И в этом была роковая слабость Эктона. Как политический психолог он едва ли не полное ничтожество. Он считал, что проблему власти можно решить за счет благоприятных социальных условий, при поддержке, разумеется, моральных поучений и обличений со стороны религии. Но проблема власти

коренится в анатомии, биохимии и темпераменте. Власть необходимо обуздывать на правовом и политических условиях, это очевидно. Но проблема эта должна решаться и на уровне индивидуальном. На уровне инстинкта и эмоций, на уровне желез и кишок, на уровне мышц и крови. Если бы у меня было время, я бы написал брошюру о взаимосвязи физиологии человека с этикой, религией, политикой и законом.

– Да-да, законом, – подхватил Уилл. – Я как раз собирался расспросить вас о ваших законах. Неужели у вас отсутствует принуждение и наказание? Или вы все еще нуждаетесь в суде и полиции?

– Да, мы все еще нуждаемся в них, – ответил доктор Роберт. – Но не в той мере, в какой нуждаетесь в них вы. Во-первых, благодаря превентивной медицине и превентивному обучению, мы предотвращаем множество преступлений. Во-вторых, те, кто все же имел несчастье стать преступником, входят в ориентированные на борьбу с криминалом Клубы Взаимного Усыновления. Групповая терапия в таком обществе означает ответственность всей группы за правонарушение. В особо трудных случаях групповая терапия дополняется медицинской помощью и курсом мокша-препарата, который проводится под наблюдением человека, наделенного особой проницательностью.

– Какова же роль судей?

– Судьи выслушивают свидетелей, решают, оправдано ли обвинение, и если виновность доказана, посылают правонарушителя в соответствующий КВУ и, когда это необходимо, поручают его специалистам-медикам и микомистикам. Клуб и специалисты представляют судье регулярные отчеты. Если они удовлетворительны, дело закрывается.

– А если неудовлетворительны?

– После длительного курса лечения, – заверил доктор Роберт, – они всегда становятся удовлетворительными.

Спутники помолчали.

– Вы когда-нибудь карабкались по скалам? – неожиданно спросил Виджайя. Уилл рассмеялся.

– Как вы думаете, где я сломал ногу?

– Это был вынужденный подъем. Приходилось ли вам лазать по скалам для удовольствия?

– Да, – сказал Уилл, – достаточно, чтобы убедиться, что я плохой скалолаз.

Виджайя взглянул на Муругана:

– А вам приходилось ходить в горы в Швейцарии?

Юноша покраснел и покачал головой.

– При предрасположенности к туберкулезу, – промямлил он, – это едва ли по плечу.

– Жаль! – воскликнул Виджайя. – Это принесло бы вам немалую пользу.

– У вас здесь много занимаются скалолазанием? – поинтересовался Уилл.

– Этот предмет входит в школьную программу.

– Для всех?

– В малой степени – да. Но интенсивное занятие скалолазанием рекомендуется всем мускулистым особям. А таковыми являются один из двенадцати мальчиков и одна из двадцати девочек. Скоро мы увидим группу молодежи, которая одолевает свой первый подъем.

Зеленый туннель расширился, стало светлей, и неожиданно они из влажного леса выехали на широкую ровную поляну, с трех сторон окруженную красными скалами, которые на высоте двух тысяч футов были увенчаны зигзагообразными гребнями и одинокими пиками. В воздухе чувствовалась свежесть, а в тени набегающих облаков после солнечного зноя казалось даже прохладно. Доктор Роберт, наклонившись вперед, через ветровое стекло указал на несколько белых зданий, стоящих на небольшом холме в центре плато.

– Это высокогорная станция, – сказал доктор Роберт. – Расположена на высоте семи тысяч футов, к ней прилегает более чем пять тысяч акров плодородных, равнинных земель, на которых мы выращиваем почти все, что растет в Южной Европе. Пшеницу и ячмень,

горох, капусту, салат-латук, помидоры (которые не принимаются там, где ночная температура превышает шестьдесят восемь); крыжовник, землянику, грецкие орехи, сливу, персики, абрикосы. И все ценные растения, что растут высоко в горах в здешних широтах – в том числе и грибы, к которым наш юный друг относится столь неодобительно.

– Мы направляемся на станцию? – поинтересовался Уилл.

– Нет, гораздо выше. – Доктор указал на самую отдаленную гряду темно-красных скал, один склон которых расстился вниз, к джунглям, а другой тянулся вверх, к скрытым в облаках вершинам.

– Там находится древний храм Шивы, куда в день весеннего и осеннего равноденствия обычно стекались паломники. Это – одно из моих любимых мест на острове. Когда дети были маленькие, мы с Лакшми почти каждую неделю устраивали там пикники. Как давно это было!

В голосе доктора Роберта звучала грусть. Он вздохнул, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Свернув с дороги, которая вела на высокогорную станцию, они начали новый подъем.

– Последний, самый трудный отрезок пути, – сказал Виджайя, – семь головокружительных поворотов и полмили по душному туннелю.

Виджайя включил мотор на полную мощность, и беседовать стало невозможно. Через десять минут они уже были на месте.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С осторожностью маневрируя поврежденной ногой, Уилл выбрался из машины и осмотрелся. Меж ступенчатыми красными уступами, высящимися на юге, и крутыми спусками по другим направлениям, гребень гряды выравнивался, и в центре узкой длинной террасы стоял храм – красная башня, сложенная из того же камня, что и горы, массивная, четырехгранная, с отвесными стенами. Башня обладала симметрией, в противоположность скалам, но правильность ее была не эвклидовски абстрактной, а прагматически живой, присущей любому живому созданию. Да, живому созданию, ибо все богато украшенные поверхности храма, все его контуры, вырисовывающиеся на фоне неба, естественно прогибались вовнутрь, сужаясь по мере приближения к мраморному кольцу, над которым красный камень вновь разбухал, как семенная коробочка цветка, в купол с гладкими гранями, который увенчивал храм.

– Построен за пятьдесят лет до норманнского завоевания, – заметил доктор Роберт. – Кажется, что не человек его построил, но он словно вырос прямо из скал. Подобно почке агавы, вымахал в двенадцатифутовый стебель и буйно расцвел.

– Смотрите, – Виджайя коснулся руки Уилла, – группа начинающих скалолазов.

Уилл обернулся к горам и увидел юношу в башмаках с шипами и одежде альпиниста, спускающего вниз по расщелине обрыва. Спустившись наполовину, он задержался и, запрокинув голову, издал переливчатую альпийскую руладу. В пятидесяти футах над ним из-за выступа скалы вышел юноша, свесился с края площадки и принялся спускаться по расщелине.

– Тебе бы так хотелось? – спросил Виджайя у Муругана.

Пытаясь изобразить из себя искусственного в жизни зрелого человека, которому скучны детские забавы, Муруган пожал плечами:

– Нисколечко.

Отойдя в сторону, он присел на пострадавшего от непогоды резного льва и, вытащив из кармана американский журнал в кричащей обложке, принялся читать.

– Что за литература? – поинтересовался Виджайя.

– Научная фантастика, – не без вызова ответил Муруган. Доктор Роберт рассмеялся.

– Все, что угодно, только бы убежать от действительности. – Муруган, притворившись, что не слышит, перевернул страницу и продолжал читать.

– Молодец, – сказал Виджайя, наблюдавший за юным альпинистом. – У них на каждом

конце веревки – опытный человек. Самого первого вы не видите, он за скалой, тридцатью-сорока футами выше, в соседней расщелине. Там, наверху, железный шип, к которому привязывают веревку. Вся партия может сорваться – и не упадет.

Упершись ногами в стены узкой расщелины, руководитель выкрикивал советы и слова ободрения. Когда юноша приблизился, он спустился на двадцать футов ниже и снова издал тирольскую трель. Из-за скалы появилась высокая девушка в костюме скалолаза, в башмаках с шипами. Волосы ее были заплетены в косички. Девушка тоже полезла в расщелину.

– Превосходно! – одобрил Виджайя, наблюдая за ней.

Из невысокого строения у подножия утеса, – очевидно, тропической разновидности альпийской хижины, – взглянуть на приезжих вышли несколько юношей и девушек. Они были из первых трех партий альпинистов, которые уже успели выполнить свое задание.

– Лучшая команда получает приз? – полюбопытствовал Уилл.

– Это не соревнование, а скорее испытание, – ответил Виджайя.

– Испытание, – пояснил доктор Роберт, – которое представляет собой первую ступень посвящения, перехода из детства в мир взрослых. Это испытание помогает лучше понять мир, в котором предстоит жить, осознать всегдашнее присутствие смерти, изменчивую сущность бытия. За испытанием последует откровение. Через несколько минут этим мальчикам и девочкам предстоит впервые испытать воздействие мокша-препарата. Они примут его все вместе, а затем состоится религиозная церемония в храме.

– Что-то вроде конфирмации?

– Нет, это больше, чем плетение благочестивых словес. Благодаря мокша-препарату, они на опыте постигнут реальность.

– Реальность? – Уилл покачал головой. – Существует ли она? Желал бы я в это верить.

– А от вас и не требуется верить в реальность, – возразил доктор Роберт. – Реальность – это не предположение, а состояние бытия. Мы не обучаем наших детей символам веры и не стараемся тронуть их души, прибегая к эмоционально нагруженной символике. Когда приближается пора ознакомить их с глубинами религиозного опыта, мы посылаем их карабкаться на скалы, а затем даем четыреста миллиграммов препарата. Непосредственно пережитый образ реальности способствует углубленному пониманию того, что есть что.

– И не забывайте пресловутую проблему власти, – вставил Виджайя. – Скалолазание связано с прикладной этикой; оно помогает предотвратить притеснение ближних.

– Словом, отцу моему следовало стать не только лесорубом, но и альпинистом, – заметил Уилл.

– Можно над этим смеяться, – с улыбкой проговорил Виджайя, – но факты свидетельствуют о том, что рецепт действен. Да-да. Благодаря альпинизму мне удалось подняться над множеством искушений, толкавших меня помыкать ближними; и подниматься было нелегко, – добавил он, – потому как человек я довольно тяжелый, и вниз меня тянуло с большой силой.

– Но здесь может быть один подвох, – возразил Уилл, – карабкаясь вверх, дабы избежать искушений, можно сорваться и... – Вдруг вспомнив о том, что случилось с Дугалдом Макфэйлом, он осекся. Доктор Роберт продолжил за него фразу.

– Сорваться и разбиться, – сказал он тихо. – Дугалд поднимался один, – добавил он, – никто не знает, что произошло. Тело нашли только на следующий день.

Воцарилось долгое молчание.

– И вы до сих пор уверены, что это правильная затея? – спросил Уилл, указывая бамбуковым посохом на крошечные фигурки, старательно карабкающиеся по отвесной скале.

– Да, до сих пор, – ответил доктор Роберт.

– Но бедная Сьюзила...

– Да, бедная Сьюзила, – повторил доктор Роберт, – и бедные дети, бедная Лакшми, бедный я. Но если бы для Дугалда не сделалось привычным рисковать своей жизнью, то всех нас пришлось бы жалеть по другим причинам. Лучше рисковать своей жизнью, чем убивать

других людей или просто делать их несчастными. Мучить их оттого, что вы по природе агрессивны, но слишком предусмотрительны или невежественны, чтобы преодолеть агрессию, взбираясь по отвесной стене над пропастью. А теперь, – продолжил он другим тоном, – мне хотелось бы познакомить вас с окружающим ландшафтом.

– А я пойду побеседую с теми юношами и девушками, – сказал Виджайя и направился к подножию красных утесов.

Оставив Муругана с его научной фантастикой, Уилл проследовал за доктором Робертом через поддерживаемые колоннами ворота по широкой каменной площадке к храму. В дальнем конце площадки находился скромный павильон с куполом. Войдя туда, они приблизились к большому незастекленному окну и выглянули наружу. К горизонту, подобно сплошной стене из нефрита или лазурита, поднималось море. На тысячу футов вниз тянулась зеленая полоса джунглей. За джунглями громоздились уступы и ступенчато поднимались вверх бесчисленные поля, складываясь в огромную лестницу – дело рук человеческих, – к подножию которой примыкала обширная равнина: на дальнем ее конце, меж огородами и окаймленным пальмами прибоем, простирался город. Отсюда, с высоты, он был виден во всей своей блистающей полноте и походил на крошечное изображение города в средневековом часослове.

– Это Шивапурам, – сказал доктор Роберт. – А вон те здания на холме за рекой – большой буддистский храм. Построен несколько ранее, чем Боробудур; скульптура прекрасна, как и все, созданное в Дальней Индии.

Они помолчали.

– В этом летнем домике, – продолжил свой рассказ доктор Роберт, – мы обычно устраивали пикники в дождливую погоду. Никогда не забуду, как Дугалд (ему было тогда около десяти) залез на подоконник и застыл на одной ножке, как танцующий Шива. Бедная Лакшми, она чуть с ума не сошла. Но Дугалд был прирожденным верхолазом. Отчего происшествие выглядит еще более загадочным.

Доктор покачал головой; они вновь немного помолчали.

– Последний раз мы приезжали, – сказал он, – восемь или девять месяцев назад. Дугалд был еще жив, и Лакшми не так слаба, чтобы провести денек с внуками. Дугалд вновь проделал этот номер с Шивой, для Тома Кришны и Мэри Сароджини. Стоя на одной ноге, он так быстро вращал руками, что казалось – их у него четыре.

Доктор Роберт замолчал. Подняв с пола чешуйку извести, он выбросил ее в окно:

– Вниз, вниз, вниз... Пустота. *Pascal avait son gouffre*²⁸. Странно, что символ смерти в то же самое время может быть символом рассвета, символом жизни. – Неожиданно лицо его просветлело. – Видите вон того сокола?

– Сокола?

Доктор Роберт указал туда, где, на полпути меж птичьим гнездом и темной крышей леса, на недвижных крыльях лениво описывала круг кажущаяся крохотной коричневая птица, славящаяся своим быстрым полетом и разбойничьим нравом.

– Я вспомнил одно стихотворение, которое старый раджа написал об этом пейзаже.

Доктор Роберт, помолчав, стал читать:

Высоко-высоко,
Где Шива танцует над миром,
Что здесь делаю я?
Ты спросишь – но кто даст ответ?
Только ястреб, парящий внизу,
И стрижей черные стрелы:
Их крик

²⁸ У Паскаля была своя бездна (франц.)

Серебряной проволокой
Небо пронзает.
Как далеко от раскаленных равнин,
Ты скажешь с укором, как далеко от людей!
И все же как близко! Ибо меж небом в облаках
И морем, неожиданно зримое,
Я читаю сияние их тайны – и своей.

– Тайна эта, насколько я понимаю, вот эта пустота.

– Или то, что она символизирует – Природу Будды за нашим вечным умиранием. Что напоминает мне... – Он поглядел на часы.

– Каково наше следующее мероприятие? – полюбопытствовал Уилл, выходя за доктором Робертом на солнцепек.

– Служба в храме, – ответил доктор Роберт. – Юные скалолазы предложат свои свершения Шиве – или, иными словами, своей Тожественности, мысленно увиденной как Бог. После чего они приступят ко второй ступени посвящения – к переживанию освобождения от себя.

– Посредством мокша-препарата?

– Руководители дадут им его, прежде чем они покинут домик Общества Альпинистов. Потом все отправятся в храм. Средство начнет действовать во время службы. Кстати, – добавил он, – служба идет на санскрите, вы не поймете ни слова. Речь Виджайи будет на английском – он будет говорить как президент Общества альпинистов. Я тоже буду говорить по-английски. И конечно же, молодежь.

В храме было прохладно и темно, как в пещере, слабый свет едва сочился из двух маленьких зарешеченных окон, и семь ламп, висящих над головой статуи, казались ореолом, составленным из желтых мерцающих звезд. Это была медная статуя Шивы в рост ребенка, стоявшая на алтаре. Божество, осененное огненным кругом, застыло в экстатическом танце: четыре руки были воздеты, скрученные в косицы волосы дико разметались, правая нога попирала фигурку злобного карлика, левая была грациозно приподнята. Юноши и девушки уже успели переодеться: в сандалиях, шортах или ярких юбках, обнаженные по пояс, они сидели, скрестив ноги, на полу, с ними рядом сидели шестеро инструкторов. На верхней ступени алтаря престарелый священник, гладко выбритый, в желтом одеянии, распевал что-то звучное и непонятное. Усадив Уилла в сторонке, доктор Роберт на цыпочках подошел к Виджайе и Муругану и пристроился рядом с ними на корточках.

Дивное рокотание санскрита сменилось высоким гнусавым пением, за которым последовала литания – паства отвечала на возгласы священника.

В медном кадиле закурился фимиам. Старый священник воздел руки, призывая к молчанию, нить серого дыма поднялась, не колеблясь, пред божеством, а затем, смешавшись со сквозняком от окна, распустилась в невидимое облако, заполнившее сумрачное пространство таинственным благоуханием потустороннего мира. Уилл открыл глаза и увидел, что Муруган, единственный из всех, не затронут настроением покоя. На лице юноши было написано явное неодобрение. Сам он никогда не карабкался по утесам, и потому находил это занятие очень глупым. Он упорно отказывался принимать мокша-препарат и всех, кто это делал, считал безумцами. Мать его верила в Высших Учителей и постоянно имела беседы с Кут Гуми – неудивительно, что Шива казался юноше вульгарным идиолом. «Какая красноречивая пантомима!» – думал Уилл, наблюдая за Муруганом. Но, увы, на ужимки юнца никто не обращал внимания.

– Шиванаяма, – произнес священник, нарушив долгое молчание, – Шиванаяма. – Он поманил рукой своих слушателей.

Поднявшись с места, высокая девушка, та самая, которую Уилл видел на скале, вошла по ступеням алтаря. Привстав на цыпочки – ее кожа при свете ламп отливала медью, – девушка надела гирлянду желтых цветов на одну из левых рук Шивы. Вложив ладонь в руку

бога, она взглянула в его безмятежно улыбающееся лицо и постепенно крепнущим голосом заговорила:

О творец и разрушитель, держащий и уничтожающий все;
Ты танцуешь в сиянии солнца посреди птиц и смеющихся
детей
И глухой ночью посреди мертвых на сожженной земле;
О Шива! Черный, ужасный Бхайрава,
Тожество и Призрак, Вместилище всех вещей,
Правящий жизнью, мой дар тебе – эти цветы,
Правящий смертью, мой дар тебе – сердце,
Мое сердце – выжженное, как земля.
Невежество и самость преданы огню.
Танцуй, Бхайрава, посреди пепла.
Танцуй, Правитель Шива, посреди цветов,
Я буду танцевать с тобой.

Подобно сотням поколений танцующих в экстазе паломников, девушка воздела руки и затем спустилась по ступеням вниз, в сумрак. Кто-то выкрикнул:

– Шиванаяма!

Муруган презрительно поморщился, тогда как юные голоса подхватили:

– Шиванаяма! Шиванаяма!

Священник вновь принялся распевать гимны. Серая птичка с алой головкой впорхнула в одно из зарешеченных оконце, отчаянно заметалась среди ламп над алтарем, с возмущением и ужасом заверещала и выпорхнула наружу. Пение, дойдя до высшего напряжения, перешло в шепот, в мольбу о мире: «Шанти-Шанти-Шанти». Старый священник махнул рукой. На этот раз из тьмы вышел юноша – темнокожий, мускулистый. Склонившись, он надел гирлянду на шею Парвати и, перевив цепь белых орхидей, вторую петлю накинул на голову Шиве.

– Двое в одном, – сказал он.

– Двое в одном, – откликнулся хор молодых голосов. Муруган яростно затряс головой.

– О, отошедшие к иному берегу, – продолжал темнокожий юноша, – приставшие к иной земле, ты, просветленный, и ты, просветленная; о, взаимные освободители, сочувствие в объятиях бесконечного сочувствия.

– Шиванаяма.

Юноша поднялся на ноги.

– Опасность, – заговорил он. – Вы добровольно, осознанно пошли ей навстречу. Вы разделили ее с другом, со многими друзьями. Разделили сознательно, с той степенью осознанности, когда опасность становится йогой. Двое друзей, связанные веревкой, на отвесной скале. Иногда трое или четверо. Каждый осознает свои напряженные мускулы, свою сноровку, свой страх и силу духа, превосходящую страх. И каждый, конечно же, думает в это время о других, заботится о них, делает все ради их безопасности. Жизнь в наивысшей точке физического и умственного напряжения, жизнь насыщенная, осознанная как ценность из-за непосредственной угрозы смерти. Но после йоги опасности наступает йога достижения вершины, йога отдыха, йога расслабления, йога полной, всецелой восприимчивости, йога понимания данного как данного, без проверки моралью, без примеси заимствованных идей или произвольных фантазий. Вы сидите здесь, расслабившись, бездумно глядя на облака и солнце, открыто вглядываясь вдаль, способные принять бесформенное, не облеченное в оболочку слов молчание мыслей, которое неколебимый, вечный покой вершины позволяет вам провидеть в мерцающем потоке обыденного сознания. А после наступит йога спуска, следующая ступень йоги опасности: время нового напряжения и осознания жизни во всей ее блистательной полноте, тогда как сами вы находитесь на

волосок от гибели.

И вот, достигнув дна пропасти, освободившись от веревки, вы шагаете по скалистой тропе к виднеющимся впереди деревьям. Внезапно вы оказываетесь в лесу, и здесь вас ждет иная йога – йога джунглей; жизнь бьется рядом с вами, жизнь джунглей со всем ее великолепием и гниющей, кишасей мерзостью грязью, со всей ее мелодраматической двойственностью: орхидеи и сороконожки, нектарицы и пиявки – одни питаются нектаром, другие – кровью. Жизнь, восстающая из хаоса и безобразия, творящая чудеса рождения и возрастания, но творящая их, как представляется, безо всякой цели, кроме саморазрушения. Красота и ужас, – повторил он, – красота и ужас. И вдруг, вернувшись из одной из экспедиций в горы, вы понимаете, в чем состоит примирение. И не просто примирение. Слияние, единение. В йоге джунглей красота заставляет вас осознать ужас. В йоге опасности жизнь примиряет с вечным присутствием смерти. Равная Субботе йога вершины помогает отождествить вашу самость с пустотой.

Наступило молчание. Муруган нарочито зевал. Старый священник зажег новый жгут ладана и, бормоча, оведал им танцующего бога и также космических любовников – Шиву и его супругу.

– Дышите глубоко, – сказал Виджайя, – и, пока вы дышите, сосредоточьте свое внимание на благоухании. Пусть все ваше внимание будет поглощено им; осознайте, что это такое – явление, невыразимое словами, неподвластное объяснению разумом. Осознайте его в чистом виде. Примите это как тайну. Благоухание, женщины и молитва – вот три вещи, которые Магомет любил превыше всего. Необъяснимо ощущение аромата, прикосновения к коже, необъяснимо переживание любви, и – тайна тайн – Единое во многом, Пустота во всем, Тожество, присутствующее в каждом явлении, в каждой точке и каждом миге. Вдыхайте, – повторил он, – вдыхайте, – и, садясь, прошептал напоследок, – вдыхайте.

– Шиванаяма, – повторил в экстазе священник. Доктор Роберт поднялся и, приблизившись к алтарю, подзвал Уилла:

– Идите, сядьте рядом со мной, – прошептал он. – Я хочу, чтобы вы видели их лица.

– А я не помешаю?

Доктор Роберт покачал головой. Они поднялись на несколько ступеней и уселись бок о бок в полутени, меж тьмой и светом ламп. Спокойным, размеренным голосом доктор Роберт принялся рассказывать о Шиве-Натарайя, боге Танца.

– Взгляните на этот образ, – сказал он, – взгляните на него новыми глазами, которые даст вам мокша-препарат. Взгляните, как бог дышит и пульсирует, как становится все великолепней. Он танцует сквозь время и вне времени, танцует вечно и во всякий миг. Танцует, танцует сразу во всех мирах. Посмотрите на него.

Уилл, взглянув на запрокинутые лица слушателей, увидел, как они, одно за другим, озаряются восторгом, как на них отражается узнавание, понимание – признаки набожного удивления, граничащего с экстазом или ужасом.

– Вглядитесь пристально, – настаивал доктор Роберт, – еще пристальней. – Выдержав паузу, он продолжал: – Шива танцует сразу во всех мирах. Первый мир – это мир материальный. Поглядите на светящийся круг, символ огня, в котором танцует бог. Круг этот означает природу, мир массы и энергии. В нем Шива-Натарайя танцует танец бесконечного возникновения и уничтожения. Это его лила, его космическая игра. Он, как дитя, играет ради самой игры. Но это дитя представляет собой Мировой Порядок. Его игрушки – галактика, площадка для игры – бесконечное пространство, и каждый палец находится от другого на расстоянии в тысячи миллионов световых лет. Взгляните на фигурку на алтаре. Она создана человеком, и представляет собой всего лишь слиток меди в четыре фута высотой. Но Шива-Натарайя заполняет вселенную, он сам – эта вселенная. Закройте глаза и представьте его, возвышающегося в ночи, простирающего руки на безграничные расстояния, с волосами, разлетающимися в бесконечных пределах. Натарайя играет и среди звезд, и в атомах. Но он играет также, – добавил доктор Роберт, – в каждом живом существе, в каждой чувствующей твари, в каждом ребенке, каждом мужчине, каждой

женщине. Игра ради игры. Он играет в нашем сознании, в нашей способности страдать. Нас поражает эта игра без цели, нам бы хотелось, чтобы Бог никогда не разрушал свои творенья. Или пусть справедливый Бог уничтожит боль и смерть, накажет злых и наградит добрых вечным счастьем. Добрые страдают, невинные мучаются. Так пусть же Бог будет сочувствующим, пусть он утешит нас. Но Натараия только танцует. Это бесстрастная игра в жизнь и смерть, в добро и зло. В верхней правой руке он держит барабан, которым вызывает бытие из небытия. Там-гара-рам – сигналил зорю творенья, отбивает космическую побудку. Но взгляните на верхнюю руку. В ней он держит пламя, которым уничтожит сотворенное им. Он танцует первый танец – о, какое счастье! Он танцует другой – о, какая мука! Какой страх, какое одиночество! Прыжки, скачки, подлеты. Скачок – из полноты жизни в ничто смерти, и обратно, из ничто смерти – в полноту жизни. Натараия весь в игре, он играет ради игры, бесцельно и вечно. Он танцует ради того, чтобы танцевать, танец – его маха-сукха, его беспредельное, вечное блаженство. Вечное Блаженство, – повторил доктор Роберт, и тут же переспросил: – Вечное Блаженство? – Он покачал головой. – Для нас это не блаженство, но только колебание меж счастьем и ужасом и возмущением при мысли, что наши страдания – такое же па танца Натараии, как наши удовольствия, как жизнь или смерть. Давайте над этим немного поразмыслим.

Несколько секунд прошло в глубоком молчании. Вдруг одна из девушек разрыдалась. Виджайя подошел к ней и, опустившись рядом на колени, положил ей руку на плечо. Рыдания затихли.

– Страдания, болезни, – вновь заговорил доктор Роберт, – старость, одряхление, смерть. «Я покажу вам страдания». Но Будда показал нам не только страдания. Он показал нам конец страданий.

– Шиванаяма! – победно воскликнул старый священник.

– Откройте глаза и взгляните на Натараию, стоящего на алтаре. Смотрите внимательно. В верхней правой руке он держит барабан, который призывает мир из небытия к жизни, а в левой – разрушающий огонь. Жизнь и смерть, порядок и разрушение при полном бесстрастии. Но взгляните на другую пару рук Шивы. Нижняя правая рука поднята вверх, ладонь повернута наружу. Что означает этот жест? Бог словно бы говорит: «Не бойтесь, все в порядке!» Но как нам перестать бояться? Как поверить, что зло и страдания хороши, когда столь очевидно, что они плохи? У Натараии есть ответ. Посмотрите на его нижнюю левую руку. Он указывает ею вниз, себе под ноги. Но что у него под ногами? Приглядитесь внимательней, и вы увидите, что правой ногой он попирает ужасное существо – демона Муйалаку. Злобный могущественный карлик Муйалака воплощает собой невежество, жадное, собственническое «я». Наступите на него и растопчите! Как раз это и делает Натараия, топчет маленького уродца правой ногой. Но не туда указывает его палец. Палец его указывает на левую ногу, которая приподнята в танце. Почему же Натараия указывает на нее? Почему? Она приподнята над землей, свободна от силы притяжения – это символ выхода, освобождения, мокша. Натараия танцует во всех мирах сразу – в физическом и химическом, в мире обыденного человеческого существования и в мире Единого, в мире Разума, мире Чистого Света. А теперь, – сказал доктор Роберт, немного помолчав, – я хочу, чтобы вы взглянули на другую статую, изображающую Шиву вместе с богиней. Взгляните на них, озаренных светом в этой нише. А затем закройте глаза и представьте их вновь – сияющих, живых, великолепных. Как прекрасно! И какой глубокий смысл кроется в их нежности! Что за мудрость – превыше всякой словесной мудрости – в этом опыте духовного слияния и искупления! Вечность сочетается со временем. Единый вступает в брак со множеством, относительное становится абсолютным, сочетаясь с Единым. Нирвана совпадает с самсарой, природа Будды воплощается во времени, материи и чувстве.

– Шиванаяма. – Престарелый священник возжег новый жгут ладана и, затянув протяжную мелодию, запел что-то на санскрите. На юных лицах Уилл читал внимание, покой и едва ощутимую экстатическую улыбку, которая предшествует прозрению, познанию истины и красоты. Лишь Муруган сидел, вяло прислонившись к колонне, и воротил в

сторону свой изысканный греческий нос.

– Освобождение, – вновь заговорил доктор Роберт, – конец страданиям, конец вашему невежественному представлению о себе и открытию истинного «я». Сейчас, благодаря мокша-препарату, вы узнаете, каково оно на самом деле, каковы вы в действительности. Какое блаженство! Но, как и все прочее, это состояние преходяще. И когда оно закончится, как вы распорядитесь своим опытом?

А опыт этот будет повторяться, поскольку вам предстоит принимать препарат в дальнейшем. Будете ли вы наслаждаться им, как наслаждаетесь кукольным представлением, чтобы потом опять возвратиться к делам? Превратитесь ли вы снова в глупых правонарушителей, какими вы себя воображаете? Или, увидев свое истинное «я», вы посвятите жизнь тому, чтобы пребывать в этом качестве? Все, что мы, старики, можем вам дать, что может дать вам Пала с ее социальным строем, – это материальные средства и возможности их использовать. А все, что может вам дать мокша-препарат, – это несколько мгновений просветления, красоты и освобождения. Вам решать, как вы обойдетесь с этим опытом, как используете предоставленные вам возможности. Но это дело будущего. Здесь и теперь последуйте совету минаха: «Внимание!» Будьте внимательны к себе, и вы обретете себя, сразу или постепенно, и познаете смысл этих символов на алтаре.

– Шиванаяма! – Старый священник кадил благовониями. У подножия алтаря юноши и девушки сидели неподвижно, как статуи. Уилл обернулся и увидел невысокого толстяка, пробиравшегося меж застывшей в созерцании молодежи. Толстяк поднялся по ступенькам и, склонившись, шепнул что-то на ухо доктору Роберту.

– Приказ монархини, – прошептал он с улыбкой и пожал плечами. – Явился дежурный из хижины скалолазов. Рани позвонила и потребовала немедленного свидания с Муруганом. Дело не терпит отлагательства.

Беззвучно смеясь, доктор Роберт встал и помог Уиллу подняться с места.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уилл Фарнеби сам приготовил себе завтрак; когда доктор вернулся из госпиталя, он допивал вторую чашку паланезийского чая и ел подсушенный хлеб с фруктовым мармеладом.

– Ночью не было слишком сильных болей, – ответил доктор Роберт на его расспросы. – Четыре или пять часов ей удалось поспать, а утром она выпила немного бульона.

Врачи надеются еще на один день отсрочки; и поскольку больная устала от его постоянного присутствия, а жизнь продолжается и от дел не уйдешь, он решил съездить на высокогорную станцию и поработать там в фармакологической лаборатории.

– Вы будете работать над мокша-препаратом?

Доктор Роберт покачал головой:

– Работа с мокша-препаратом – это из области технологии, а не науки. На станции всегда занимаются чем-то новым.

Он рассказал Уиллу, что из семян растения, привезенного в прошлом году из Мехико и растущего теперь в ботаническом саду, удалось выделить соединения индола. Как показывают опыты над животными, это вещество оказывает сильное воздействие на ретикулярную систему...

Оставшись один, Уилл сел под висящим вентилятором и продолжил чтение трактата.

«Мы не можем убедить себя избавиться от глупости; так давайте же станем благоразумными глупцами.

На Пале, после трех поколений Реформы, нет стад, подобных овечьему, и нет духовных Добрых Пастырей, чтобы стричь шерсть и кастрировать; здесь нет пастухов и нет скотопромышленников, монархов или диктаторов, капиталистов или революционеров, чтобы выжигать клеймо, запирать, закалывать. Существуют только свободные объединения мужчин и женщин на пути к полной гуманности.

Мелодии или камушки, процессы или субстанции? «Мелодии», – отвечает буддизм и современная наука. «Камушки», – отвечают классические философы Запада. Буддизм и современная наука представляют мир как музыку. Образ, который навеивает чтение западных философов, – это византийская мозаика, жесткая, симметричная, составленная из тысяч квадратных камешков, прикрепленных к стене базилики, не имеющей окон.

Грация танцовщицы и, сорок лет спустя, ее артрит – все это зависит от скелета. Благодаря прочности костей девушка свободно делает пируэты, и из-за тех же костей старуха прикована к инвалидной коляске. Аналогично поддержка культуры – первое условие для развития оригинальных индивидуальностей; но та же культура является их основным врагом.

Условия, без которых мы не можем стать полноценной человеческой личностью, зачастую препятствуют этому становлению.

Сто лет изучения мокша-препарата показали, что даже вполне заурядные люди способны иметь видения и переживать опыт полного освобождения. В этом отношении мужчины и женщины, обладающие высокой культурой и создающие культурные ценности, не имеют никаких преимуществ перед малообразованными.

Зачастую возвышенные переживания уживаются с недостаточно яркой выразительностью. Творения художников на Пале не превосходят творения мастеров в других странах. Будучи произведены людьми счастливыми и довольными, они менее динамичны, менее эстетически совершенны, нежели те, полные трагического чувства, что создавались жертвами отчаяния, невежества, тирании, войн, а также предрассудков, из которых произрастает чувство вины, – в подобных случаях художники ищут в творчестве выход своим чувствам. Превосходство паланезийцев основывается не на искусстве выражения, но на более возвышенном и ценном умении, которое, однако, доступно каждому – это искусство адекватно переживаемому опыту, искусство более глубокого познания мира, в котором мы обитаем как человеческие существа. О культуре Палы не следует судить, как мы судим (из-за недостатка иных критериев) о других культурах. О ней нельзя судить, опираясь на достижения нескольких наиболее талантливых художников или философов. Нет, о ней следует судить по тому, как все члены общества, и незаурядные, и заурядные, способны переживать – и переживают – каждый случайный миг, каждое пересечение времени с вечностью».

Зазвонил телефон. Не снимать трубку – и пусть себе звонит, подумал Уилл; или все же сказать, что доктор Роберт весь день будет отсутствовать? Уилл решил снять трубку.

– Бунгало доктора Макфэйла, – сказал он, подобно секретарю, – доктора весь день не будет дома.

– Tant mieux²⁹, – послышался низкий царственный голос. – Как вы поживаете, mon cher³⁰ Фарнеби?

Захваченный врасплох Уилл пробормотал, что весьма благодарен ее высочеству за ее любезное беспокойство.

– Вчера вам показывали, – сказала рани, – одно из их так называемых посвящений.

Уилл, уже успевший оправиться от удивления, отвечал уклончиво:

– Это было весьма примечательно.

– Примечательно, – заговорила рани, как обычно напирая на начальные буквы слов и как бы делая их заглавными, – как Нечестивая Карикатура на Истинное Посвящение. Им никогда не понять простейшего различия между Естественным Порядком и Сверхъестественным.

– Да-да, – пробормотал Уилл.

²⁹ Тем лучше (франц.)

³⁰ мой дорогой (франц.)

– Что вы сказали? – спросил голос на другом конце провода.
– Совершенно верно, – повторил Уилл погромче.
– Я рада, что вы со мной согласны, – продолжала рани. – Но я звоню вам не за тем, чтобы обсуждать отличие Естественного от Сверхъестественного – важно то, что эта разница существует. Нет, я звоню по более срочному делу.

– Насчет нефти?

– Насчет нефти, – подтвердила она. – Я получила очень тревожное сообщение от моего Личного Представителя в Рендане. Это особа весьма Высокого Положения, к тому же всегда Прекрасно Осведомленная.

Уилл подивился, кто из прилизанных, увешанных медалями гостей, приглашенных на коктейль в Иностранное Представительство, сумел так ловко обойти мошенников, его собратьев – и в том числе самого Уилла.

– Не далее как позавчера, – продолжала рани, – в Рендан-Лобо прибыли представители трех главных нефтяных компаний, английских и американских. Мой представитель сообщил мне, что они уже обработали несколько ключевых фигур в администрации, от которых зависит, кому будет принадлежать концессия на Пале.

Уилл неодобрительно пощелкал языком.

Рани намекнула, что называлась, а возможно, и была предложена, довольно значительная и соблазнительная сумма.

– Отвратительно, – прокомментировал Уилл.

– Да, отвратительно, – согласилась рани. И потому Необходимо Что-то Предпринять, и Предпринять Немедленно. От Баху она узнала, что Уилл уже написал лорду Альдехайду, и через несколько дней они, несомненно, получают ответ. Но несколько дней – это слишком долго. Время дорого – и не потому, что компании затеяли свои происки, но также (рани загадочно понизила голос) по Другим Причинам. «Сейчас, немедля! – взывал Внутренний Голос. – Откладывать нельзя!» Лорду Альдехайду можно телеграфировать (верный Баху, добавила она вскользь, предложил переслать шифрованное сообщение в Ренданское Представительство в Лондоне), с настоятельной просьбой к Джону Альдехайду наделить своего специального корреспондента полномочиями (финансовыми, разумеется), что требуются в данной ситуации, и тогда победа их Общего Дела была бы обеспечена.

– Итак, с вашего позволения, – заключила рани, – я скажу Баху, чтобы он немедленно послал телеграмму, которую подпишем мы оба: вы и я. Надеюсь, *mon cher*, вас это устраивает?

Уилла это не устраивало, но поскольку письмо было написано, у него не было повода для отказа, и оставалось только после долгой паузы, в течение которой он тщетно пытался подыскать нужные слова, воскликнуть с показным воодушевлением:

– Ну конечно! Ответ, наверное, придет завтра, – добавил он.

– Ответ придет сегодня вечером, – заверила его рани.

– Разве это возможно?

– С Божьей помощью (*con espressione*³¹) все возможно.

– Да-да, конечно же. Но...

– Я руководствуюсь тем, что говорит мне мой Внутренний Голос. А он говорит: «Сегодня». И: «Лорд Альдехайд даст мистеру Фарнеби *carte blanche*³²». «*Carte blanche*», – повторила она смакуя. – «И Фарнеби добьется успеха».

– Поразительно, – с сомнением сказал Уилл.

– Вы непременно добьетесь успеха.

– Непременно?

³¹ с выражением (итал.)

³² полная свобода действий (франц.)

– Непременно, – настаивала она.
– Почему?
– Потому что Бог повелел мне выступить в Крестовый Поход Духа.
– Я не улавливаю связи.
– Наверное, мне не следует говорить вам, – продолжала рани, – но я все же скажу. – Помолчав, она спросила: – Почему бы и нет? В случае успеха Нашего Дела лорд Альдехайд пообещал мне всячески поддержать Крестовый Поход. А поскольку Бог желает, чтобы Поход преуспел, Наше Дело непременно завершится успехом.

– Quod erat demonstrandum³³, – едва не воскликнул Уилл, но сдержался. Это было бы невежливо. В конце концов, тут не до шуток.

– Так я позвоню Баху, – сказала рани, – и *bientot*³⁴, дорогой Фарнеби.

Она опустила трубку. Пожав плечами, Уилл вернулся к чтению. Что ему еще оставалось делать?

«Дуализм... Без него невозможна хорошая литература, но с ним не может быть хорошей жизни.

“Я” утверждает отдельно существующую субстанцию, “есмь” отрицает, что все находится в связи и изменении. “Я есмь”. Два небольших слова, но какая чудовищная ложь!

Религиозно настроенный дуалист вызывает доморощенных духов из бездонной глубины, не-дуалист наполняет бездонной глубиной свою душу – или, точнее, открывает ее там, где она уже есть».

Послышался шум приближающейся машины; потом мотор выключили, и вновь стало тихо. Хлопнули ворота, шаги зашуршали по гравию, кто-то поднялся по ступеням на веранду.

– Вы готовы? – раздался низкий голос Виджайи. Уилл отложил книгу, достал бамбуковый посох и, поднявшись, направился к дверям.

– Готов и грызу удила, – сказал он, выходя на веранду.

– Тогда поехали. – Виджайя взял его под руку. – Осторожней на ступеньках, – напомнил он.

Возле джипа стояла полная, круглолицая женщина лет за сорок, в розовом платье, коралловом ожерелье и серьгах.

– Лила Рао, – представил ее Виджайя, – наш библиотекарь, казначей, секретарь. На ней все держится – без нее мы бы просто пропали.

Пожимая ей руку, Уилл заметил, что она напоминает ему, несмотря на смуглость кожи, одну из деликатных, но неутомимо деятельных англичанок, которые, вырастив детей, с увлечением занимаются хозяйственной и культурной деятельностью. Дамы эти не слишком умны, но как самоотверженны, как добродетельны – и как скучны!

– Я слышала о вас, – сказала миссис Рао, когда джип продребезжал мимо пруда с лотосами, – от моих молодых друзей, Радхи и Ранги.

– Надеюсь, – ответил Уилл, – они относятся ко мне так же сердечно, как и я к ним.

Лицо миссис Рао засияло удовольствием.

– Я рада, что они вам понравились!

– Ранга необыкновенно смысленный парень, – вставил Виджайя.

И так искусно балансирует меж внутренним и внешним миром, продолжала миссис Рао. Его преследует искушение – и довольно сильное! – уйти в нирвану, подобно архату, или замкнуться в прекрасном, опрятном рае научной абстракции. Но, помимо Ранги, борющегося с искушениями, Ранги архата-ученого, существует и другой Ранга – способный к сопереживанию, готовый открыться – если вы сумеете найти подход – навстречу

³³ Что и требовалось доказать (лат.)

³⁴ Пока! (франц.)

конкретной, реальной жизни, готовый выслушать, посочувствовать, помочь. Какое счастье для него и всех нас, что он нашел такую девушку, как маленькая Радха – умную и бесхитростную, веселую и нежную, и так щедро наделенную способностью любить и быть счастливой! Радха и Ранга, заключила миссис Рао, были ее любимыми учениками.

В какой-нибудь буддистской воскресной школе, снисходительно подумал Уилл. Но, к его изумлению, оказалось, что самоотверженная благотворительница вот уже шесть лет преподает йогу любви в свободное от работы в библиотеке время. Дает уроки, от которых уклонился Муруган и которые рани, с ее кровосмесительным собственничеством, находила столь возмутительными. Он уже открыл было рот, чтобы расспросить ее. Но рефлексы Уилла формировались в более северных широтах самоотверженными благотворительницами несколько иного склада. Поэтому слова застыли у него на губах. А потом уже было поздно спрашивать. Миссис Рао заговорила об ином своем призвании.

– Если бы вы знали, – воскликнула она, – сколько хлопот с книгами при здешнем климате! Бумага гниет, клей становится жидким, переплеты рассыпаются, а насекомые! Как они прожорливы! Литература и тропики поистине несовместимы.

– Если верить вашему старому радже, – возразил Уилл, – литература несовместима с человеческой прямоотой, с философской истиной, с душевным здоровьем и хорошей социальной системой, несовместима со всем, помимо дуализма, одержимости преступлением, навязчивых желаний и необоснованного чувства вины. Но не беспокойтесь, – он свирепо оскалился, – полковник Дайпа окажет вам необходимую услугу. Когда Пала будет захвачена и начнутся войны, когда здесь станут добывать нефть и развивать тяжелую промышленность, наступит золотой век для литературы и теологии.

– Мне бы хотелось посмеяться над вашими словами, – сказал Виджайя, – но боюсь, вы правы. Меня не оставляет предчувствие, что мои дети увидят, как сбывается ваше пророчество.

Оставив джип меж повозкой, запряженной волами, и новехоньким японским грузовиком, они вошли в деревню. Узкая улочка, пролегая меж крытыми соломой хижинами, расположенными в тени пальм, папайи и хлебных деревьев, вела к торговой площади. Уилл замедлил шаг и, опираясь на бамбуковый посох, огляделся вокруг. На одном краю площади стояло оштукатуренное розовое здание в стиле очаровательного восточного рококо – очевидно, общественного предназначения. На противоположной стороне площади высился скромный храм из красного камня с башней посередине, на которой, ярус за ярусом, множество статуй изображали весь путь Будды, от избалованного ребенка до Татхагаты. Посреди площади росла огромная, раскидистая смоковница. В тени ее извилистых ветвей, протянувшихся почти над всею торговой площадью, стояли лотки купцов и рыночных торговков. Наискось пробиваясь меж толстыми сучьями, солнечные лучи, подобно зондам, выхватывали под зеленым шатром то ряды больших черно-желтых кувшинов, то серебряный браслет, то расписную деревянную игрушку, то рулон ситца; повсюду громоздились груды фруктов, пестрели девичьи корсажи, сверкали в улыбке их зубы и глаза, алым золотом отливала кожа.

– Все выглядят такими здоровыми, – заметил Уилл, пока они шли меж торговых рядов под огромным деревом.

– Они так выглядят, потому что и в самом деле здоровы, – отозвалась миссис Рао.

– И счастливы, – добавил Уилл, вспоминая лица, которые он видел на Калькутте, в Маниле, в Рендан-Лобо или, ежедневно, на Флит-стрит и Стрэнде. – Даже женщины, – сказал Уилл, окидывая взглядом лица, – даже женщины выглядят счастливыми.

– У них не по десять детей, – пояснила миссис Рао.

– Там, откуда я приехал, тоже не по десять детей в семье, и однако... «На всех я лицах нахожу печать бессилья и тоски».³⁵ Он задержался на мгновение, чтобы понаблюдать, как

³⁵ Уильям Блейк, «Лондон» (пер. С. Маршака)

престарелая торговка взвешивает несколько ломтей хлебного дерева для юной матери с малышом, сидящим в сумке за спиной. – Здесь все лучатся счастьем, – заключил Уилл.

– Спасибо мэйтхуне, – торжествующе добавила миссис Рао, – спасибо йоге любви. – На лице ее читался набожный жар и профессиональная гордость.

Они вышли из тени индийской смоковницы, пересекли полосу солнечного зноя и, поднявшись по выщербленной лестнице, вступили в сумрак храма. Огромный золотой Бодисатва выступал из тьмы. Пахло фимиамом и увядшими лепестками цветов; откуда-то из-за статуи доносился тихий голос: кто-то невидимый бормотал бесконечную литанию. В боковую дверь бесшумно скользнула босая девочка. Не обращая внимания на взрослых, она с ловкостью кошки взобралась на алтарь и положила ветку белой орхидеи на ладонь статуи. Глядя в огромное золотое лицо, девочка прошептала несколько слов, потом закрыла глаза, вновь что-то прошептала, наконец, слезла вниз и, напевая что-то, скрылась за той же дверью.

– Очаровательно, – сказал Уилл, наблюдая за ней. – Милее быть не может. Но как сама она представляет себе, что делает? Что за религию может исповедовать такой ребенок?

– Она исповедует, – пояснил Виджайя, – местную разновидность Махаяна-буддизма, возможно, с некоторой примесью шиваизма.

– Ваши высоколбые способствуют распространению таких верований?

– Здесь никто ничему не способствует, но и не запрещает. Мы просто принимаем все как есть. Принимаем, как того паучка, плетущего паутину на карнизе. Для паука, в силу его природы, плетение паутины неизбежно. А для людей неизбежно создание религий. Пауки не могут не плести тенета, а люди не могут не творить символы. На то и дан человеку мозг, чтобы отливать хаотический опыт в поддающиеся управлению знаки. Порой эти символы почти соответствуют сосредоточенной вонне реальности, находящейся за пределами нашего опыта; я имею в виду научное знание и здравый смысл. Порой, наоборот, символы почти не связаны с реальностью – в случае паранойи или бредового состояния. Но чаще всего в символах смешана реальность и фантазия; в этом случае мы получаем религию. И хорошие, и плохие религии – все они основаны на смеси истины и вымысла. Например, что касается кальвинизма, в котором был воспитан доктор Эндрю, – там мы имеем крупицу реализма и ворох дурных фантазий. Порою смесь более доброкачественна. Пятьдесят на пятьдесят, шестьдесят на сорок, или даже семьдесят частей истины – на тридцать фантазии. Наша старая добрая религия содержит на удивление ничтожную примесь яда.

Уилл кивнул.

– Предлагать белые орхидеи воплощению сочувствия и просветления – это выглядит довольно безвредно. А после увиденного мною вчера я готов замолвить слово даже за космический танец и божественное совокупление.

– Вспомните, – сказал Виджайя, – что все это не является принудительным. Каждый имеет возможность продвинуться дальше. Вы спрашиваете, как девочка понимает то, что она делает. Я скажу вам. Она, конечно, думает, что беседует с личностью – с огромным богом, который останется доволен ее орхидеями и даст девочке то, что она хочет. Но она уже достаточно взрослая, и ей уже наверняка говорили, что символизирует статуя Аминатавы и какой опыт привел к появлению этих символов. И поэтому она не может не понимать, что Аминатава – это не личность. Она также знает – ей это объяснили, – что просьбы к богу сбываются оттого, что в нашем, очень странном, психофизическом мире, мысли имеют тенденцию воплощаться, если вы достаточно хорошо на них сконцентрируетесь. И она также знает, что храм этот не является обителью Будды, как ей это нравится представлять. Ей известно, что это всего лишь производное ее подсознания – уютная темная норка, где ящерицы бегают по потолку, а во всех щелях сидят тараканы.

Но в сердцевине омерзительной тьмы можно найти Просветление. И следующим шагом этой девочки будет урок о себе, который она неосознанно затвердит: ведь ей сказали, что, если она не внушит себе обратного, она поймет – ее маленькая душа является также Душой с заглавной буквы.

– И как скоро она усвоит этот урок? Когда она перестанет внушать себе

противоположное?

– Возможно, никогда. Многие к этому так и не приходят. Но, с другой стороны, многим удается это постичь.

Он взял Уилла за руку и провел его вглубь храма, во мрак за статуей Просветленного. Пение сделалось более отчетливым; там, едва различимый во тьме, сидел молящийся – дряхлый старик, обнаженный по пояс; он сидел неподвижно, подобный золотой статуе Амитабхи, только губы его шевелились.

– Что он поет? – любопытствовал Уилл.

– Что-то на санскрите. Семь непонятных слов, снова и снова.

– К чему это упорное бормотанье! Пустая трата времени.

– Не такая уж и пустая, – возразила миссис Рао. – Это приносит известную пользу.

– И не потому, – добавил Виджайя, – что слова значат что-то сами по себе, а просто потому, что вы их повторяете. Пусть это будет «тра-ля-ля», «ом», «кирие элейсон» или «ла илла, илла». Когда вы повторяете «тра-ля-ля» или имя бога, вы всецело поглощены собой. Беда в том, что повторение одного и того же слова может довести вас до состояния полного идиотизма так же, как и до состояния чистейшего осознания.

– Следовательно, вы бы не порекомендовали такой путь той девочке с орхидеями?

– Разве только ей очень захочется. Но пока она подобного желания не испытывает. Я хорошо ее знаю: она дружит с моими детьми.

– Тогда что бы вы ей посоветовали?

– Через годик-другой наряду с другими вещами я бы посоветовал ей то, что мы сейчас увидим.

– Нам предстоит посетить еще одно место?

– Да, комнату медитации.

Уилл проследовал за ним под арку и далее по короткому коридору. Раздвинув тяжелые занавеси, они вошли в просторную комнату с выбеленными стенами и высоким окном слева, которое смотрело в небольшой сад, где росли банановые и хлебные деревья. В комнате не было мебели; на полу были разбросаны несколько квадратных подушек. На стене напротив окна висела большая картина, писанная маслом. Уилл приблизился к ней, чтобы получше рассмотреть.

– Вот это да! Кто художник?

– Гобинд Сингх.

– Что за Гобинд Сингх?

– Лучший пейзажист Палы за всю ее историю. Он умер в сорок восьмом.

– Почему мы о нем ничего не знаем?

– Потому что мы слишком любим его картины, чтобы продавать их.

– Что ж, вы от этого выигрываете, но мы теряем.

Он взгляделся в картину.

– Приходилось ли ему бывать в Китае?

– Нет, но он учился вместе с кантонским художником, который жил на Пале. И конечно же, он хорошо знаком с репродукциями ландшафтов Суня.

– Сунь предпочитал писать маслом и интересовался кьяроскуро.

– Да, после того как побывал в Париже. Это было в 1910 году. Он был знаком с Вийаром.

Уилл кивнул.

– Об этом можно догадаться по плотности фактуры.

Некоторое время он молча рассматривал картину.

– Почему вы повесили ее в комнате для медитации? – спросил он.

– А как вы думаете, почему? – парировал Виджайя.

– Это то, что вы называете производным подсознания?

– Мы так называем храм. Но здесь – нечто большее. Это – подлинное проявление Души с заглавной буквы в индивидуальном разуме по отношению к пейзажу, холсту и практике

живописи. Кстати, здесь изображена лежащая к западу долина. Из этой точки видно, как основные линии исчезают за грядой.

– Что за облака! – воскликнул Уилл. – А какое освещение!

– Такое освещение бывает за час перед сумерками, – пояснил Виджайя. – Только что прошел дождь, и снова показалось солнце, яркое, как никогда. Яркое сверхъестественной яркостью света, косо скользящего под облачным покровом, – последняя, обреченная, предсумеречная яркость, что вырисовывает каждую поверхность, которой коснется, и углубляет тени.

«Углубляет тени», – повторил про себя Уилл, вглядываясь в картину.

Тень от огромного высокого облака, покрывающая всю гору, сгущалась едва ли не до черноты; поодаль падали тени от маленьких облачков. И между тьмой и тьмой ярко сиял молодой рис, алела пышущая жаром распаханная земля, светился раскаленный добела известняк, и роскошно чередовались темные пятна и изумрудный блеск вечнозеленой листвы. Посреди долины стояли крытые соломой хижины, отдаленные и крохотные, но как отчетливо они были видны, как чисто вырисовывались их линии, полные глубокого значения! Да, значения! Но каково это значение – вот вопрос, на который нет ответа. Но Уилл все же задал этот вопрос.

– Каково это значение? – повторил Виджайя. – Они значат только то, что они есть. То же можно сказать о горах, об облаках, о свете и тьме. Вот почему эта картина – истинно религиозное изображение. Псевдорелигиозные изображения всегда отсылают к чему-то еще, что стоит за вещами, являющимися лишь олицетворением некоей сути, – к некоей метафизической чепухе, к нелепой догме какой-нибудь местной теологии. Истинно религиозный образ всегда значим. Вот почему мы помещаем картины такого рода в комнате для медитации.

– И всегда пейзажи?

– Да, почти всегда. Пейзажи способны напомнить человеку, кто он на самом деле.

– Лучше, чем сцены из жизни Спасителя?

Виджайя кивнул.

– В этом разница меж объективным и субъективным. Изображение Христа или Будды – это отражение впечатлений бихевиориста, истолкованное теологом. Но на пейзаж, подобный этому, вы не станете смотреть глазами Дж. Б. Уотсона и не подойдете к нему с мерками Фомы Аквинского. Вы не просто захвачены сиюминутным переживанием; вас побуждают к акту самопознания.

– Самопознания?

– Да, самопознания, – настаивал Виджайя. – Перед вами не просто изображение соседней долины, но ваша собственная душа и души всех, если брать их существование вне личности. Таинство тьмы; но тьма изобилует жизнью. Откровение света – сияния полно не только пространство меж облаками, не только деревья и трава, сверкают также и хрупкие маленькие хижины. Мы всячески стараемся опровергнуть этот факт, но факт не перестанет быть фактом: человек так же божествен по своей натуре, как и природа, и столь же безграничен, как Пустота. Но это находится в опасной близости от теологии, а никто еще не спасся при помощи доктрины. Держитесь за реальность, держитесь за конкретные факты.

Он указал пальцем на картину.

– Факт – это то, что деревня освещена наполовину, а другая половина таится в тени. Эти горы цвета индиго – это факт, и те, имеющие туманные очертания – тоже. В небе – голубые и бледно-зеленые озера, а залитая солнцем земля – цвета густой охры. Трава, островок бамбука на склоне – это все реальность, реальность – и отдаленные вершины, и крошечные хижины в долине. Отдаленность, – добавил Виджайя, – они подчеркивают отдаленность, – и это одна из причин, которые делают картину истинным религиозным изображением.

– Потому что отдаленность придает очарование пейзажу?

– Нет; она обеспечивает ощущение реальности. Отдаленность напоминает нам, что для

мироздания люди – это далеко не все, и даже для самих людей. Она напоминает нам, что внутри нас – столь же огромные пространства, как и вовне. Опыт расстояния, внутреннего и внешнего, во времени и в пространстве – это первостепенный глубинный религиозный опыт. «О смерти, что в жизни кроется, и дни, которых боле нет!» О места, бесконечное количество мест, которые не здесь! Минувшие радости, минувшие горести и вздохи – как это все живо в нашей памяти, хотя давно миновало, миновало без надежды на возвращение. А деревня внизу, в долине – как ее отчетливо видно даже в тени, ее существование так реально и несомненно, но при этом как она недостижима, как одинока! Подобные картины доказывают, что человек способен воспринять жизнь в смерти и зияющее ничто, окружающее каждую вещь. Я считаю, – заметил Виджайя, – что худшая черта вашего абстрактного искусства – это его методичная двухмерность, его отказ учесть всеохватный опыт отдаленности. Как цветовой объект, картина абстракциониста может выглядеть привлекательно. Она также может играть роль знаменитых чернильных пятен Роршаха. Каждый найдет там отражение своих страхов, вожеланий, антипатий и фантазий. Но увидим ли мы там нечто более, чем человеческое, или – следовало бы сказать – иное, чем человеческое, реальность, которую мы открываем в себе, когда созерцаем неизмеримые просторы природы или одновременно внутренние и внешние просторы ландшафта, который сейчас перед вами? В вашей абстрактной живописи я не нахожу фактов, которые открываются мне здесь, и сомневаюсь, что кто-то способен их там найти. Вот почему ваша абстрактная бессодержательная живопись в основе своей безрелигиозна и, добавлю от себя, даже лучшие ее образцы невыносимо скучны и донельзя тривиальны.

– Вы часто сюда приходите? – спросил Уилл, помолчав.

– Как только чувствую желание помедитировать вместе с кем-то, а не наедине.

– И часто это случается?

– Примерно раз в неделю. Кто-то приходит сюда чаще, кто-то реже, а кто-то и совсем не приходит. Все зависит от темперамента. Взять хоть нашу Сьюзилу – она испытывает потребность в одиночестве, и потому почти сюда не заглядывает. А вот Шанта, моя жена, бывает здесь чуть ли не каждый день.

– И я тоже, – сказала миссис Рао. – Но может ли быть иначе? – Она засмеялась. – Толстые любят побыть в компании, даже когда медитируют.

– И вы медитируете над этой картиной?

– Не над ней, но отталкиваясь от нее, – надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Или параллельно с ней. Мы смотрим на нее, и она напоминает нам, кто мы, и кем мы не являемся, и о том, что мешает нам быть собой.

– Есть какая-то связь меж тем, о чем вы говорите, и тем, что я видел в храме Шивы?

– Конечно, – ответила она, – мокша-препарат приводит вас туда же, куда и медитация.

– Зачем же тогда медитировать?

– Вы бы еще спросили – зачем надо обедать?

– Но мокша-препарат – разве это не обед?

– Это праздничный пир, – выразительно сказала она, – и именно поэтому без медитаций не обойтись. Ведь нельзя же устраивать пиры каждый день. Они слишком роскошны и длятся слишком долго. К тому же их приготовляет повар без вашего участия. Но обед на каждый день вам приходится готовить самому. Мокша-препарат – это редкое, изысканное удовольствие.

– Прибегая к теологическим терминам, – сказал Виджайя, – мокша-препарат дает вам даровую благодать – предмистические видения или полнокровный мистический опыт. А медитация – это то, как мы употребляем эту даровую благодать.

– Как это делается?

– Приучаем свой разум к такому состоянию, когда блистательные экстатические видения становятся постоянными и привычными. Стараемся достичь той черты, за которой подсознание уже не может толкнуть нас к отвратительным, бессмысленным, отупляющим поступкам, к которым мы порой так склонны.

– То есть медитация помогает стать умней?

– Не в смысле научных познаний или способности мыслить логически – мы становимся умней на глубинном уровне конкретного опыта и личных взаимоотношений.

– Да, мы становимся умней на этом уровне, даже если остаемся довольно глупыми в верхних слоях сознания. – Миссис Рао хлопнула себя по макушке. – Я, например, слишком тупа, чтобы разбираться в тех вещах, которыми занимаются доктор Роберт и Виджайя, – генетика, биохимия, философия и все такое прочее. Но я и не художник, не поэт, не актриса. Ни ума, ни таланта. Отчего же я не впадаю в глубокое уныние, не чувствую себя обделенной? Только благодаря мокша-препарату и медитации. Да, я не умна и не талантлива. Но когда дело касается жизни, когда необходимо понять человека и помочь ему, я чувствую себя более понятливой и умелой. А что касается даровой благодати, – она сделала паузу, – как это называет Виджайя, то даже величайший гений не получает того, что дается мне. Правда, Виджайя?

– Истинная правда.

– Итак, мистер Фарнеби, – миссис Рао вновь обратилась к Уиллу, – Пала – самое подходящее место для глупцов. Величайшее счастье для многих и многих – а нас, тупиц, везде предостаточно. Мы признаем превосходство таких людей, как доктор Роберт, Виджайя и мой дорогой Ранга, мы понимаем, сколь важен выдающийся интеллект. Но мы понимаем, что и скромный интеллект иметь тоже неплохо. Мы не завидуем им, потому что нам дано не меньше, чем им. А иногда даже больше.

– Да, – согласился Виджайя, – а иногда и больше. Потому что люди, наделенные талантом манипулировать символами, подчинены своему таланту, а постоянная манипуляция символами является помехой к восприятию даровой благодати.

– И потому, – сказала миссис Рао, – вам нечего за нас беспокоиться. – Она взглянула на часы. – Боже, я опоздаю на обед к доктору Диллипу, если не потороплюсь.

Она стремительно направилась к двери.

– Время, время, – поддразнил Уилл. – Даже здесь, в комнате для медитации, где о нем следует забыть. Время обеда вторгается даже в вечность. – Он засмеялся: – Никогда не говори «да» в ответ. Природа вещей – это неизменное «нет».

Миссис Рао на секунду остановилась и обернулась.

– Но иногда, – сказала она с улыбкой, – вечность чудесным образом вторгается во время, даже за обедом.

Она помахала рукой и исчезла.

– Что лучше, – спросил Уилл Виджайю, когда они вышли из темного храма в ослепительное полуденное сияние, – что лучше: родиться глупцом в умном обществе или родиться умным в обществе глупцов?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

– Вот мы и дома, – объявил Виджайя, когда они дошли до конца переулочка, ведущего от рынка вниз по склону. Он открыл калитку и пригласил гостя войти в маленький садик, в дальнем конце которого на низких сваях стояла соломенная хижина.

Из-за дома выскочила дворняжка и приветствовала их бурным лаем, прыгая и виляя хвостом. Зеленый попугай с белыми щеками и блестящим черным клювом выпорхнул невесело откуда и с пронзительным криком, хлопая крыльями, сел на плечо Виджайи.

– Вас любят попугаи, – улыбнулся Уилл, – а малышку Мэри Сароджини – минахи. Похоже, обитатели острова накоротке с местной фауной.

Виджайя кивнул.

– Пала, наверное, единственная страна, где теология зверей и птиц не признает дьявола. Повсюду на Земле для них Сатана – это Homo sapiens.

Поднявшись по ступеням на крыльцо, они вошли через просторную входную дверь на веранду, а с веранды – в комнату, служившую гостиной. На низком стуле у окна сидела

молодая женщина в голубом; у груди она держала младенца. Она подняла к ним лицо, которое, плавно сужаясь от широкого лба к крохотному острому подбородку, напоминало по форме сердечко, и приветливо улыбнулась.

– Я привел Уилла Фарнеби, – сказал Виджайя, нагнувшись поцеловать жену. Шанта протянула гостю руку.

– Надеюсь, мистер Фарнеби не будет возражать против грубой природы, – проговорила она. Словно желая подкрепить ее слова, младенец выпустил изо рта коричневый сосок и срыгнул. Белый пузырь вырос у него на губах, раздулся и лопнул. Малыш срыгнул еще раз, а затем вновь принялся сосать.

– Раме уже восемь месяцев, – добавила мать, – но он все еще не научился вести себя за столом.

– Чудный малыш, – вежливо заметил Уилл. Дети его не интересовали, и он втайне радовался, когда все попытки Молли завести младенца заканчивались выкидышами. – На кого он похож – на вас или на Виджайю?

Шанта рассмеялась, и Виджайя громко вторил ей, октавой ниже.

– Уж на Виджайю он никак не похож, – ответила она.

– Почему?

– По той простой причине, – вмешался Виджайя, – что я не несу за него генетической ответственности.

– Иными словами, это не сын Виджайи.

Уилл переводил взгляд с одного смеющегося лица на другое и наконец пожал плечами:

– Ничего не понимаю.

– Четыре года назад, – пояснила Шанта, – мы произвели на свет близнецов, которые как две капли воды похожи на Виджайю. Но на этот раз мы подумали, что неплохо было бы внести какое-то разнообразие. И мы решили обогатить семью, заведя ребенка с совершенно иной психикой и темпераментом. Вы когда-либо слышали о Гобинде Сингхе?

– Виджайя познакомил меня с его живописью в комнате для медитации.

– Именно этого человека мы и выбрали в отцы Раме.

– Но, насколько я понимаю, он уже умер.

Шанта кивнула.

– Но душа его жива.

– Что вы имеете в виду?

– ДЗ и ИО.

– ДЗ и ИО?

– Длительное Замораживание и Искусственное Оплодотворение.

– А, понятно.

– На самом деле, – сказал Виджайя, – ИО было открыто на Пале двадцатью годами раньше, чем у вас. Но мы не могли применить его, пока не научились использовать электричество и надежные холодильники. За последние двадцать лет мы овладели и этим. С тех пор мы широко употребляем ИО.

– Видите, – вмешалась Шанта, – мой сын может стать художником, когда вырастет, – если, конечно, он унаследовал этот талант. Если же нет, все равно, он будет гораздо более жизнедеятельным, чем его братья и родители. Что будет очень интересно и поучительно для всех нас.

– Многие ли родители так поступают? – поинтересовался Уилл.

– Да, и их становится все больше и больше. Скажу вам – практически все пары, которые решаются завести третьего ребенка, прибегают к ИО. Взять хоть мою семью. В семье моего отца было несколько диабетиков, и потому мои родители решили, что обоим детям лучше завести, прибегнув к ИО. Мой брат происходит от трех поколений танцоров, а я генетически дочь двоюродного брата доктора Роберта, Мэлколма Чакравати Макфэйла, который был личным секретарем старого раджи.

– И автором, – добавил Виджайя, – лучшего исторического труда о Пале. Чакравати

Макфэйл был одним из самых способных людей в своем поколении.

Уилл взглянул на Шанту, а затем вновь на Виджайю.

– И его способности унаследованы? – спросил он.

– Да, настолько, – сказал Виджайя, – что мне стоило большого труда утвердить свое мужское превосходство. У Шанты, конечно, больше мозгов, чем у меня, но, к счастью, она не может соперничать со мной по части мускулов.

– Мускулов, – с ехидцей повторила Шанта, – мускулов... Ну как тут не вспомнить историю Самсона и Далилы?

– Кстати, – продолжал Виджайя, – у Шанты тридцать два сводных брата и двадцать девять сводных сестер. И более чем треть отличается незаурядными способностями.

– Именно так вы улучшаете расу.

– Да, улучшаем. Дайте нам еще сотню лет, и наш коэффициент умственного развития поднимется до ста пятнадцати.

– Тогда как наш на данной точке развития вот-вот упадет до восьмидесяти пяти. Чем больше лекарств – тем больше врожденных дефектов, сохраняемых и продолжаемых. И тем легче прийти к власти будущему диктатору. – При мысли об этой вселенской шуточке Уилл рассмеялся. Немного помолчав, он спросил: – А что вы скажете об этических и религиозных аспектах применения ИО?

– Поначалу было много противников. Но теперь, когда преимущества ИО всем сделались очевидны, большинство пар понимают, что лучше попытаться завести ребенка, обладающего более высокими качествами, чем рабски воспроизводить все выверты и дефекты, которыми, возможно, наделена семья отца. И теологам нашлась работа. ИО излагается ими в понятиях перевоплощения и теории кармы. Набожные отцы испытывают счастье при мысли, что детей жены и их потомков ожидает лучший удел.

– Лучший удел?

– Потому что они вынашивают зародыш улучшенной породы. У нас имеется центральный банк высших пород. Разнообразнейший набор физических конституций и темпераментов. У вас не существует возможности улучшить семейную конституцию, а у нас она есть. К тому же у нас имеются превосходные генеалогические и антропометрические описи, восходящие к годам прошлого века. Итак, мы не продвигаемся ощупью в потемках. Например, нам известно, что бабушка по материнской линии Гобинда Сингха обладала даром медиума и дожила до девяноста шести лет.

– Возможно, в нашей семье будет жить столетний оракул, – сказала Шанта. Малыш снова срыгнул. – Оракул прорицает, – засмеялась она, – и, как всегда, очень загадочно. Если ты хочешь, чтобы ленч был готов вовремя, – напомнила она Виджайе, – пойди и позаботься об этом. Рама намерен задержать меня еще минут на десять.

Виджайя встал и, одной рукой обняв жену за плечи, другой ласково погладил ребенка по спинке.

Шанта наклонилась и, коснувшись щекой пушистой макушки ребенка, прошептала:

– Это папа. Папа хороший, хороший...

Виджайя, легонько похлопав малыша по коричневой спинке, выпрямился.

– Вы удивляетесь, – обратился он к Уиллу, – как нам удастся сохранять дружественные отношения с местной фауной. Я покажу вам, в чем тут секрет.

Он поднял руку:

– Полли. Полли.

Птица осторожно переместилась с плеча на вытянутый указательный палец.

– Полли – хорошая птица. Полли – очень хорошая птица. – Виджайя поднес птицу поближе к малышу, чтобы тот чувствовал прикосновение гладких перышек. – Полли – хорошая птица, – повторил он, – хорошая птица.

Попугай глухо закудахтал, а потом нагнул голову и слегка ушипнул ребенка за ушко.

– Такая хорошая птица, – прошептала Шанта, – такая добрая.

– Доктор Эндрю позаимствовал эту идею, когда работал натуралистом на

«Мелампусе», у одного из племен Северной Гвинеи. Люди культуры неолита, подобно христианам и буддистам, верили в любовь. Но, в отличие от нас, сумели претворить свою веру в жизнь. Путь этот – одно из счастливейших открытий. Поглаживайте ребенка, когда вы его кормите: это доставит ему двойное удовольствие. Потом, пока он сосет и его ласкают, познакомьте его с животным или человеком, к которому вам бы хотелось расположить его. Пусть и они прикоснутся к ребенку, пусть он почувствует их физическое тепло. В это же время повторяйте: «добрый», «хороший». Поначалу дитя поймет только интонацию вашего голоса. Позднее, научившись говорить, он усвоит значение слова. Пища плюс ласка плюс тепло плюс слово «хороший» равняется любви. А любовь – это блаженство, это довольство.

– Чистейший Павлов.

– Павлов – во имя целей, дружбы, доверия, сочувствия. А у вас Павлов используется для промывки мозгов, для распространения водки, сигарет и патриотизма. Павлов на потребу диктаторам, генералам и магнатам.

Рыжая дворняжка, желая получить свою долю ласки, пыталась лизнуть все, что могла достать: руку Шанты, Виджайи, лапку попугая, спинку ребенка. Шанта подтащила собаку поближе и потерла младенца о его мягкую шерсть.

– А это собака, – проговорила она, – хорошая собака. Собака Тоби, хорошая собака Тоби...

– Можно и мне присоединиться? – со смехом спросил Уилл.

– Я хотела предложить, – ответила Шанта, – но боялась задеть ваше достоинство.

– Станьте на мое место, – сказал Виджайя. – А я пойду похлопочу о ленче.

Все еще держа попугая, он отправился на кухню. Уилл поднялся со стула и, наклонившись вперед, мягко потрепал крохотное плечико ребенка.

– А это дядя, – прошептала Шанта, – хороший дядя, сыночек. Добрый.

– Хотелось бы мне, чтобы это было правдой! – печально усмехнулся Уилл.

– Я уверена, что это правда. Хороший дядя, – повторила Шанта, вновь склонившись над ребенком, – добрый.

Уилл смотрел на ее блаженное, тихо улыбающееся лицо, чувствовал гладкость и тепло младенческой кожи. Ему тоже могли быть ведомы это понимание и доброта – если бы только его жизнь не сложилась так отвратительно. И потому никогда не считай ответом «да», даже если это так очевидно, как теперь. Он взглянул на все иным взглядом – и увидел карикатуру на изображение запрестольного образа Мемлинга. «Мадонна с младенцем, собакой, Павловым и случайным знакомым». И вдруг он понял, почему мистер Баху ненавидит этих людей. И почему он так желает – хотя и прикрывается, как и полагается, именем Бога, – уничтожить их.

– Добрый, – повторяла Шанта ребенку, – хороший, добрый.

Слишком уж они хорошие – в этом их вина. Это непозволительно. И все же как это прекрасно! И как бы ему хотелось быть одним из них! Чистейшая сентиментальность, сказал он себе.

– Хороший, добрый, – повторил он вслух. – А что будет, когда дитя вырастет и узнает, что на свете много дурного, а люди в большинстве своем – злые, злые, злые?

– Добро пробуждает добро, – ответила Шанта.

– Да, если человек – добр. Но если он жаден и властолюбив, или разочарован и полон горечи? Дружественное расположение будет воспринято им как слабость, как приглашение к безнаказанному попирачеству и мести.

– Необходимо рискнуть, ведь кто-то должен положить начало. К счастью, никто из нас не бессмертен. Люди, которых жизнь озлобила или разочаровала, рано или поздно умирают. А возродившись, они могут благодаря новому окружению, начать сначала. Так случилось у нас, и так будет с вами.

– Да, такое может произойти, – согласился Уилл, – но при наличии водородных бомб, национализма, катастрофического роста населения вряд ли произойдет.

– Можно ли говорить наверняка, не попытавшись даже попробовать?

– Кто станет пробовать, пока мир таков, каков он теперь? А он будет таким, пока мы не попробуем изменить его к лучшему на ваш лад. Это возвращает меня к моему первоначальному вопросу. Что происходит, когда добрые, хорошие дети вдруг понимают, что даже на Пале есть много дурного?

– Мы стараемся сделать им прививку против подобных потрясений.

– Как? Причиняя им неприятности, пока они еще не выросли?

– Нет. Но заставляя увидеть реальность, давайте скажем так. Мы учим их любви и доверию, но изображаем для них мир таким, каков он есть, во всех аспектах. И потом, мы воспитываем в них чувство ответственности. Они должны понимать, что Пала – не Эдем и не Страна изобилия. Да, это довольно приятное место. Но чтобы оно сохранялось таковым, каждый должен работать и прилично себя вести. В конце концов, жизнь есть жизнь. И так повсюду. Даже здесь.

– А как насчет таких ее сторон, как змеи, от укуса которых сворачивается кровь? Я встретил их на полпути от пропасти. Вы тоже скажете: хорошие, хорошие. Однако они продолжают кусаться.

– Да, укусить они могут. Но часто ли они прибегают к своему уменью?

– Почему бы нет?

– Взгляните-ка вон туда, – предложила Шанта. Уилл обернулся и увидел, что в стене позади него находится ниша. В нише каменный Будда, в половину человеческого роста, сидит на витом цилиндрическом пьедестале, осененный плоским листом, переходящим за ним в широкий столб.

– Это уменьшенная копия, – продолжала она, – статуи Будды возле комплекса станции; вы видели эту скульптуру у пруда с лотосами.

– Великолепная скульптура, – отозвался Уилл. – И в улыбке сквозит намек на то, каким должно быть Блаженное Видение. Но при чем тут змеи?

– Взгляните пристальней.

Уилл всмотрелся еще раз.

– Не вижу ничего примечательного.

– Вглядитесь получше.

Напрягая глаза, Уилл с удивлением заметил нечто диковинное. То, что он принимал за причудливый орнамент на цилиндрическом пьедестале, оказалось огромной, свившейся в кольца змеей. А навес над сидящим Буддой оказался расправленным капюшоном огромной кобры с плоской головкой посередине.

– О Господи! – выдохнул он. – А я и не заметил. Надо же быть таким ненаблюдательным!

– Вы впервые встречаетесь с Буддой в таком окружении?

– Да, впервые. Наверное, существует какая-то легенда?

Шанта кивнула.

– Одна из моих любимых. Вы, конечно, слышали о дереве Бодхи?

– Да, конечно.

– Так вот, это не единственное дерево, под которым Гаутама достигал просветления. После дерева Бодхи он сидел семь дней под индийской смоковницей, которую еще зовут деревом козопасов. А потом он сидел под деревом Мучилинде.

– Кто был этот Мучилинде?

– Мучилинде был королем змей и богом, и потому ему было ведомо обо всем происходящем. Когда Будда уселся под деревом, король змей выполз из своего логова и потихоньку подполз: Природа почтила Мудрость. Вдруг с запада налетела сильная буря. Божественная кобра обвилась вокруг богоподобного человека, распростерла над ним свой капюшон, и семь дней, пока длилось созерцание, укрывала Татхагату от дождя и ветра. Так он сидел, размышляя, осознавая одновременно и Ясный Свет, и кольца кобры под ним, и их всецелое тождество.

– Как это непохоже на наше отношение к змеям!

– За вашим отношением стоит отношение к ним Бога: вспомните Книгу Бытия.
– «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее», – процитировал Уилл.

– Но мудрость исключает вражду. Все эти бессмысленные, бесцельные стычки меж человеком и природой, меж природой и Богом, меж плотью и духом! Мудрость убирает эти неразумные перегородки.

– И наука тоже.

– Мудрость, идя рука об руку с наукой, достигает большего.

– А что вы скажете о тотемизме, – продолжал Уилл, – о культах плодородия? В них разграничений не проводилось. Но можно ли их назвать мудростью?

– Да, хотя и примитивной, на уровне неолита. С веками люди становятся сознательней, и старые боги Тьмы уходят в прошлое. Представления меняются. Появляются боги Света, пророки, Пифагор и Зороастр, возникают джайнизм и ранний буддизм. Но прежде их появления происходят космические петушинные бои – Ормузд против Аримана, Иегова против Сатаны и Ваала, Нирвана против Самсары, видимый мир против платоновского мира идей. И, за исключением горстки тантристов, махаянистов и даоистов, и также некоторых христианских ересей, всеохватывающая драка длилась около двух тысяч лет.

– А потом? – спросил Уилл.

– А потом было положено начало современной биологии.

Уилл рассмеялся:

– Бог сказал: «Да будет Дарвин», и появились Ницше, империализм и Адольф Гитлер.

– Да, – согласилась Шанта, – но также возможность достичь новой мудрости для каждого. Дарвин возвел тотемизм на научный уровень. Культы плодородия возродились как генетика и Хэвелок Эллис. А теперь взглянем на новый виток спирали. Дарвинизм – это мудрость неолита, изложенная в научных терминах. Новая мудрость уже пророчески просвечивала в дзен-буддизме, даоизме и тантризме, а теперь она воплощена в биологических теориях, помогающих выживать; это дарвинизм, возведенный до уровня сочувствия и духовной прозорливости. И потому, – заключила она, – вы не найдете ни на земле, ни на небесах причины, по которой Будда или кто угодно другой не могли бы в змее увидеть Ясный Свет.

– Даже если змея ужалит до смерти?

– Да, даже если змея ужалит до смерти.

– И даже несмотря на то, что змея всегда и повсюду являлась фаллическим символом?

Шанта рассмеялась:

– Всем любовникам мы советуем медитировать под деревом Мучилинде. И помимо медитаций, вспоминать, чему их учили в детстве: змеи – ваши братья, они заслуживают сочувствия и уважения; одним словом, змеи хорошие, хорошие, хорошие.

– Да, но змеи также ядовитые, ядовитые, ядовитые.

– Но если вы будете помнить, что они к тому же и хорошие, и станете относиться к ним соответственно, они вас не тронут.

– Откуда вам знать?

– Есть множество наблюдений. Люди, которые не боятся змей и не считают, что хорошая змея – мертвая змея, вряд ли будут укушены. На следующей неделе я одолжу у соседей ручного питона. Несколько дней подряд Рама будет завтракать и обедать в кольцах змея-искусителя.

Со двора донесся звонкий смех и говор детей, мешающих английскую речь с паланезийской. Минуту спустя в комнату вошла Мэри Сароджини: она казалась выше и взрослей в окружении пары четырехлетних близнецов и крепыша-херувима, которого Уилл видел с ней, когда впервые очнулся на Пале.

– Мы забрали из детского сада Тару и Арджуну, – пояснила девочка.

Близнецы бросились к матери. Держа на одной руке младенца и другой обнимая старших сыновей, Шанта ласково улыбнулась:

– Спасибо.

– Не стоит благодарности, – сказал Том Кришна, выступая вперед. – Я думал... – начал он, но смутился и вопрошающе взглянул на сестру. Мэри Сароджини покачала головой.

– Что ты думал? – спросила Шанта.

– Мы – и она, и я – оба думали... можно ли нам прийти сюда и пообедать у вас?

– Ах, вон оно что. – Шанта перевела взгляд на Мэри Сароджини и затем вновь взглянула на мальчика. – Тогда пойдя и спроси у Виджайи, найдется ли что поесть. Сейчас он там готовит.

– О'кей, – без особого энтузиазма сказал Том Кришна и неохотно поплелся на кухню. Шанта повернулась к Мэри Сароджини:

– Что случилось?

– Мама сотни раз говорила ему, что не надо приносить домой ящериц. Но сегодня утром он опять принес. Мама очень рассердилась.

– И вы решили пообедать у нас?

– Шанта, если это неудобно, мы пойдем к Раосам или Раджанадасам.

– Я уверена, что это вполне удобно, – заверила ее Шанта. – Я только хотела, чтобы Виджайя поговорил с ним немного.

– Вы совершенно правы, – серьезно ответила девочка. – Тара, Арджуна, – деловито позвала она малышей, – пойдете умоемся. Они такие чумазые, – бросила она Шанте, уводя малышей. Уилл, дождавшись, пока они уйдут, обратился к хозяйке дома:

– Только что я наблюдал Общество Взаимного Усыновления в действии?

– К счастью, – откликнулась Шанта, – в самой мягкой форме. Том Кришна и Мэри Сароджини находятся в прекрасных отношениях со своей матерью. Проблема не в них самих, а в их судьбе, в ужасной смерти Дугалда.

– Выйдет ли Сьюзила снова замуж?

– Надеюсь, да. Ради семейного блага. Тем временем детям полезно бывать с их приемными отцами. Особенно Тому Кришне. Том Кришна как раз достиг того возраста, когда мальчики начинают осознавать себя мужчинами. Он все еще может заплакать, как маленький, но тут же берет верх бравада, и эти ящерицы – он приносит их в дом, чтобы доказать, что он уже мужчина. Вот почему я посылаю его к Виджайе. Мальчик мечтает стать таким, как он: огромный рост, широкие плечи, страшная силища и притом острый ум. Том Кришна слушается его во всем, хотя мы с его матерью говорим ему то же самое. Да, Виджайя учит его тому же, что и мы; хоть он и мужчина на двести процентов, он чуток, как женщина. Тому Кришне сейчас достанется, не сомневайтесь. А теперь, – заключила Шанта, взглянув на спящего младенца, – уложим этого молодого человека в кроватку и приступим к ленчу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Близнецы, умытые и причесанные, уже сидели за столом на высоких стульчиках. Мэри Сароджини присматривала за ними, как гордая, но беспокойная мать. У плиты Виджайя накладывал в тарелки рис и овощи, доставая их черпаком из глиняного горшка. Очень осторожно, с напряженным вниманием Том Кришна брал каждую тарелку и относил ее на стол.

– Готово! – объявил Виджайя, наполнив последнюю тарелку. Он вытер руки, подошел к столу и занял свое место. – Расскажи-ка нашему гостю о благодарении, – предложил он Шанте.

– На Пале, – пояснила Шанта Уиллу, – благодарственная молитва произносится не до, а во время еды. Мы ее жуем.

– Жуете?

– Благодарение – это первая ложка пищи, которую вы отправляете в рот – и жуете, жуете, до последней крошечки. И, пока жуете, концентрируете внимание на вкусе,

консистенции, температуре пищи, на давлении на нее зубов и напряжении жевательных мышц.

– И помимо того, мысленно благодарите Просветленного, Шиву или кого-то там еще?

Шанта отрицательно покачала головой:

– Это бы отвлекало внимание, а здесь важно как следует сосредоточиться. Вы концентрируете внимание на своих ощущениях, а не на чем-то воображаемом. Припоминание слов, обращенных к кому-то воображаемому, – все это исключается. – Она оглядела стол. – Начнем?

– Ура! – дружно закричали близнецы и взялись за ложки.

Наступило продолжительное молчание, нарушаемое только близнецами, которые еще не научились жевать, не причмокивая.

– Можно теперь проглотить? – спросил наконец один из малышей.

Шанта кивнула. Дети проглотили пищу. Теперь они стучали ложками и болтали с набитым ртом.

– Итак, – спросила Шанта, – каков вкус благодарения?

– Чрезвычайно разнообразный, – ответил Уилл. – Ряд вариаций на тему риса, куркумы, красного перца, тыквы и зелени, какой – мне не удалось распознать. Оттенки постоянно меняются: прежде я этого никогда не замечал.

– Сосредоточившись на подобных вещах, сразу же отвлекаешься от всех фантазий, воспоминаний, предчувствий, глупых мыслей – словом, от собственного «я».

– Но разве вкусовые ощущения не составляют также мое «я»?

Шанта взглянула на мужа, сидевшего на противоположном конце стола.

– Что бы ты ответил, Виджайя?

– Я бы сказал, что они находятся где-то между «я» и «не-я». Вкусовые ощущения – это «не-я», когда они касаются организма в целом. Но в то же время, поскольку они осознаются, их можно назвать частицей «я». В этом и заключается цель нашего благодарственного прожевывания – заставить свое «я» осознать, что представляет собой «не-я».

– Недурно, – заметил Уилл, – но ради чего все это затеяно?

Теперь ему ответила Шанта:

– Научившись концентрировать свое внимание на «не-я», полученном из внешней среды (допустим, это пища), и на «не-я» в собственном организме (ваши вкусовые ощущения), вы неожиданно обнаруживаете «не-я» на отдаленном конце сознания, или, – продолжала Шанта, – лучше, пожалуй, сказать иначе. Для «не-я» на дальнем конце сознания будет легче стать известным для «я», которое научилось глубоко осознавать свое «не-я» с точки зрения физиологии.

Послышался грохот разбитой тарелки; один из близнецов заплакал. Шанта, вытерев пол, подытожила:

– Так вы подойдете к проблеме «я» и «не-я» в отношениях с особами, рост которых менее, чем сорок два дюйма. Тому, кто найдет достаточно надежное решение, назначена награда в шестьдесят четыре тысячи кроров рупий. – Она вытерла глаза ребенку, заставила его высморкаться, поцеловала и подошла к плите за новой порцией риса.

– Каковы ваши дальнейшие обязанности? – спросил у детей Виджайя, после того как все поели.

– Мы дежуриим возле пугал, – с важностью ответил Том Кришна.

– На поле, что рядом со школой, – добавила Мэри Сароджини.

– Я подвезу вас туда, – сказал Виджайя. – Хотите поехать с нами? – спросил он Уилла. Уилл кивнул.

– Если можно, мне бы хотелось заглянуть в школу, раз уж мы окажемся рядом; посидеть на одном из уроков.

Шанта с веранды помахала им рукой, и через несколько минут они уже подходили к припаркованному джипу.

– Школа на другом конце деревни, – пояснил Виджайя, заводя мотор. – Придется ехать

круглым путем. Сначала вниз, а потом опять вверх.

Дорога сначала спускалась меж террасированных полей, где росли рис, кукуруза и сладкий картофель, а затем – по ровной поверхности – мимо илистого пруда, в котором разводили рыбу, и посадок хлебных деревьев, и наконец – вновь поднималась вверх через поля, зеленые или золотые; вскоре они увидели выбеленное, просторное здание школы, окруженное тенистым садом.

– Вон там, – сказала Мэри Сароджини, – стоят наши пугала.

Уилл взглянул туда, куда она указывала. Ближайшее к школьному зданию поле золотилось от созревшего риса: вскоре предстояло убирать урожай. Два мальчика в розовых набедренных повязках и девчушка в голубой юбке дергали за бечевки, которые приводили в движение двух марионеток в человеческий рост, привязанных к шестам в обоих концах узкого поля. Марионетки были искусно вырезаны из дерева и одеты не в лохмотья, а в роскошные костюмы.

– «Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них», – процитировал Уилл, глядя на огромных кукол с изумлением.

Но Соломон был всего лишь царем, тогда как эти ярко расцвеченные пугала обладали гораздо более высоким достоинством. Один из них был Грядущий Будда, другой – очаровательная и пестрая восточно-индийская разновидность Бога-Отца, несколько напоминающая его изображение в Сикстинской капелле, где он склоняется над только что сотворенным Адамом. Стоило детям дернуть за бечевку, Грядущий Будда взмахивал рукой, выпрямлял скрещенные в позе лотоса ноги и танцевал в воздухе короткое фанданго, а затем вновь скрещивал ноги и сидел неподвижно, пока новый рывок не выводил его из медитации. Бог-Отец покачивал вытянутой рукой, предупреждая поднимая указательный палец, открывал и закрывал окаймленный конским волосом рот и выкатывал стеклянные глаза, которые сверкали грозно на каждую птицу, осмелившуюся приблизиться к рису. Порывы ветерка разведали его ярко-желтые одеяния, смело разрисованные бело-черно-коричневыми тиграми и обезьянами, тогда как великолепное платье Будды, сшитое из алой и оранжевой вискозы, трепетало и звенело эолийским звоном нескольких дюжин серебряных колокольчиков.

– У вас все пугала наподобие этих? – спросил Уилл.

– Это была идея старого раджи, – ответил Виджайя. – Он хотел, чтобы дети понимали, что мы сами создаем себе богов и сами же дергаем их за веревочки, заставляя властвовать над нами.

– Пусть они пляшут, – с восторгом сказал Том Кришна, – пусть извиваются. – Он рассмеялся.

Виджайя протянул огромную руку и потрепал черную курчавую головку мальчика:

– Вот это характер! – он повернулся к Уиллу и заговорил, судя по всему, подражая манере старого раджи: – Главная и величайшая ценность так называемых «богов» помимо отпугивания птиц, устрашения «грешников» и, быть может, утешения несчастных, состоит в следующем: привязанные на шестах, они заставляют вас поднимать голову, и когда вы смотрите на них, вы непременно видите небо. А что такое небо? Воздух и рассеянный в нем свет; но это также символ беспредельности и, простите мне такую метафору, беременной пустоты, из которой возникает в этом мире все – и живое, и неживое, и творцы кукол, и эти божественные марионетки, – возникает в мире, который мы знаем или воображаем, будто знаем.

Мэри Сароджини, слушавшая его со вниманием, закивала головой:

– Папа говорил, что еще лучше – смотреть на птиц в небе. Птицы – это не слова, повторял он. Птицы – это реальность, такая же реальность, как небо.

Виджайя остановил машину.

– Желаю повеселиться, – сказал он детям, когда они выбрались из машины. – Пусть попляшут, поизвиваются.

Мэри Сароджини и Том Кришна с веселыми криками пустились бежать к детям,

дежурившим в поле.

– А теперь перейдем к более важным сторонам образования, – заявил Виджайя и вырулил в боковой проезд, ведущий к школе. Он выключил зажигание и вручил Уиллу ключ. – Я оставлю машину здесь и пойду на Станцию пешком. Когда захотите вернуться домой, попросите кого-нибудь, чтобы вас отвезли.

В школе миссис Нараян, директор, сидя за рабочим столом, беседовала с седовласым человеком с длинным узким лицом, напоминавшим морщинистую морду ищейки.

– Мистер Чандра Менон, – пояснил Виджайя, представив ему Уилла, – помощник министра просвещения.

– Который прибыл к нам, – добавила директор, – чтобы провести очередную инспекцию.

– И который, как всегда, одобряет все, что видит, – откликнулся помощник министра с галантным поклоном в сторону миссис Нараян.

– Простите, но мне пора вернуться к работе, – извинился Виджайя и направился к дверям.

– Вы интересуетесь вопросами образования? – спросил Уилла мистер Менон.

– Вынужден признаться, я в них полный профан. Меня воспитывали, но не образовывали. Вот почему мне захотелось взглянуть на то, как это делают.

– Что ж, вы избрали правильный путь, – заметил заместитель министра. – Нью-Ротамстедская школа – одна из лучших.

– Что такое, по-вашему, хорошая школа? – спросил Уилл.

– Школа, где обучение позволяет добиться успеха.

– Успеха? В чем? В погоне за стипендиями? В подготовке к будущей профессии? В подчинении местным категорическим императивам?

– Да, конечно, – подтвердил мистер Менон. – Но главный вопрос все еще остается без ответа. Какова цель существования мальчиков и девочек?

Уилл пожал плечами:

– Все зависит от того, где они живут. Например, в Америке эта цель – массовое потребление. И как его следствие – массовая коммуникация, массовая реклама, массовое одурманивание посредством телевидения, снотворных, позитивного мышления и сигарет. А теперь, когда и Европа перешла на выпуск массовой продукции, цель существования мальчиков и девочек там – тоже массовое потребление и все, что из этого вытекает. Но с Россией дело обстоит иначе. Там мальчики и девочки существуют ради укрепления государственной мощи. Отсюда такое количество инженеров и ученых, не говоря уж о пятидесяти дивизиях, постоянно готовых к бою и оснащенных всем – от танков до водородной бомбы и ракет дальнего поражения. В Китае же мальчики и девочки существуют не только для укрепления государства, но попросту представляют собой рабочую силу – для промышленности, сельского хозяйства, дорожного строительства. Итак, Запад есть Запад, Восток есть Восток, но они очень скоро могут встретиться. На Западе, испугавшись угрозы с Востока, могут решить, что мальчики и девочки должны становиться не массовыми потребителями, но пушечным мясом, и послужить целям укрепления государства. В то же самое время Восток, под нажимом не обремененных товарами народных масс, тоскующих по Западу, передумает и скажет, что мальчики и девочки нужны как массовые потребители. Но это дело будущего. А сейчас ответы на ваш вопрос взаимно исключают друг друга.

– Однако оба эти ответа, – отозвался мистер Менон, – отличаются от нашего. Какова цель существования мальчиков и девочек на Пале? Они не становятся массовыми потребителями и не служат усилению государства. Государство, разумеется, должно существовать. Это все обязаны понимать, и какие тут могут быть возражения. Но существовать оно должно при условии, что мальчики и девочки понимают, зачем они живут.

– Так ради чего они живут?

– Каждый – ради того, чтобы стать полнокровной человеческой личностью.

Уилл кивнул.

– «Сочинение об истинном смысле вещей», – вспомнил он. – «Стать тем, чем вы на самом деле являетесь».

– Старый раджа, – продолжал мистер Менон, – касается преимущественно того, чем становятся люди за гранью индивидуального. Конечно, нас интересует и это. Но первоочередная наша задача – элементарное обучение, а элементарное обучение имеет дело с индивидуальностями. Во всем разнообразии форм, величин, темпераментов, талантов и недостатков. Высшее образование имеет дело с индивидуальностями в их трансцендентном единении. Оно начинается в юношеском возрасте и дается в совокупности с элементарным.

– И начинается, я полагаю, с первого опыта приема мокша-препарата?

– А вы слышали о мокша-препарате?

– И даже видел его в действии.

– Доктор Роберт, – пояснила директор, – брал его вчера с собой на инициацию.

– Я получил огромное впечатление, – признался Уилл. – Когда я вспоминаю о том, как меня учили религии... – Он красноречиво оборвал фразу.

– Итак, как я уже сказал, молодежь получает оба вида образования в совокупности. Их учат переживать трансцендентное единство со всеми чувствующими созданиями и в то же самое время на уроках физиологии и психологии учат тому, что каждый человек имеет неповторимую индивидуальность, которая делает его непохожим на других.

– Когда я учился в школе, – сказал Уилл, – учителя прилагали все усилия, чтобы сгладить все различия между нами или по крайней мере приспособить их к некоему поздневикторианскому идеалу – эдакому ученому, но исповедующему англиканство и играющему в футбол джентльмену. Но как у вас поступают с разнообразием индивидуальностей?

– Прежде всего, – ответил мистер Менон, – мы стараемся установить, в чем заключается эта индивидуальность. Что представляет собой ребенок в анатомическом, биохимическом, физиологическом отношении? Что в его организме преобладает – пищеварение, мускулы или нервная система? Сколь близок он к этим трем крайним точкам? Сколь гармонично сочетаются в нем психические и ментальные компоненты? Какое из врожденных стремлений преобладает – властвовать, подчиняться, замыкаться в себе? Каково его восприятие, мышление, память? Склонен ли он к созерцанию? Чем оперирует его разум – образами или словами, тем и другим вместе или ни тем и ни этим? Сколь явно выражена в нем способность описывать мир? Видит ли он мир таким же, каким Вордсворт и Трэхерн видели его в детстве? И если так, что необходимо предпринять, чтобы сияние и свежесть не растворились в свете обыденности? Или, иными словами, как нужно учить детей, чтобы, выводя их на уровень абстракций, не убить в них способности мыслить образами? Как примирить анализ и конкретный образ? Таких вопросов возникает превеликое множество, и на все необходимо найти ответ. Например, усваивает ли ребенок все витамины из пищи и не подвержен ли он какому-нибудь хроническому заболеванию, которое, не будучи обнаруженным, понижает его жизнеспособность, омрачает настроение и заставляет его чувствовать отвращение ко всему, скуку, и замышлять глупые или недобрые поступки? Какой процент сахара у него в крови? Не затруднено ли дыхание? Какая у него осанка, и как функционирует организм, когда ребенок работает, играет, учится? Помимо того, множество вопросов связано с особой одаренностью каждого ученика. Проявляет ли он способность к музыке, к математике, к ручной работе, внимательно ли он наблюдает и как осмысляет свой опыт – логически или в зрительных образах? И наконец, насколько он будет внушаем, когда вырастет? Все дети легко поддаются гипнозу – четверо из пяти быстро погружаются в гипнотический сон. У подростков это соотношение меняется. Четверых из пяти невозможно загипнотизировать. Мы определяем, кто те двадцать из ста, которые вырастут гипнабельными.

– И вы можете выявить их еще в детстве? – спросил Уилл. – Но зачем это делается?

– Да, мы выявляем их, – ответил мистер Менон, – и это очень важно. Еще важнее это было бы для вас, в вашем мире. Потому что в вашем обществе, с точки зрения политики, те

двадцать процентов, которых легко полностью загипнотизировать, представляют собой серьезную опасность.

– Опасность?

– Да, так как они неизбежно становятся жертвами пропагандистов. При старомодной, донаучной демократии любой вдохновенный оратор, имеющий за собой сплоченную организацию, может без труда превратить эти двадцать процентов в сомнамбул, фанатически преданных своему гипнотизеру и жаждущих его прославления и величия. А при диктаторском режиме эти же самые сомнамбулы, исполненные слепой веры, становятся ядром могущественной партии. Вот почему для любого общества, которое дорожит своей свободой, важно в раннем возрасте выявлять поддающихся гипнозу, обучать их противиться внушениям врагов свободы. Помимо этого, следовало бы перестроить общество так, чтобы врагам свободы было трудно или даже невозможно оказывать подобное воздействие на людей.

– Насколько я понимаю, именно так обстоят дела на Пале?

– Да, именно так, – согласился мистер Менон. – Вот почему наши потенциальные сомнамбулы не представляют собой никакой опасности.

– Так для чего же вы стремитесь их выявить?

– Потому что их дар очень полезен, если его использовать с толком.

– Для овладения необходимостью? – спросил Уилл, вспомнив целительных лебедей и все то, что говорила ему Сьюзила об управлении собственными кнопками. Заместитель министра покачал головой:

– Нет, для овладения необходимостью достаточно состояния легкого транса. На это способен всякий. Но потенциальные сомнамбулы могут впадать в очень глубокий сон. Только пребывая в глубоком гипнотическом сне, можно овладеть ходом времени.

– А вы умеете это делать? – поинтересовался Уилл. Мистер Менон покачал головой.

– К сожалению, я засыпаю недостаточно глубоко. И потому мне всему приходится учиться очень и очень долго. Миссис Нараян повезло больше. Она принадлежит к привилегированным двадцати процентам, и потому наикратчайшим способом изучила все, что доступно большинству.

– Что это за способ? – спросил Уилл, взглянув на директрису.

– Краткий способ запоминания, – пояснила миссис Нараян, – счета, мышления и решения. Сначала учишься использованию двадцати секунд как десяти минут, а затем полминуты обращаешь в час. В состоянии глубокого сна это совсем нетрудно. Вы слушаете учителя и долго, долго сидите не шевелясь. Вы уверены, что минуло целых два часа. Пробудившись, вы смотрите на часы: оказывается, прошло всего четыре минуты.

– Как это получается?

– Непонятно. Но эти истории о тонущих людях, перед которыми проходит вся жизнь за несколько секунд, сушая правда. Рассудок и нервная система способны проделывать такое, хотя, быть может, и не у каждого человека. Но как это происходит, непонятно. Мы открыли это явление около шестидесяти лет назад и с тех пор используем его в основном для обучения. Например, – продолжала миссис Нараян, – вам предстоит решить математическую задачу. В обычном состоянии вы потратите на это часа полтора. Но в гипнотическом сне тридцать субъективных минут равны одной. Вы приступаете к решению задачи. Проходит тридцать минут – а на часах всего лишь одна. Без спешки и напряжения вы работаете с такой быстротой, на какую способны только уникальные люди-счетчики. Но будущие гении, подобные Амперу или Гауссу, или будущие идиоты вроде Дейза, смогут, используя изменение хода времени, решать свои задачи за пару минут или даже несколько секунд. Я была посредственной ученицей; но в состоянии глубокого сна я использую свое время с эффективностью один к тридцати. Только поэтому я добилась таких значительных успехов, каких никогда бы не достигла, если бы меня учили обычным путем. Вообразите, каких высот мог бы достичь человек выдающийся, если бы обладал даром растягивать время!

– К сожалению, – вмешался мистер Менон, – это случается не часто. В двух

последующих поколениях мы имели только двух гениально одаренных, которые умели менять ход времени, и пять или шесть людей с выдающимися способностями. И все же трудно переоценить то, чего Пала добилась даже с этими двумя. Вот почему мы стараемся своевременно выявить потенциальных сомнамбул!

– Вы говорили, – напомнил Уилл после краткого молчания, – что задаете много вопросов, касающихся ваших учеников. Что вы делаете, найдя на них ответы?

– Приступаем к образованию, соответственно каждому конкретному случаю, – сказал мистер Менон. – Например, мы задаем вопрос, какова физиология и темперамент ребенка. Определив это, мы отбираем самых робких, застенчивых, легко уязвимых и замкнутых детей и объединяем их в одну группу. Затем, понемногу, группа расширяется. Поначалу туда вводятся несколько детей с тенденцией к социальной неразборчивости. Затем два-три «мускулистых» мальчика и столько же девочек, которые склонны проявлять агрессивность и любят властвовать. Это, на наш взгляд, лучший способ научить детей столь различных категорий понимать и терпеть друг друга. Через несколько месяцев совместного обитания под нашим контролем дети обычно уже способны признать, что люди другого склада также имеют право на существование.

– Этот принцип мы не только внушаем детям, – подхватила миссис Нараян, – но и стараемся подкрепить его примерами. Поначалу мы прибегаем к сравнению с животными, которые детям знакомы. Кошки любят жить сами по себе. Овцы сбиваются в кучу. Куницы обладают горячим нравом, и их трудно приручить. Морские свинки ласковы и дружелюбны. Кто вы – кошка, овечка, морская свинка или куница? Рассказывайте детям о нравах животных, и тогда даже малыши поймут, что все люди очень разные и нужно учиться прощать друг другу.

– А позднее, – вставил мистер Менон, – когда они приступают к чтению «Гиты», мы рассказываем им о связи их задатков с религией. Овечки и морские свинки любят ритуалы, публичные действия и возрождающие эмоции; их темперамент ведет их по пути Поклонения. Кошки любят одиночество, и потому они склонны к пути Самопознания. Куницы желают действовать, и задача в том, чтобы направить их агрессивность на путь Незаинтересованного Деяния.

– Что касается пути Незаинтересованного Деяния, – сказал Уилл, – вчера я получил о нем некоторое представление. Этот путь пролегает через рубку леса и альпинизм, верно?

– Рубка леса и альпинизм, – ответил мистер Менон, – это особые случаи. Но если обобщать, то скажем, что все пути имеют целью отведение от власти.

– Как это получается?

– Принцип довольно прост. Желание властвовать возникает в результате страха, зависти, избытка адреналина или любой другой причины, которая, выводя вас из равновесия, побуждает к агрессивности; но вместо того, чтобы потакать ему, доставляя неприятности другим, или подавлять, причиняя неприятности себе, вы сознательно направляете его по пути, где оно принесет пользу, или, по крайней мере, не сделает вреда.

– Вот самый простой пример, – сказала директор. – Ребенок, рассердившись или отчаявшись, начинает плакать, ругаться или драться. Но энергия, побуждающая его к таким поступкам, может быть преобразована посредством бега, танцев или хотя бы пяти глубоких вдохов. Позже я покажу вам несколько танцев. Теперь же поговорим о дыхании. Раздраженный человек, сделав пять глубоких вдохов, снимает тем самым напряжение, что способствует более разумному поведению. Мы учим детей различным играм, где используется глубокое дыхание, чтобы они прибегали к ним, когда сердиты или расстроены. В основе некоторых этих игр лежит соревнование. Например, кто из двух спорящих наберет в легкие больше воздуха и произнесет самое долгое «ом»? Споры такие, как правило, кончаются примирением. Конечно, глубокое дыхание не всегда помогает. Но есть игры, в которые расстроенный ребенок может играть в одиночестве: игры эти основаны на фольклоре. Каждый паланезийский ребенок знает множество легенд о Будде, рассказывающих о видимом явлении божества. Например, бытуют восторженные рассказы о

явлении Бодисатвы в ореоле света и радуг, украшенном драгоценностями. Видения эти сопровождаются обонятельными ощущениями: например, сиянию пламени сопутствует удивительно изысканный аромат. Итак, мы берем все эти традиционные фантазии – которые основаны, надо признать, на реальном созерцательном опыте, полученном в результате поста, ограничений или употребления грибов, – и используем их в работе. Сильные чувства, говорим мы детям, подобны землетрясению. Они потрясают нас настолько, что в стене, отделяющей нас от универсальной природы Будды, появляются трещины. Когда вы сердитесь, внутри вас появляются трещины – и через них ускользает аромат просветления. Он подобен аромату чампака, кананги или гардений, однако же неизмеримо чудеснее. Не упускайте этой божественности, нечаянно вами высвобожденной. Это происходит всякий раз, едва вы начинаете сердиться. Вдыхайте его аромат, дышите им, наполняйте легкие. Делайте это снова и снова.

– И они это делают?

– После нескольких недель обучения большинство из них поступает именно так. И большинство действительно ощущает запах. Старое, подавляющее «не делай» превращается в новое, побуждающее «делай». Потенциально вредная энергия отводится в каналы, где она становится совершенно безвредной и даже полезной. Помимо того, разумеется, мы учим детей правильному восприятию и пользованию языком. Мы учим их со вниманием относиться к тому, что они видят и слышат, и в то же время замечать, какие чувства и желания возникают у них в ответ на впечатления от окружающего мира, учим тому, как выражать словами не только чувства и желания, но даже ощущения. То, что я вижу и слышу, – это одно, и совсем другое – слова, которые я употребляю, настроение, в котором я нахожусь, и влияние на мое восприятие целей, которые я преследую. Все это преподается детям в едином процессе обучения. Восприятие и воображение, прикладная физиология и психология, практическая этика и религия, правильное использование языка, самопознание – всему этому мы учим детей одновременно. То есть мы образовываем душу и тело в целом и во всех аспектах.

– Но какое отношение имеет это к формальному обучению? Помогает ли целостный подход к душе и телу лучше считать, писать без ошибок, решать задачи по физике?

– Конечно, – подтвердил мистер Менон. – Ребенок, развитый в целом, скорее схватывает объяснения учителя и глубже все понимает. Он умеет соотносить научные факты с идеями и видеть их связь с жизнью.

Неожиданно узкое, меланхолическое лицо собеседника Уилла озарилось веселостью, на какую, казалось, тот был неспособен, – и он громко расхохотался.

– Вы что-то вспомнили? – спросил Уилл.

– Да, двух англичан, с которыми мне довелось познакомиться в Кембридже. Один из них – физик-атомщик, другой – философ. Оба – талантливые ученые. Но один, выйдя из лаборатории, сразу превращается в одиннадцатилетнего мальчишку; а другой так любит поесть, что страдает от ожирения. Вот вам наглядные примеры того, во что может превратиться способный ребенок, если в течение пятнадцати лет давать ему только формальное обучение, не заботясь о душе и теле в целом и забывая о том, что школьнику необходимо не только учиться, но и жить.

– Ваша система, насколько я понимаю, не производит подобных ученых монстров?

Помощник министра покачал головой.

– Я не встречал таких, пока не отправился в Европу. Они чрезвычайно забавны, – добавил он. – Но до чего жалки и омерзительны!

– Жалкое, неприглядное состояние – вот та цена, что мы платим за специализацию.

– Да, за специализацию, – согласился мистер Менон, – но не в обычном смысле этого слова. Специализация как таковая нужна и неизбежна. Без нее нет цивилизации. Но если в обучении используется подход к душе и телу как единому целому, подобная специализация не наносит вреда. Но у вас такой метод отсутствует. Вы лечите перекос в сторону научной специализации при помощи введения ряда гуманитарных дисциплин. Превосходно! Любое

образование должно включать в себя гуманитарные предметы. Но не обольщайтесь названием. Сами по себе дисциплины о человеке не вносят в обучение человечности. Это просто другая форма специализации, с другим рядом символов. Чтение Платона и лекции о Т. С. Элиоте не развивают человека в целом; подобно курсам физики и химии они дают работу интеллекту, но оставляют прочие способности в неразвитом состоянии. Отсюда те жалкие и отталкивающие создания, которые так поразили меня во время поездки за границу.

– Но каков ваш подход к формальному образованию? Даете ли вы детям необходимую информацию и умственные навыки? Как вы этому учите?

– Мы учим так, как вы, возможно, будете учить ваших детей лет через десять-пятнадцать. Возьмем, например, математику. Вы сначала учите детей обычным навыкам, а потом воспаряете к метафизике и наконец излагаете науку в терминах структурных и логических видоизменений. В наших школах все наоборот. Мы начинаем со структуры и логики, а затем, перескочив через метафизику, переходим от общих принципов к частным случаям.

– И дети понимают?

– Да, если идти от практических навыков. С пяти лет почти любой умный ребенок способен понять все, что вы ему объясняете, и освоить все, что вы даете ему, употребляя правильный метод. Логика и структура преподносятся в форме игр и головоломок. Ребенок, играя, быстро схватывает, в чем состоит суть. А потом вы переходите к полезным навыкам. При таком методе дети проходят обучение значительно быстрее. Или возьмите другой предмет, где можно использовать игры для усвоения основных принципов. Любое научное мышление протекает в категориях вероятности. Все вечные истины – всего лишь достаточно высокая степень правдоподобия, неизменные законы природы – это только выведенная средняя величина. Как преподнести эти в основе своей очевидные понятия детям? Играйте с ними в рулетку, крутите монеты, бросайте жребий. Научите их всем видам игры в карты, в кости.

– «Повороты и ступени эволюции» – это их любимая игра, – вставила миссис Нараян, – а еще они любят играть в игру «Счастливые семьи Менделя».

– Немного позднее, – добавил мистер Менон, – мы учим их довольно сложной игре, в которой участвуют четверо играющих и шестьдесят карточек с особыми обозначениями разделяются на три группы. Мы называем эту игру «Психологический мост». Большая роль отводится случаю, но немаловажна и собственная сноровка, решимость и умение взаимодействовать с партнером.

– Психология, менделизм, эволюция – ваше образование тяготеет к биологии.

– Да, – признал мистер Менон. – Мы отдаем приоритет не физике или химии; главное для нас – это наука о жизни.

– Таков ваш принцип?

– Нельзя сказать, что дело только в принципе. Учитываются также целесообразность и экономическая необходимость. У нас нет денег для глубокого изучения физики и химии и нет необходимости в таком изучении – потому что нам не надо развивать тяжелую индустрию, чтобы стать сильнее, не надо вооружать армию; к тому же мы не испытываем ни малейшего желания очутиться на невидимой стороне луны.

Намерения у нас самые скромные – жить достойной человека, полнокровной жизнью, в ладу с природой нашего острова, на данной широте нашей планеты. В случае необходимости мы могли бы обратиться к вашим результатам исследований в области физики и химии, но пока предпочитаем изучать то, что сулит нам гораздо большие выгоды, – я имею в виду науку о жизни и разуме. Если бы политики в недавно ставших независимыми странах имели хоть каплю здравого смысла, они занялись бы тем же самым. Но они мечтают об усилении своего влияния, жаждут обзавестись армиями и отравляться наркотиками теле-моторизации как в Европе или Америке. У тех стран уже нет выбора, – продолжал мистер Менон, – они погрязли в физико-химических исследованиях со всеми вытекающими отсюда последствиями – военными, политическими, социальными. Но у слаборазвитых стран такой

выбор еще имеется. Они не обязаны следовать вашему примеру. И пока еще сохраняют возможность пойти нашим путем, занимаясь прикладной биологией, контролем над урожайностью, ограничивая индустриализацию, – путем, который ведет к счастью, так как дает людям здоровье, знание, правильное отношение к миру. Это счастье внутреннее, а не внешнее счастье-мираж, которое приносят игрушки, таблетки и бесконечные развлечения. Да, они все еще могут выбрать наш путь, но – не хотят, они желают подражать вам, помощи им Господь. А так как они не в силах достичь вашего уровня – во всяком случае, достаточно быстро, – то неизбежны разочарования, всеобщая нищета и анархия, и наконец – тирания. Трагедию эту нетрудно предвидеть, но они идут ей навстречу с открытыми глазами.

– И мы ничем не можем им помочь, – вмешалась миссис Нараян.

– Да, мы должны только продолжать делать то, что уже делаем, и надеяться, что пример нации, которая нашла путь к счастью, может стать примером для подражания. Шансов к тому немного, но вдруг это все же случится?

– Или прежде того вы окажетесь в составе Великого Рендана.

– Да, может произойти и такое, – мрачно согласился мистер Менон. – И все же мы обязаны продолжать свою работу, учить детей. О чем бы еще вам хотелось услышать, мистер Фарнеби?

– У меня еще много вопросов, – сказал Уилл. – Например, с какого возраста вы начинаете знакомить детей с естественными науками?

– Как только приступаем к умножению и делению. Тогда же даются первые уроки по экологии.

– Экология? А не сложновато?

– Именно потому мы с нее и начинаем. Нельзя, чтобы дети воображали, будто все существует само по себе. Пусть они с самого начала поймут, что все живое находится во взаимосвязи. Покажите это на примере леса, поля, рек и озер, деревни и местности вокруг нее. Втолкуйте им это хорошенько.

– Позвольте мне добавить, – заговорила директор, – что мы преподаем им науку о всеобщей взаимосвязи в сочетании с этикой. Взаимное равновесие, внушаем мы, – это не исключение, но правило, присущее природе, и людям следует – говоря на языке морали – подражать этому правилу. Дети, как я уже говорила вам, легко все понимают, если приводить им примеры из жизни животных. И потому мы знакомим их с современными версиями басен Эзопа. Но их персонажи – не карикатура на людей; это правдивые экологические сюжеты с универсальной моралью. Другой замечательный пример для детей – рассказы об эрозии. У нас здесь эрозии не наблюдается, и потому мы показываем фотографии, сделанные в Рендане, Индии, Китае, Греции, на Ближнем Востоке, в Африке, в Америке – во всех тех странах, где жадные, глупые люди только брали, ничего не желая давать, и эксплуатировали землю без любви и понимания. Будьте добры с Природой, и Природа оплатит вам добром. Вредите, губите ее – и Природа вскоре погубит вас. В Краю Пыльных Бурь на западе США истина «Поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», куда очевидней, чем там, где эрозии подвергнута семья или деревня. Душевные раны скрыты – и дети вообще мало знают о старших. Когда не с чем сравнивать, они принимают наихудшее как должное, как нечто присущее самой природе вещей. Однако разница меж цветущим лугом и пустыней в оврагах вполне наглядна. Пески и овраги – их можно понимать как иносказание. Дети, понимая, что к земле надо относиться бережно, легко переносят это на мораль. От Золотого правила по отношению к растениям, животным, земле они переходят к Золотому правилу по отношению к людям. И здесь важен следующий момент. Мораль, которую постигает ребенок, изучая факты экологии и перенося их на людей, представляет собой универсальную этику. В природе не существует ни избранного народа, ни земли обетованной, ни уникального исторического Откровения. Мораль бережного отношения ко всему не допускает ни чувства превосходства, ни особых привилегий. «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», – это правило относится к любому живому существу в любой точке нашей планеты. Мы сможем существовать на

этой планете, только если будем проявлять сочувствие и понимание в обращении с природой. Элементарная экология приводит непосредственно к элементарному буддизму.

– Несколько недель назад, – сказал Уилл, – я заглянул в книгу Торвальда, чтобы прочесть о событиях, случившихся в Восточной Германии между январем и маем 1945 года. Вы читали об этом?

Оба его собеседника покачали головами.

– И не читайте, – посоветовал Уилл. – Я был в Дрездене через пять месяцев после февральской бомбардировки. Пятьдесят или шестьдесят тысяч жителей, преимущественно беженцы из России³⁶, сгорели живьем за одну ночь. И все потому, что маленький Адольф не изучал экологию, – Уилл саркастически улыбнулся, – и не был знаком с главным правилом бережливого отношения к планете.

Можно было только в шутку говорить о том, что слишком ужасно для разговора всерьез. Мистер Менон поднялся и взял свой портфель:

– Я должен идти.

Они обменялись рукопожатиями. Приятно было познакомиться, и он надеется, что мистер Фарнеби не будет разочарован посещением Палы. Но если он хочет побольше узнать о местном образовании, то должен обращаться исключительно к миссис Нараян. Лучшего гида и инструктора ему не найти.

– Вам хотелось бы заглянуть в классы? – предложила миссис Нараян, после того как заместитель министра ушел. Она повела Уилла вдоль по коридору.

– Математика, – сказала она, открывая дверь. – Пятый старший класс. Руководитель миссис Ананд.

Уилл почтительно наклонил голову, когда его представили. Седовласая учительница приветливо улыбнулась и прошептала:

– Мы углубились в решение задачи.

Уилл огляделся. Несколько мальчиков и девочек сидели за столами, нахмурившись, покусывая карандаши и вглядываясь в записи. Их темные волосы были аккуратно приглажены. Поверх белых и цвета хаки шорт, поверх ярких цветных юбок золотились обнаженные по пояс тела. У мальчиков под кожей обозначались ребра, тела девочек были полнее, глаже, с выпуклостями груди – крепких, высоко посаженных и изящных, словно у нимф, изваянных в стиле рококо. И все это воспринималось совершенно естественно. Что за удовольствие, подумал Уилл, жить там, где первородный грех – всего лишь только устаревшая доктрина.

Тем временем миссис Ананд пояснила – вполголоса, чтобы не отвлекать учеников от решения задачи, – что она всегда делит класс на две группы. Группу мыслящих зрительно, геометрическими образами, подобно древним грекам, и группу предпочитающих мыслить абстрактно и более склонных к алгебре, нежели к геометрии. С некоторой неохотой Уилл отвлекся от мира, в котором обитали не ведавшие грехопадения юные тела, и принудил себя заинтересоваться разнообразием человеческого интеллекта и методами обучения математике.

Наконец они двинулись дальше. Открыв следующую дверь, они оказались в помещении с бледно-голубыми стенами, на которых были нарисованы тропические животные, Бодисатвы и неразлучные с ними Шакти. В младшем пятом проходил второй в течение недели урок простейшей прикладной философии. Груды здесь были меньше, руки тоньше и не такие мускулистые. Всего год назад ученики этого класса были еще совсем детьми.

– Условные обозначения для всех общие, – объяснял юный учитель, когда миссис Нараян и Уилл вошли в класс. Он нарисовал на доске в ряд несколько кружочков и обозначил их: 1, 2, 3, 4, n.

³⁶ Так в оригинале; естественно, никаких *русских* беженцев в то время в Дрездене быть не могло.

– Это люди, – сказал он.

От каждого кружка он провел линию, соединяющую его с квадратом на левой стороне доски, и написал букву «З» в центре квадрата.

– «З» – это система знаков, к которым люди прибегают, желая общаться друг с другом. Все они говорят между собой на одном языке – на английском, паланезийском, эскимосском – в зависимости от того, кто где живет. Слова общие, они принадлежат всем, говорящим на данном языке, и перечислены в словаре. А теперь взглянем, что происходит там, – он указал на открытое окно. Пестрея на фоне белого облака, мимо пролетела стайка попугаев и скрылась за деревом. Учитель на правой стороне доски начертил другой квадрат, обозначил его буквой «С» – события – и соединил линиями с кружками.

– Что происходит во внешнем мире – также принадлежит всем, разумеется, до известной степени, – уточнил он. – И слова, которые мы произносим и пишем, также принадлежат всем. Но то, что происходит внутри этих маленьких кружочков, дело сугубо частное. Частное, – повторил он и положил руку себе на грудь. – Частное. – Он потер лоб. – Частное. – Он коснулся век и затем кончика носа коричневым пальцем. – А теперь проведем несложный эксперимент. Скажите-ка слово «щип».

– Щип, – нестройно повторил класс, – щип...

– Щип-щип. Это слово, принадлежащее всем, его можно увидеть в словаре. А теперь ущипните себя. Сильней. Еще сильней!

Дети, хихикая, айкая и ойкая, выполнили то, что он велел.

– Можете ли вы почувствовать то, что чувствует ваш сосед по парте?

Дети дружно ответили:

– Нет.

– Итак, – подвел итог юноша, – мы можем говорить о... – Он взглядом обвел класс: – Сколько нас тут? Итак, мы можем говорить о двадцати трех разных ощущениях боли. Двадцать три в одной классной комнате, почти что три миллиона во всем мире. А добавьте сюда страдания животных. И каждый переживает свою боль сугубо частным образом. Нет способа перевести ощущение от одного страдающего к другому. Нет связи – помимо косвенной, через знаки. – Он указал на левый квадрат, а затем на кружки в центре. – Частная боль – это 1, 2, 3, 4, n. Узнать о боли вы можете отсюда, из квадрата «З», где вы можете сказать: «щип-щип», что является общим словом, которое записано в словаре. Но заметьте: существует только одно слово «боль» для трех миллиардов различных частных ощущений, непохожих одно на другое, как мой нос не похож на нос каждого из вас. Слово выражает только то, чем вещи или события похожи друг на друга. Вот почему оно принадлежит всем. Но, выражая общее, оно не вмещает в себя частный опыт каждого.

Наступила тишина. Затем учитель оглядел класс и задал вопрос:

– Слышал ли кто-нибудь из вас о Махакасьяпе?

Поднялось несколько рук. Учитель указал пальцем на девочку в голубой юбке и ожерелье из ракушек, которая сидела в первом ряду.

– Скажи нам, Амия.

Прерывисто дыша и шепелявя, Амия начала рассказывать.

– Махакасьяпа, – сказала она, – был единственным учеником, понимавшим, о чем говорит Будда.

– И о чем же говорил Будда?

– Он ничего не говорил. Вот почему никто из них не понимал.

– Но Махакасьяпа понимал, хотя Будда ничего не говорил, – так ведь?

Девчушка кивнула:

– Еще они думали, Будда штанет говорить проповедь, но он молчал. Он только шорвал чветок и показал его каждому.

– Это и была проповедь! – выкрикнул мальчишка в желтой набедренной повязке, который вертелся на своем месте, не в силах сдержать желание поделиться знаниями.

– Но никто не понял шмышла такой проповеди. Никто, кроме Махакасьяпы.

– Что же сказал Махакасьяпа, когда Будда показал им цветок?
– Ничего! – победно воскликнул мальчишка в желтой набедренной повязке.
– Он только улыбнувшись, – продолжала Амия. – И так показал Будде, что понимает его. Тот улыбнувшись в ответ, и так они улыбались и улыбались.

– Хорошо, – сказал учитель и повернулся к мальчику в желтой повязке, – а теперь послушаем, что именно понял Махакасьяпа.

Наступила тишина. Мальчик, приуныв, покачал головой:

– Не знаю, – пробормотал он.

– Кто-нибудь знает?

Было несколько ответов. Возможно, он понял, что людям скучны проповеди, даже проповеди Будды. Возможно, он любил цветы, так же как и Сочувствующий. Это был белый цветок – и он вспомнил о Ясном Свете. Или, наверное, голубой – цвет Шивы.

– Хорошие ответы, – похвалил учитель, – особенно первый. Проповеди невыносимо скучны, в особенности для проповедника. Но вот вопрос. Если в ваших словах выражено именно то, что понял Махакасьяпа, – отчего он сам не прибег к этим словам?

– Он не умел складно говорить.

– Он был превосходным оратором.

– Наверное, у него болело горло.

– Если бы у него болело горло, он бы не стал улыбаться.

– Так скажите нам, – слышался тоненький голосок из последних рядов.

– Да, скажите нам, скажите, – наперебой стали просить дети. Учитель покачал головой.

– Если Махакасьяпа и Сочувствующий не прибегли к словам, что могу сказать я? А теперь обратимся к диаграмме на доске. Вот общие слова, более или менее общие события и люди, то есть совершенно изолированные центры удовольствия и боли. Совершенно изолированные? – переспросил он. – Это не совсем так. Между кружками есть связь – но не словесная, о которой я вам говорил, а непосредственная. Вот о чем, наверное, хотел сказать Будда своей проповедью без слов. «Я обладаю истинным учением, – сказал он своим ученикам, – дивным сознанием нирваны – истинной, не облеченной в слова, учением, не вытекающим ни из одной доктрины. И его я вручаю сейчас Махакасьяпе». – Взяв мел, учитель провел неправильный эллипс, внутри которого оказались все изображения на доске – и маленькие кружки, обозначающие людей, и квадраты, обозначающие слова и события. – Все, что разделено, оказывается вместе. Люди, события, слова – все это проявления Тожественного Разума, Пустоты. Вот что подразумевал Будда и что понял Махакасьяпа – учения эти невозможно выразить, их нужно испытать. Это откроется вам в момент посвящения.

– Пора идти, – шепнула миссис Нараян. Закрыв за собой двери, они опять оказались в коридоре. – Этот же подход мы используем, приступая к изучению естественных наук, которое открывается ботаникой.

– Почему ботаникой?

– Потому что ботанику можно связать с историей о Махакасьяпе, которую вы только что слышали.

– С этой историей вы приступаете к изучению ботаники?

– Нет, все начинается довольно прозаически, с учебника. Детям даются очевидные, элементарные факты, удобно раскладывающиеся по полочкам. Шесть или семь недель изучается ботаника в чистом виде. А потом целое утро отводится на то, что мы называем «построением моста». Два или три часа подряд педагог подводит детей к осознанию связи меж ботаникой и тем, что они изучали ранее: искусством, языком, религией, самопознанием.

– Ботаника и самопознание – как это можно связать?

– Очень просто, – заверила его миссис Нараян. – Каждому ребенку дается какой-нибудь цветок: гибискус или гардения – что лучше, потому что гибискус не пахнет. Что такое гардения с научной точки зрения? Из чего она состоит? Лепестки, тычинки, пестик, завязь и прочее. Детей просят дать аналитическое описание цветка, сопроводив его аккуратным

рисунком. После этого детям позволяют несколько минут отдохнуть, а затем им читают историю о Махакасьяпе и предлагают подумать над ней. Хотел ли Будда преподать ученикам урок ботаники? Или он хотел научить их чему-то другому? Если так, то чему?

– Да, в самом деле – чему?

– Сама эта история ясно показывает, что здесь не может быть ответа, облеченного в слова. Мы говорим детям, чтобы они прекратили думать, и только смотрели. Но не смотрите аналитически; не разлагайте цветок; не смотрите как ученые или садовники. Забудьте на время все, что вы знаете, и смотрите с полным неведением на этот удивительный цветок. Смотрите так, как если бы вы никогда прежде не видели цветов, словно не знаете, ни как он называется, ни к какому классу относитесь. И, глядя на него, вдыхайте его тайну, дышите его духовным смыслом, ароматом мудрости другого берега.

– Слова эти напоминают мне то, что говорил доктор Роберт на церемонии посвящения, – заметил Уилл.

– Да, разумеется, – подтвердила миссис Нараян, – приучая детей смотреть как Махакасьяпа, мы готовим их к опыту, который дает мокша-препарат. Каждый посвящаемый проходил курс обучения восприятию. Поначалу детям предлагают взглянуть на гардению с точки зрения ботаники. А потом – осознать цветок как нечто уникальное, увидеть его глазами художника, увидеть в нем чудо, как Будда и Махакасьяпа. Конечно, – добавила миссис Нараян, – эти опыты не ограничиваются цветами. Изучение любого предмета сопровождается «построениями моста». Все, от препарированной лягушки до спиралевидных туманностей, – все это можно воспринимать, а не только обдумывать, и осваивать эстетически и духовно без обсуждения с точки зрения научной, исторической, экономической. Обучение целостному восприятию дополняет умение анализировать и манипулировать знаками, и даже играет роль противоядия. Сочетание двух подходов абсолютно необходимо. Если вы пренебрегаете одним из них, вам никогда не стать полнокровной человеческой личностью.

Они помолчали.

– А как надо смотреть на людей? – спросил наконец Уилл. – Взглядом Фрейда или Сезанна, Пруста или Будды?

Миссис Нараян рассмеялась.

– Как вы смотрите на меня?

– Прежде всего как социолог, – ответил Уилл. – Я смотрю на вас как на представительницу незнакомой культуры. Но я не чужд того, чтобы воспринимать вас целостно. Например, я заметил, что на склоне лет – надеюсь, вы не обидитесь – вы продолжаете оставаться замечательным человеком. Во всех отношениях: эстетически, интеллектуально, эмоционально, духовно, что бы эти слова ни значили. Если уж я побуждаю себя быть восприимчивым, слова эти полны для меня самого важного смысла. Но если я не желаю быть восприимчивым, эти слова для меня – в каком бы порядке я их ни выстраивал – чистейшая ерунда.

Уилл усмехнулся сдержанным смешком гиены.

– Да, – согласилась миссис Нараян, – каждый, если захочет, может дурно отзываться даже о самых прекрасных впечатлениях. Вопрос в том, на какой основе осуществляется выбор. Отчего человек не желает выслушать обе стороны и привести их к согласию? Связанный привычкой к анализу создатель концепций и чуткий, пассивный вбиратель впечатлений – ни один из них не обладает непогрешимым методом, но сотрудничество их необычайно плодотворно.

– Насколько действенно ваше обучение восприятию? – поинтересовался Уилл.

– Существуют различные степени восприимчивости, – ответила миссис Нараян. – Для усвоения естественных наук, например, ее требуется совсем немного. Занятия естествознанием начинаются с наблюдений, но наблюдения эти избирательны. Вы смотрите на мир сквозь сетку искусственных концепций. Во взгляде, который дает мокша-препарат, концепции отсутствуют. Вы не отбираете и не классифицируете свой опыт, но принимаете

его. Как в стихотворении Вордсворта: «Приноси с собой сердце, которое наблюдает и принимает». На уроках «построения моста» детям все еще приходится отбирать материал и строить концепции, но не в той мере, как на предыдущих занятиях. Дети не превращаются вдруг в маленьких татхагат. Они не приходят еще к тому чистейшему восприятию, которое дает мокша-препарат. До этого еще далеко. Но они учатся спокойному отношению к наименованиям и понятиям. Какое-то время они принимают больше, чем отдают.

– И что вы велите им делать с тем, что они принимают?

– Мы попросту просим их, – с улыбкой ответила миссис Нараян, – попытаться осуществить невозможное. Детям предлагают перевести их опыт в слова. В качестве простой, не стиснутой концепциями данности, что представляют собой этот цветок, эта препарированная лягушка, звезда на том конце телескопа? Что они значат? Какие пробуждают мысли, чувства, мечты, воспоминания? Попытайтесь изложить это на бумаге. Конечно, вполне это у вас не получится, но все равно попытайтесь. Это поможет вам понять разницу между словами и поступками, между знанием о вещах и знанием вещей. А когда вы кончите писать, – говорим мы детям, – взгляните снова на цветок, а затем на две-три минуты закройте глаза. А потом нарисуйте, что вы увидели с закрытыми глазами. Нарисуйте, что бы это ни было, пусть даже очень непохожее. Нарисуйте то, что увидели – или не увидели, нарисуйте и, если хотите, раскрасьте красками или мелками. А потом, немного отдохнув, сравните ваш первый рисунок со вторым; сравните ваше научное описание цветка с тем, что вы написали, представляя, будто никогда ничего не знали о цветах и этот цветок явился вдруг неожиданно из голубизны, как разрешение заглянуть в некую тайну. Сравните свои рисунки и записи с рисунками и записями других девочек и мальчиков в классе; вы увидите, как схожи между собой аналитические описания и иллюстрации к ним; тогда как прочие записи и рисунки сильно отличаются друг от друга. Как все это соотносится с тем, что вы узнаете в школе, дома, в лесу, в храме? «Мосты» необходимо наводить во всех направлениях. Начинаешь с ботаники или других предметов школьного курса – и вдруг оказываешься на другом конце «моста», размышляя о природе языка или разных видах опыта, о метафизике или образе жизни, об аналитическом знании или мудрости Иного Берега.

– Но как же, – удивился Уилл, – научить всему этому учителей, которые, в свою очередь, учат детей «строить мосты»?

– Учителей мы стали обучать сто с лишним лет назад, – ответила миссис Нараян. – Классы набирались из юношей и девушек, обученных в паланезийской традиции: хорошие манеры, агрикультура, искусства и ремесла, да еще заимствованная из фольклора медицина, психология и биология по бабушкиным сказкам и вера в магию. Ни науки, ни истории, никакого знания о внешнем мире. Но все эти будущие учителя были ревностными буддистами; большинство из них имели навыки в медитации; и конечно же, все читали или слышали о философии махаяны. Это значит, что в области метафизики и психологии они были подготовлены более основательно и реалистически, чем учителя в вашей части света. Доктор Эндрю – ученый, отрицающий догмы гуманист, – вдруг открыл для себя ценность чистой и практической махаяны. Друг его раджа, тантрический буддист, постиг, в свою очередь, ценность чистой и прикладной науки. Оба, следовательно, осознали, что учителю, который будет обучать детей гуманности в приспособленном для существования полнокровных человеческих личностей обществе, необходимо усвоить лучшее от обоих миров.

– Как же восприняли это будущие учителя? Не противились ли они новому учению?

Миссис Нараян покачала головой:

– Нет, потому что никто не посягал на их ценности. Буддизм воспринимался с уважением. Требовалось отбросить лишь бабушкины сказки. Взамен юноши и девушки познакомились с куда более интересными фактами и теориями. И с этими замечательными познаниями, полученными из западного мира – мира знаний, силы и прогресса, – сочетались теперь, и в какой-то мере подчинялись им, теории буддизма и факты прикладной психологии

и метафизики. И в этой программе, вобравшей в себя лучшее от обоих миров, не было ничего, что могло бы оскорбить самых религиозно настроенных граждан.

– Интересно, как поведут себя наши будущие учителя, – помолчав, сказал Уилл, – сумеют ли они когда-нибудь все это освоить? Окажутся ли способны воспринять то лучшее, что дают оба мира?

– Почему бы и нет? Им не придется отказываться от того, что они почитают для себя важным. Нехристиане пусть продолжают размышлять над проблемами человеческими, а христиане – чтить Бога. Ничего не изменится, только Бог будет мыслиться имманентно, а человек – трансцендентно.

– И вы думаете, им легко будет принять эту перемену? – Уилл рассмеялся. – Вы оптимистка.

– Да, оптимистка, – сказала миссис Нараян, – по той простой причине, что, если подходить к решению трудностей разумно, реалистически, результаты вполне могут оказаться хорошими. Наш остров вселяет оптимизм. А теперь пойдёмте, заглянем в танцевальный класс.

Они пересекли тенистый внутренний двор и, толкнув вращающуюся дверь, услышали мерное биение барабана и визг дудки, вновь и вновь повторявшей мелодию из пяти звуков, смутно напомнившую Уиллу шотландские напевы.

– Это что, запись? – поинтересовался Уилл.

– Японский магнитофон, – кратко ответила миссис Нараян. Она открыла дверь, ведущую в просторный зал, где двое молодых бородачей и на удивление проворная немолодая дама в черном сатиновом трико учили около двадцати мальчиков и девочек быстрому танцу.

– Что это? – спросил Уилл. – Развлечение или урок?

– И то, и другое, а также прикладная этика. Вроде дыхательных упражнений, о которых мы недавно говорили, но гораздо эффективней.

– Затопчи его, затопчи! – пели дети в унисон, и их маленькие, обутые в сандалии ножки топали по полу. – Затопчи! – Последний яростный притоп, и дети, быстро снуя взад-вперед и крутясь, перешли к следующей части танца.

– Это «Танец ракшасы».

– Ракшасы? – переспросил Уилл. – Что это такое?

– Ракшаса – это такой демон, огромный и безобразный. Воплощение всех дурных человеческих чувств. «Танец ракшасы» – это способ выпускать опасные клубы пара, поднимающиеся от кипящих в нас гнева и обиды.

– Топчите сильнее, – воскликнула юркая пожилая дама, яростно топая ногой. – Сильней, сильней!

– Что важней с точки зрения морали и благоразумия – вакхические оргии или «Республика»? «Никомахова этика» или пляски корибантов?

– Греки были слишком здравомыслящими, чтобы ставить вопрос: «или» – «или». Для них все было: «не только, но также и». Не только Платон и Аристотель, но также и менады. Без этих снимающих напряжение танцев моральная философия не имеет силы, тогда как без моральной философии не знаешь, как танцевать «Танец ракшасы». Мы позаимствовали страницу из старой греческой книги, только и всего.

– Очень хорошо! – с одобрением отозвался Уилл. Но, вспомнив (как вспоминал он рано или поздно, каким бы острым ни было его наслаждение и каким бы искренним ни был энтузиазм), что он никогда не говорит в ответ «да», Уилл рассмеялся: – В конце концов, здесь нет никакой разницы. Пляски корибантов не помешали грекам перерезать друг другу горло. И когда полковник Дайпа начнет наступление, спасет ли вас «Танец ракшасы»? Он поможет вам примириться со своей участью, только и всего.

– Да, только и всего, – согласилась миссис Нараян. – Но уметь мириться с собственной судьбой – это уже величайшее достижение.

– Вы так спокойно все воспринимаете.

– А какой толк в истерике? Политическая ситуация вряд ли бы улучшилась, но наше

внутреннее состояние стало бы намного хуже.

– Затопчи его, затопчи, – вновь запели дети, и доски пола задрожали от топота. – Затопчи его, затопчи!

– Не думайте, – продолжала миссис Нараян, – что это единственный танец, которому мы учим. Отводить энергию дурных чувств, конечно же, очень важно. Но не менее важно умение выражать добрые чувства и истинные мысли. Выразительные движения, в данном случае – выразительные танцевальные жесты. Если бы вы пришли вчера, я показала бы вам урок мастера, который преподает в нашей школе. Но, к сожалению, сегодня его нет. Он приедет к нам опять не ранее чем во вторник.

– Какого рода танцам учит он?

Миссис Нараян попыталась описать. Никаких прыжков, никаких быстрых движений. Ноги прочно стоят на земле. Только наклоны и волнообразные движения коленей и бедер. Вся выразительность заключается в руках, от кончиков пальцев до плеч; важны также движения головы, мимика и особенно – выражение глаз. Движения от плеч вверх и в стороны не только красивы, но и полны символического смысла. Мысль заимствует очертания ритуального и стилизованного жеста. Тело превращается в иероглиф, в ряд иероглифов-поз, переходящих от одного значения к другому, подобно стихотворению или музыкальной пьесе. Движения мускулов представляют движение сознания, переход от Тождественного во Многое, и от Многого – к присутствующему повсюду Единому.

– Это медитация в действии, – заключила она. – Метафизика махаяны, выраженная не словами, но символическими движениями и жестами.

Они вышли из зала через другую дверь в короткий коридор.

– Что у нас следующим номером? – спросил Уилл.

– Младший четвертый, – ответила миссис Нараян. – У них сейчас урок элементарной прикладной психологии.

Она открыла зеленую дверь.

– Итак, теперь вы знаете, – услышал Уилл знакомый голос, – что боль терпеть необязательно. Вы сказали себе, что булавка не колется – и она не кололась.

Они вошли: Сьюзила, очень высокая по сравнению с сидящими в классе детьми – и пухленькими, и худыми, – стояла посреди комнаты.

– Боль терпеть необязательно, – повторила она, – но не забывайте: боль возникает, когда что-то не в порядке. Теперь вы умеете избавляться от боли, но не делайте этого необдуманно, спросите себя прежде: какова причина боли? И если что-то не в порядке, или причина неясна, скажите маме, что у вас что-то болит, или учителю, или любому взрослому. И только тогда убирайте боль. Только когда знаете, что все необходимое будет сделано. Вы поняли? А теперь, – продолжала она, ответив на все заданные ей вопросы, – мы немного поиграем. Закройте глаза и представьте, что вы видите старого беднягу минаха с одной ногой, который каждый день прилетает к нам в школу, чтобы его покормили. Видите его?

Конечно, они его видели. Калека минах, очевидно, был их закадычным другом.

– Видите так же ясно, как сегодня утром, во время ленча. Не надо смотреть с напряжением – просто глядите на то, что перед вами, окиньте его взглядом – от клюва до хвоста, от блестящего, круглого маленького глаза до оранжевой единственной ноги.

– Я слышу его, – вмешалась маленькая девочка. – Он говорит: «Каруна, каруна!»

– Неправда, – возмущенно перебил ее другой ученик. – Он говорит: «Внимание!»

– Он говорит и то, и другое, – уверила их Сьюзила, – и еще много чего. Но продолжайте представлять. Представьте, что перед вами два одноногих минаха. Три одноногих минаха. Четыре одноногих минаха. Видите их всех?

Да, они видели их всех.

– Четыре одноногих минаха в четырех углах квадрата, и пятый посередине. А теперь поменяйте их окраску. Вот сейчас они белые. Пять белых желтоголовых минахов с оранжевой ногой. А теперь головы стали голубыми, ярко-голубыми, а остальное туловище – розовым. Пять розовых птиц с голубыми головками. Но они продолжают менять цвет.

Сейчас они пурпурные. Пять пурпурных белоголовых птиц с бледно-зеленой ногой. Ах, да что такое! Их уже не пять, их десять. Нет – двадцать, пятьдесят, сто. Около тысячи! Вы видите их?

Некоторые дети видели без малейшего затруднения, а для тех, кто не мог увидеть всю стаю, Сьюзила дала задание попроще.

– Пусть их будет хотя бы двенадцать, – сказала она, – десять, даже восемь. Восемь – это очень много минахов. А теперь, – сказала она, после того как дети вызвали всех пурпурных минахов, кто сколько смог сотворить, – теперь пусть они улетают. – Она захлопала в ладоши. – Прочь! Все до единого! Никого не осталось. А теперь вы видите не минахов, а меня. Я одна, в желтом. А теперь меня две – в зеленом. Три – в голубом, в розовую крапинку. А теперь четыре – и все в ярко-красном. – Она захлопала в ладоши. – Все пропали. И появилась миссис Нараян и ее забавный спутник с ногой в лубках. Каждого по четыре. А теперь они все в зале, встали в большой круг. И танцуют «Танец раکشасы».

– Затопчи его, затопчи!

Послышался дружный смех. Несколько танцующих Уиллов и миссис Нараян выглядели довольно потешно. Сьюзила щелкнула пальцами.

– Прочь! Исчезли! А теперь вы видите своих пап и мам – по трое пап и по три мамы – и все они бегут по игровому полю. Быстрее, быстрее, быстрее! Вдруг все исчезли. А вот опять появились. Исчезли. Появились, исчезли... Появились, исчезли...

Хихиканье переросло в громкий хохот с взвизгиваниями, и наконец прозвенел звонок. Урок элементарной практической психологии закончился.

– Зачем нужны эти игры? – спросил Уилл, когда дети убежали поиграть, а миссис Нараян вернулась к себе в кабинет.

– Нужно понимать, – ответила Сьюзила, – что мы не полностью подвластны своей памяти и воображению. Если нам доставляют неприятности наши мысленные образы, мы должны как-то себе помочь. Показать, как это делается, и отработать на практике не сложнее, чем научить письму или игре на флейте. Сначала детей учат простейшим приемам (это вы только что видели), которые методично переходят в систему приемов освобождения. Освобождение, конечно же, неполное. Но ломать хлеба лучше, чем совсем ничего. Эта техника не приведет вас к раскрытию природы Будды, но поможет подготовиться к этому раскрытию, освобождая от преследования призраков, от бесполезных сожалений и тревог о будущем.

– Призраки, – повторил Уилл, – да, это хорошее слово.

– Никто не обязан терпеть эти навязчивые идеи. От некоторых из них освободиться довольно легко. Как только они появятся, дайте работу своему воображению. Поступайте с ними, как с минахами или с четверкой миссис Нараян. Поменяйте им платье, приставьте другой нос, уменьшите их количество, прогоните, верните и заставьте проделать что-нибудь смешное. А потом уничтожьте. Подумайте только, как бы вы могли обойтись со своим отцом, если бы вас в детстве научили подобным штучкам! Вы воспринимали его как чудовище. Но в этом не было необходимости. Страшного великана-людоеда можно было превратить в смешного карлика. В целое сборище нелепых карликов. Двадцать карликов могли бы танцевать, притопывая, и петь: «Мне снился мраморный дворец...» Несколько уроков элементарной практической психологии – и вся ваша жизнь сложилась бы иначе.

А как бы ему следовало обойтись в своем воображении с погибшей Молли, подумал Уилл, когда они приближались к припаркованному джипу; при помощи каких упражнений избавиться от белокожего, пахнущего мускусом суккуба, воплощения самых безумных и мучительных его желаний?

Но вот они подошли к джипу. Уилл передал Сьюзиле ключи и с трудом уселся на заднее сиденье. Вдруг они услышали громкий треск: на дороге появилась трясущаяся, словно в невротических конвульсиях, старая машина. Поравнявшись с джипом, она остановилась, все еще дрожа и лязгая.

Они обернулись. Муруган высунулся из окна королевского «бейби остин». Рядом с

юношей, окутанная белым муслином, вздымаясь, будто облако, сидела рани. Уилл поклонился и был награжден самой милостивой улыбкой, которая угасла, едва только рани перевела взгляд на Сьюзилу. На приветствие своей подданной рани ответила довольно сдержанным кивком.

– Собрались прогуляться? – спросил Уилл.

– Не дальше чем в Шивапурам, – ответила рани.

– Если эта проклятая колымага прежде не развалится, – с горечью добавил Муруган. Он повернул ключ зажигания. Мотор в последний раз непристойно громко икнул и заглох.

– Нам надо кое-кого навестить, – сказала рани. – Одного знакомого, – добавила она с загадочной улыбкой и еле заметно подмигнула Уиллу. Уилл, притворившись, будто не понимает, что речь идет о Баху, с равнодушным видом пожелал ей доброго пути, посочувствовав хлопотам, предстоящим в связи с празднованием совершеннолетия сына.

– А что вы здесь делаете? – перебил его Муруган.

– Сегодня утром я провел несколько часов в школе, чтобы получить представление о паланезийском образовании.

– Паланезийское образование... – Рани горестно покачала головой. – Паланезийское... – Она выдержала паузу: – Образование.

– Что касается меня, – сказал Уилл, – мне понравилось все, что я увидел и услышал, начиная с мистера Менона и директора школы миссис Нараян и кончая уроком элементарной прикладной психологии, – добавил он, пытаясь вовлечь в разговор Сьюзилу. – Этот предмет преподает миссис Макфэйл. – Рани, не замечая Сьюзилу, указала толстым пальцем на пугала в поле.

– А это вы видели, мистер Фарнеби?

– Конечно, видел. И где еще, кроме Палы, – спросил он, – пугала одновременно красивы, действенны и полны метафизического смысла?

– И не только отпугивают птиц от рисового поля, но так же и детей от идеи Бога и его Аватар, – с мрачным видом добавила рани. Она подняла руку: – Послушайте!

Том Кришна и Мэри Сароджини весело играли вместе с другими ребятами, дергая за бечевки сверхъестественные пугала. Звонкие голоса детей звучали в унисон. Прислушавшись, Уилл разобрал слова песенки: «Гра-ля-ля, за веревку дерг – и в ответ Боги запляшут, а небо – нет».

– Bravo! – воскликнул Уилл и рассмеялся.

– Боюсь, что мне не смешно, – строго сказала рани. – Это не забава, но трагедия.

Но Уилл не отступал.

– Насколько мне известно, – проговорил он с улыбкой, – эти очаровательные пугала – изобретение прадедушки Муругана.

– Прадед Муругана, – сказала рани, – был выдающимся человеком. Выдающийся ум, но склонный к ужасающим заблуждениям. Величайшие дары – увы! – были использованы превратно. Но самое худшее то, что он был полон Ложной Духовности.

– Ложной Духовности? – Уилл пристально взглянул на образчик Истинной Духовности и сквозь вонь разогретых нефтепродуктов ощутил фимиамоподобный, надмирный аромат сандалового дерева. – Ложной Духовности? – Уилл вдруг задумался, и не без содрогания попытался представить, как будет выглядеть рани, если с нее совлечь мистическую униформу и выставить на свет такой, какова она есть: пышнотелая, с огромным курдюком? А потом превратить ее в трицу голых толстух; в две, в десять триц. Применение практической психологии – в целях мести!

– Да, Ложной Духовности, – повторила рани. – Которая говорит об освобождении, но, упрямо отказываясь идти истинным Путем, запутывается в еще более крепких Узах. Он разыгрывал смирение. Но в сердце своем был полон гордыни. Он отказывался признать над собой Высшего Духовного Властителя, мистер Фарнеби. Учителя, Аватары, Великая Традиция – все это было для него ничто. Совершенное ничто. Отсюда эти ужасные пугала. Отсюда эта кощунственная песенка, которой обучили детей. Стоит мне только подумать о

невинных бедняжках, которых не перестают развращать, я едва могу сдерживаться, мистер Фарнеби, я едва...

– Послушай, мама, – сказал Муруган, нетерпеливо поглядывавший на часы. – Если ты не хочешь опоздать к обеду, надо ехать.

В тоне его неприкрыто зазвучали властные нотки. Находясь за рулем автомобиля, пусть даже такого, как этот дряхлый «бейби остин», юноша чувствовал себя необыкновенно значительным. Не дожидаясь ответа, он завел мотор, включил первую передачу и, помахав, отъехал.

– Скатертью дорога! – пожелала Сьюзила.

– Вы не любите свою дорогую рани?

– У меня от ее присутствия кровь вскипает.

– Затопчи ее, затопчи, – поддразнивая, пропел Уилл.

– Ваш совет хорош, – засмеялась Сьюзила. – Но бывают случаи, когда «Танец ракшасы» не годится.

Вдруг лицо ее осветилось озорной улыбкой и без всякого предупреждения она довольно сильно ткнула своего собеседника в ребро.

– Готово! – сказала она. – Теперь я чувствую себя лучше.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сьюзила завела мотор, и они поехали – сначала вниз, к объезду, а потом вверх, мимо другого конца деревни по направлению к Экспериментальной станции. Сьюзила остановилась возле небольшого бунгало под соломенной крышей. Преодолев шесть ступеней, они вошли на веранду и затем – в комнату с выбеленными стенами.

Налево, у широкого окна, висел гамак, прикрепленный к деревянным столбам по обе стороны ниши.

– Это для вас, – указала Сьюзила на гамак, – ногу можно положить повыше, чтобы устроиться поудобней.

Когда Уилл расположился в гамаке, она пододвинула плетеный стул и, сев рядом, спросила:

– О чем будем беседовать?

– О добре, красоте и истине? Или, может быть, – он усмехнулся, – о злом, безобразном и еще более истинном?

– Мне кажется, – сказала она, игнорируя его попытку острить, – мы можем продолжить наш прошлый разговор. Мы тогда говорили о вашей жизни.

– Да, именно это я имел в виду, предлагая поговорить о дурном, безобразном и еще более истинном.

– Вы демонстрируете манеру речи, или действительно желаете поговорить о себе?

– Да, мне этого отчаянно хочется, – уверил Уилл собеседницу. – Хочется говорить о себе настолько отчаянно, что я предпочитаю молчать. Отсюда, как вы, вероятно, заметили, мой неослабевающий интерес к искусству, науке, философии, политике, литературе – к чему угодно, только не к тому единственному, что действительно важно.

Они долго молчали. Потом, будто случайно вспомнив, Сьюзила заговорила о соборе в Уэльсе, о галках и белых лебедях, плывущих поверх отраженных в воде облаков. Вскоре Уилл ощутил, что он тоже плывет куда-то.

– Я чувствовала себя очень счастливой, пока жила в Уэльсе, – проговорила Сьюзила, – на удивление счастливой. Вы, наверное, тоже были там счастливы?

Уилл ничего не ответил. Он вспоминал о днях, проведенных в зеленой долине много лет назад, еще до того, как он и Молли поженились, до того, как они стали любовниками. Какое спокойствие! Какой целостный, живой, не тронутый червями мир свежей травы и цветов! Там он вновь почувствовал себя юным, как когда-то, еще при жизни тети Мэри. Она была единственной, кого он действительно любил – и теперь в Молли он нашел ее

преемницу. Какое благословение! Любовь приобрела иное звучание, но мелодия, богатая и тонкая, была та же. А потом, в четвертую ночь, Молли постучала в стенку, разделявшую их комнаты; дверь ее оказалась незапертой и в темноте он нашел путь к ее кровати – Где Сестра Милосердия, добросовестно обнажившись, попыталась сыграть роль Пылкой Супруги – и потерпела катастрофический провал.

Внезапно, как это бывало едва ли не каждый день, послышалось громкое завывание ветра, и дождь яростно забарабанил по листве. Через несколько секунд капли громко застучали по стеклу. И также стучали они в окна, когда в своем кабинете он разговаривал с Молли в последний раз.

– Ты действительно этого хочешь, Уилл?

Боль и стыд заставили его вскрикнуть. Он закусил губу.

– О чем вы думаете? – спросила Сьюзила. Но он не просто думал. Он видел Молли, слышал ее голос.

– Ты действительно этого хочешь, Уилл?

И сквозь шорох дождя он услышал собственный ответ:

– Да, я так хочу.

Яростный стук дождя в стекла – здесь, или там? – чуть поутих и перешел в шорох.

– О чем вы думаете? – настаивала Сьюзила.

– О том, что я сделал с Молли.

– И что же вы сделали с Молли?

Уилл по-прежнему не отвечал, но Сьюзила не отступалась:

– Скажите мне, что вы с ней сделали.

Окна задрожали от резкого порыва ветра. Дождь полил с новой силой – еще более яростный, чем прежде; казалось, он шел лишь затем, чтобы пробудить нежелательные воспоминания и принудить к рассказу о постыдных вещах, о которых любой ценой следовало молчать.

– Расскажите.

С неохотой, преодолевая себя, Уилл начал рассказывать.

– Ты действительно хочешь этого, Уилл?

Да, из-за Бэбз – Господи, помилуй! – из-за Бэбз, хотя это просто невероятно! – ему действительно хотелось, чтобы Молли ушла – и она ушла в дождь.

– В другой раз я увидел ее уже в больнице.

– И все еще шел дождь?

– Да, шел дождь.

– Такой же сильный?

– Да, почти такой же.

Нет, это не шум тропического ливня, но упорный стук лондонского летнего дождя в окна маленькой больничной палаты, где лежала умирающая Молли.

– Это я, – сказал он сквозь шум дождя, – Уилл.

Никакого отклика; и вдруг рука Молли, которую он держал, слегка шевельнулась в его руке. Едва заметное усилие и, через минуту, полная безжизненность.

– Повтори все это снова, Уилл.

Он покачал головой. Это было слишком больно, слишком унижительно.

– Повтори снова. Это единственно возможный путь.

Сделав над собой громадное усилие, он заставил себя пересказать с самого начала всю эту ненавистную историю. Хотел ли он этого действительно? Да, хотел; хотел сделать ей больно; возможно, даже хотел ее смерти. Все ради Бэбз – или пусть мир рухнет. Но, конечно же, не его мир, а мир Молли, вместе с жизнью, которая создала ее мир. Ему хотелось разрушить этот мир ради изысканного аромата в темноте, ради мускульных рефлексов, ради непомерного наслаждения, ради всех этих совершеннейших и одурающе бесстыдных приемов.

– До свидания, Уилл. – Дверь закрылась с тихим, сухим щелчком.

Уилл хотел вернуть ее. Но любовнику Бэбз припомнились приемы и рефлексы, запах мускуса и агония блаженства. Стоя у окна и вспоминая все это, он смотрел, как машина поехала под дождем и свернула за угол. Постыдное торжество овладело им! Наконец-то он свободен. Свободней и быть нельзя, как выяснилось через несколько часов в больнице. Слабое пожатие пальцев было последней весточкой любви. И вдруг сообщение оборвалось. Рука безжизненно замерла, и – к его ужасу – дыхание прекратилось.

– Умерла, – прошептал он, чувствуя, что задыхается, – умерла.

– Предположим, здесь вашей вины не было, – сказала Сьюзила, нарушая долгое молчание. – Предположим, Молли умерла неожиданно, без вашего ведома. Разве это не было бы так же ужасно?

– Что вы имеете в виду? – спросил Уилл.

– Я думаю, чувство вины – это не главное. Смерть, смерть как таковая – вот что вас ужасает. – Сьюзила подумала о гибели Дугалда. – Непостижимое зло.

– Бессмысленное, – повторил он. – Вот почему мне пришлось стать профессиональным наблюдателем экзекуций. Именно потому, что это бессмысленнейшая, совершенно чудовищная жестокость. Следовать за запахом смерти из одного конца планеты в другой. словно гриф. Милые, довольные жизнью люди даже не подозревают, что представляет собой мир. Не только во время войны, но всегда. Всегда.

Пока он говорил, перед ним быстро, словно перед утопающим, промелькнули все те ненавистные сцены, свидетелем которых он оказался, за приличное вознаграждение путешествуя по кругам ада и скотобойням достаточно отвратительным, чтобы согдиться для раздела новостей. Южноафриканские негры, человек в газовой камере в Сан-Квентине, изрубленные тела алжирских фермеров, и повсюду толпы, повсюду полиция и парашютно-десантные части, и темнокожие дети с ногами, тонкими, как палки, с огромными животами и мухами, ползающими по воспаленным векам; повсюду тошнотворные запахи голода и нищеты, ужасающее зловоние смерти. И вдруг, сквозь тлетворный запах смерти, он ощутил мускусный аромат Бэбз. Уилл вдохнул его, и ему вспомнилась шутка насчет химического состава чистилища и рая. Чистилище – это тетраэтилен диамин и сульфурный водород, а рай – и это совершенно точно – симтринитропсидбутилтолуэн, с рядом органических примесей. (Ха-ха-ха! – ох уж эти прелести светской жизни.) И вдруг запахи любви и смерти сменились грубым животным запахом: запахло псиной. Вновь с порывом ветра усилился напор дождя, застучавшего по рамам.

– Вы все еще думаете о Молли? – спросила Сьюзила.

– Мне вспомнилось то, о чем я почти совсем уже позабыл, – ответил Уилл. – Мне было года четыре, когда все это случилось, и вот теперь я опять об этом вспомнил. Бедняга Тигр.

– Что еще за бедняга Тигр?

Тигр – так звали красивого рыжего сеттера. Тигр – единственный источник радости в доме, где проходило детство Уилла. Тигр, милый, милый Тигр. Посреди страха и унижения, меж полярными противоположностями – отцом, презирающим всех и вся, и мать, поглощенной собственной жертвенностью, – какая доброжелательность без усилий, какое непринужденное дружелюбие! Как он прыгал и лаял от неукротимой радости. Мать, бывало, сажала сына на колени, рассказывала ему о Боге-Отце и Иисусе. Но в Тигре было больше Бога, чем во всех библейских сказаниях, вместе взятых. Тигр, в отношении к нему, Уиллу, как бы представлял собой воплощение Бога. И вдруг это Воплощение подхватило однажды собачью чуму.

– А что было потом? – продолжала расспрашивать Сьюзила.

– Помню: он лежит в своей корзине на кухне, а я стою рядом на коленях. Я погладил его, но шерсть не была уже такой шелковистой, как до болезни. Она слиплась и дурно пахла. Запах был настолько отвратителен, что я бы непременно ушел, если бы не был так сильно привязан к собаке. Но я любил Тигра – никого я не любил тогда так крепко. И я гладил его, приговаривая, что он скоро поправится. Совсем скоро – может быть, завтра утром. И вдруг собаку забила дрожь, а я пытался остановить ее, сжав голову Тигра руками. Но это не

помогало. Дрожь перешла в конвульсии. Я не мог смотреть на них без тошноты, не говоря уж об испуге. Мне было очень страшно. Внезапно конвульсии прекратились, и собака замерла неподвижно. Я поднял голову пса, но она упала с глухим стуком, будто кусок дерева.

Голос Уилла прервался, слезы потекли по щекам, а плечи затряслись от рыданий: четырехлетний мальчик изливал горе по своей собаке, потрясенный ужасным, необъяснимым фактом смерти. Но сознание резко, словно переключив передачу, вернуло его к действительности. Он снова почувствовал себя взрослым: ощущение того, что он плывет, куда-то исчезло.

– Простите. – Он вытер глаза и высморкался. – Да, таково было мое первое знакомство со Вселенским Ужасом. Тигр был моим другом, моим единственным утешением. Вот этого-то Вселенский Ужас и не смог потерпеть. И так же получилось с моей любимой тетей Мэри. Ее единственную я действительно любил и искренне восхищался ею; ей одной мог доверять. Но – Иисусе! – что же сделал с ней Вселенский Ужас!

– Расскажите, – потребовала Сьюзила. Уилл в замешательстве пожал плечами.

– Почему бы и нет? – спросил он. – Мэри Фрэнсис Фарнеби, младшая сестра моего отца. Она вышла замуж за солдата как раз перед началом первой мировой войны. Ей тогда было восемнадцать, и они с Фрэнком были очень счастливы! – Уилл хохотнул. – И за пределами Палы встречаются довольно приличные острова. Крохотные атоллы, а подчас и роскошный Таити, – и они всегда окружены Вселенским Ужасом. Но эти двое чувствовали себя счастливыми на своей собственной Пале. А потом, в одно прекрасное утро, а именно 4 августа 1914 года, Фрэнк отправился за море со своим полком, а в Рождество Мэри родила уродца: бедное дитя умерло не сразу, словно бы желало убедить свою мать, на что способен Вселенский Ужас, если он хорошо постарается. Только Бог способен сотворить идиота-микроцефала. Через три месяца Фрэнка ранило куском шрапнели, и он умер в больнице от гангрены. Но все это, – заключил Уилл, немного помолчав, – произошло до моего рождения. Тетю Мэри я впервые увидел в двадцатых годах; тогда она уже активно занималась помощью престарелым. Старики и старухи в богадельнях, старики и старухи, сидящие взаперти у себя дома; старые развалины, которые никак не желали умирать и все жили и жили, обременяя своих детей и внуков. Этакие струльдбруги или тифоны. Но чем безнадежней была немощность, чем капризней и сварливей характер, тем лучше было для тети Мэри. Ребенком я ненавидел ее подопечных. От них дурно пахло, они были ужасающе отвратительны, невыносимо скучны и придирчивы. Но тетя Мэри искренне любила их – любила несмотря ни на что. Моя мать, бывало, часто рассуждала о христианском милосердии; но никто не верил тому, что она говорила, так как ощущалось, что вся ее жертвенность проистекает из чувства долга. Но в тете Мэри невозможно было усомниться: она лучилась любовью, почти что физически ощутимой, как тепло или свет. Когда она брала меня с собой в деревню или – позднее – жила с нами в городе, я чувствовал себя так, как словно мне удалось выбраться из темного, холодного погребка на солнечный свет. Я оживал, согреваемый ее теплом. Но тут снова вмешался Вселенский Ужас. Поначалу она пыталась представить все как шутку. «Теперь я – амазонка», – сказала она после первой операции.

– Почему амазонка? – спросила Сьюзила.

– Амазонки ампутировали себе правую грудь, чтобы она не мешала им стрелять из лука. Они были воительницы. «Теперь я – амазонка», – повторил Уилл, словно увидел вновь улыбку на ее отважном лице и услышал нотку удовольствия в чистом, звенящем голосе. – Но через несколько месяцев отняли вторую грудь. И затем, после рентгеновского облучения и тошноты, началась медленная деграция. – Уилл жестко усмехнулся. – Это было бы смешно, если бы не было так ужасающе. Какая мастерская ирония! Ведь этой душе были присущи доброта, любовь, милосердие. И вдруг, по никому не ведомой причине, все пошло насмарку. Частичка ее тела подчинилась второму закону термодинамики, вместо того, чтобы бросить ему вызов. И по мере разрушения тела душа утрачивала свои добродетели, свою сущность. Героизм оставил ее, любовь и доброта испарились. В последние месяцы жизни

моя тетушка уже не была той тетей Мэри, которую я любил и перед которой благоговел; она стала совершенно иной и даже похожей (и в том-то и состояла злейшая ирония!) на самых дряхлых, самых вредных стариков, которым когда-то служила поддержкой. Она была унижена, низведена до самого жалкого положения и обречена на медленную, мучительную смерть в одиночестве. Да, в одиночестве, – подчеркнул Уилл, – потому что нельзя помочь умирающему, нельзя, даже присутствуя при этом. Конечно, люди могут стоять рядом с больным или умирающим, но они находятся в другом мире. Умирающий совершенно одинок. Одинок в своих страданиях и смерти, как был он одинок в любви даже при максимальном взаимном удовольствии.

В воспоминаниях Уилла слились ароматы Бэбз и запах псины, и к ним примешивался запах больной тети Мэри – в те месяцы, когда рак прогрыз дыру в печени, и тело больной пропиталось тяжелым запахом разлагающейся крови. И вместе с этими запахами, отравлявшими его и вызывавшими тошноту, Уиллу припомнилось чувство безысходного одиночества, которое он испытывал, будучи ребенком, юношей, взрослым.

– Но самое главное, – сказал Уилл, – то, что ей был только сорок один год. Она не хотела умирать. Она отказывалась понять, что с ней случилось. Вселенский Ужас уволок ее во тьму, применив грубую силу. Я был свидетелем того, как это случилось.

– И потому вы стали человеком, который в ответ не говорит «да»?

– Как можно говорить в ответ «да»? – запротестовал Уилл. – «Да» – это всего лишь намерение, всего лишь качество позитивного мышления. Факты – основополагающие, неопровержимые факты учат говорить «нет». Душа? Нет. Любовь? Нет. Здравый смысл, рассудок, достижения? Нет!

В Тигре жизнь была через край, он был весел, он вмещал в себе Бога. Но Вселенский Ужас превратил его в грудку мусора, который ветеринар, за плату, вынес из дома. А за Тигром последовала тетя Мэри. Изувеченная, замученная, она тоже превратилась в грудку мусора, только вместо ветеринара нанимали гробовщика, а потом и священника, который уверил собравшихся, что все «о'кей», если принять событие не буквально, но постичь его возвышенный смысл. Двадцать лет спустя другой священник произнес подобную же чепуху над гробом Молли. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» Уилл хохотнул коротко, как гиена.

– Что за безупречная логика. Какое здравомыслие, какая этическая утонченность!

– Но ведь вы человек, для которого «да» – не ответ. Откуда же возражения?

– Конечно, возражать не следует, – согласился Уилл. – Но ведь сохраняется же эстетическое чувство. «Нет» следует высказывать красиво. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». – Уилл с отвращением поморщился.

– Что ж, – сказала Сьюзила, – в некотором смысле совет превосходен. Есть, пить, умереть – это три основных проявления универсальной, внеличностной жизни. Животные пьют, едят и умирают, не задумываясь над этим. Обыкновенные люди задумываются, но отказываются жить только этим. Но просветленные всецело принимают это. Они едят, пьют и умирают, но делают это особым образом.

– И потом воскресают из мертвых?

– Это один из вопросов, которые Будда отказывался обсуждать. Можно верить в вечную жизнь, но это не поможет вам стать вечным. Не поможет и неверие. И потому отбросьте все споры (таков совет Будды) и принимайтесь за работу.

– А что это за работа?

– Труд, которым обязан заниматься всякий – достижение просветления. И предварительное занятие всеми видами йоги при постепенном углублении осознания.

– Но мне не хочется становиться более сознательным, – сказал Уилл. – Я хочу знать как можно меньше. Поменьше знать об ужасах вроде смерти тети Мэри и трущоб Рендан-Лобо. Поменьше ужасных картин – и отвратительных запахов. Я не хочу помнить даже самых изысканных запахов, – добавил Уилл, вновь почувствовав сквозь вонь псины и отравленной

раком крови тончайшее благоухание розового алькова. – Я не хочу помнить ни о моих солидных доходах, ни о потрясающей нищете других. Я не хочу помнить о собственном великолепном здоровье среди океана малярии и нематод. Не хочу помнить о собственных стерильных сексуальных забавах посреди толп изможденных от голода детей. «Прости им, ибо не ведают, что творят». Какое блаженное состояние! К несчастью, я ведаю, что творю. Да, слишком хорошо знаю. И вы убеждаете меня, чтобы я осознал это еще лучше!

– Я не убеждаю вас, – сказала Сьюзила, – а просто привожу совет, который давали мудрецы от Гаутамы до старого раджи включительно. Начните с того, чтобы осознать, за кого вы себя принимаете. Я помогу вам.

Уилл пожал плечами:

– Каждый считает себя чем-то уникальным, центром всей вселенной! Но в действительности всякий представляет собой попросту небольшое препятствие неустанному процессу энтропии.

– Да, это первая половина послания Будды. Преходящесть, непостоянство души, непрерывное горе. Но Будда на этом не остановился: послание имеет вторую половину. Это временное замедление энтропии – чистейшая, неразбавленная Тождественность. Отсутствие неизменности в душе также является проявлением природы Будды.

– Отсутствие души – да, с этим легко совладать. Но что вы скажете о раке, о медленной деградации? О голоде, о перенаселенности, о полковнике Дайпе? Они также являются чистейшей Тождественностью?

– Конечно. Но, к сожалению, людям, которые вовлечены в это разнообразие зол, трудно обнаружить в них природу Будды. Для всеобщего просветления необходимы социальные реформы и предварительная подготовка.

– Но, несмотря на общественное здоровье и социальные реформы, люди все-таки умирают – даже на Пале, – иронически добавил Уилл.

– Вот почему следствием общественного благосостояния должна быть дхьяна – все йоги жизни и смерти, ибо вы должны знать, даже в предсмертной агонии, кем вы, несмотря на все, действительно являетесь.

На веранде послышались шаги, и детский голос позвал:

– Мама!

– Я здесь, дорогая, – обернулась Сьюзила. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала Мэри Сароджини.

– Мама, – выпалила она, задыхаясь, – они сказали, ты должна прийти сейчас же. Из-за бабушки Лакшми. Она...

Заметив Уилла, лежащего в гамаке, девочка осеклась:

– Ой! Я не знала, что вы здесь.

Уилл, ничего не говоря, помахал ей рукой. Девочка мельком ему улыбнулась и вновь обратилась к матери:

– Бабушке Лакшми вдруг стало очень плохо, а дедушка Роберт сейчас на Высокогорной станции, и они не могут ему дозвониться.

– Ты все время бежала?

– Да, но не там, где тропинки слишком крутые.

Сьюзила обняла и поцеловала девочку, а потом проворно и деловито поднялась со стула.

– Я иду к матери Дугалда, – сказала она.

– Она... – Уилл взглянул на Мэри Сароджини, а потом опять на Сьюзилу. – Является ли смерть табу? Можно ли упоминать об этом при ребенке?

– Умирает, вы хотите сказать?

Уилл кивнул.

– Мы все этого ждали, конечно, – сказала Сьюзила, – но только не сегодня. Сегодня утром ей было немного лучше. – Сьюзила покачала головой. – Что ж, мне надо идти, чтобы стоять рядом – даже находясь в другом мире. Хотя это, конечно, не другой мир. Не

настолько другой, как вам представляется. Нам придется прервать беседу, но, думаю, еще будет возможность поговорить. Кстати, что вы собираетесь делать? Можете остаться здесь. Или – хотите – я отвезу вас к доктору Роберту? Можно также поехать со мной и Мэри Сароджини в больницу.

– В качестве профессионального наблюдателя казней?

– Нет, но в качестве человеческого существа, которому необходимо знать, как жить и как умирать, – с чувством проговорила Сьюзила. – Необходимо знать так же, как и всем нам.

– А может, и более, чем всем остальным. Но не помешаю ли я?

– Тот, кто не мешает себе, не мешает и другим.

Она взяла его за руку и помогла выбраться из гамака. Две минуты спустя они уже ехали мимо пруда лотосов и огромного Будды, медитирующего под капюшоном кобры, и – мимо белого буйвола – через главные ворота Станции. Дождь кончился, и в зеленом небе огромные облака блистали, словно архангелы. Предзакатное солнце лучилось со сверхъестественной яркостью.

Soles occidere et redire possunt;
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille.³⁷

Вечерняя заря и смерть; смерть и поцелуи; поцелуи – и за ними рождение и смерть множества поколений, наблюдающих восходы и закаты.

– Что говорят умирающим? – спросил Уилл. – Им тоже велят поменьше задумываться о бессмертии и просто продолжать свое дело?

– Да, если вам угодно. Именно так им и говорят. В продолжении осознания и состоит искусство умирать.

– И вы учитесь этому искусству?

– Я бы определила это несколько иначе. Мы помогаем умирающим в искусстве жить. Понимать, кто вы в действительности, осознавать всеобщую, надличностную жизнь, которая выражает себя через нас, – вот в чем состоит искусство жизни. И мы помогаем умирающим именно в этом искусстве – до самого конца. А может быть, и после конца.

– После конца? – переспросил Уилл. – Но вы только что сказали, что умирающим не следует думать об этом.

– Да, им не надо об этом думать. Им предстоит пережить это как опыт, и наша задача состоит в том, чтобы помочь им. Если только, – заметила она, – внеличностная жизнь продолжается, когда личность умирает.

– А как вы сами считаете?

Сьюзила улыбнулась.

– Как я сама считаю, это неважно. Дело тут в моем внеличностном опыте – и при жизни, и в момент смерти, а возможно, и после смерти.

Машина подъехала к стоянке, и Сьюзила выключила мотор. Пешком они вошли в деревню. Рабочий день закончился, и на главной улице было столько народу, что они едва протискивались сквозь толпу.

– Я сначала сама туда пойду, – объявила Сьюзила. – А вы приходите через час. Но не раньше.

37

Пускай восходит день и меркнет тенью бледной.
Для нас, как краткий день зайдет за небосклон,
Настанет ночь одна и бесконечный сон.
Сто раз целуй меня...

Гай Валерий Катулл. «К Лесбии» (пер. А. А. Фета)

Ловко прокладывая путь среди гуляющих, Сьюзила вскоре исчезла из виду.

– Тебя оставили за старшую, – с улыбкой обратился Уилл к девочке. Мэри Сароджини с серьезным видом кивнула и взяла его за руку:

– Пойдем поглядим, что сейчас происходит на площади.

– Сколько лет твоей бабушке Лакшми? – спросил Уилл, пробираясь вслед за девочкой по многолюдной улице.

– Не знаю, – сказала девочка. – На вид очень много. Но, может быть, это потому, что она больна раком.

– А ты знаешь, что такое рак?

Мэри Сароджини знала все в точности.

– Это когда какая-то клетка забывает об остальных клетках тела и ведет себя как сумасшедшая – разрастается и разрастается, как если бы кругом никого не существовало. Иногда против этого можно что-то предпринять. Но чаще всего опухоль увеличивается до тех пор, пока человек не умирает.

– Это-то и случилось с вашей бабушкой Лакшми.

– И теперь необходимо помочь ей умереть.

– Твоя мама часто помогает людям при смерти?

– Да, у нее это здорово получается.

– Ты когда-нибудь видела, как умирают?

– Конечно, – ответила Мэри Сароджини, явно удивившись его вопросу. – Ну-ка, погодите. – Девочка произвела мысленный подсчет. – Я видела пять раз, как люди умирают. Шесть, если считать детей.

– В твоем возрасте я никогда не видел, как умирают.

– Ни разу?

– Только однажды при мне умерла моя собака.

– Собаки умирают легче, чем люди. Они не размышляют об этом заранее.

– Как ты себя чувствовала... глядя на умирающих?

– Умирать не так тяжело, как рожать. Вот это ужасно! Или, по крайней мере, выглядит так со стороны. Ведь женщины совсем не испытывают страданий. Им снимают боль.

– Ты, конечно, не поверишь, – пробормотал Уилл, – но я до сих пор не видел, как рожают детей.

– Ни разу не видели? – изумилась Мэри Сароджини. – Даже когда учились в школе?

Уилл представил себе хозяина пансиона в церковном облачении, ведущего три сотни одетых в черное мальчиков на экскурсию в родильную палату.

– Даже когда учился в школе.

– Вы никогда не видели, как умирают и как рожают детей. Как же вы учились жизни?

– В школе меня учили словам, а не жизни.

Девочка взглянула на него, покачала головой и, подняв маленькую коричневую руку, постучала пальцем по лбу.

– С ума сойти, – сказала она. – Неужто ваши учителя были такие глупые?

Уилл рассмеялся.

– Это были высоколбые ученые мужи, заявлявшие – *mens sana in corpore sano*³⁸ и призывавшие поддерживать наши возвышенные западные традиции. Но лучше расскажи мне что-нибудь. Ты никогда не испытывала страха?

– Когда видела, как рожают?

– Нет, как умирают. Смерть не пугала тебя?

– Да, мне было страшно, – помолчав, сказала девочка.

– Как же ты справлялась со своим страхом?

– Как меня учили: пыталась отыскать ту, кто во мне боится; и понять, почему она

³⁸ в здоровом теле здоровый дух (лат.)

испытывает страх.

– И кем же она оказалась?

– Вот, – Мэри Сароджини указала пальцем на свой рот, – это она, которая все время болтает. Маленькая мисс Тараторка, так называют ее Виджайя. Она постоянно болтает обо всех отвратительных вещах, которые я помню, и обо всем ужасном, удивительном и невозможном, что только я могу вообразить. Вот она и была испугана.

– Почему же она испугалась?

– Потому что она постоянно твердит о всяческих ужасах, которые могут с ней приключиться. Говорит вслух или про себя. Но есть и та, которая не боится.

– Кто же она такая?

– Та, которая не говорит, но смотрит, слушает и ощущает, что происходит внутри. А порой, – добавила Мэри Сароджини, – порой она вдруг видит, как прекрасно все вокруг. Нет, я не так сказала. Она видит это постоянно, но я это не вижу до тех пор, пока она не заставит меня взглянуть – и увидеть. Вот почему это случается так неожиданно. Я вдруг вижу, что все вокруг – прекрасно, прекрасно, прекрасно! Даже собачьи кучки. – Девочка указала на внушительную кучу почти у самых своих ног.

Узкая улочка вывела их на торговую площадь. Лучи заходящего солнца касались украшенного скульптурами храмового шпиля и розового бельведера крыши общественного здания, но на площади сгущались сумерки, а под шатром огромной индийской смоковницы была уже ночь. Рыночные торговки зажгли фонари – и на столах, и подвесные. В темной листве вдруг проступали очертания фигур и цветные пятна, возникало из небытия смуглое тело во всем своем великолепии, и так же неожиданно исчезало, растворялось в небытии. Пространство меж обеими постройками было полно отголосков английской и паланезийской речи, слышался смех, свист и крики, с которыми мешались лай собак и верещание попугаев. Пара минахов, усевшись на один из розовых бельведеров, призывала ко вниманию и сочувствию. Под открытым небом посреди площади готовилась пища: оттуда долетали аппетитные запахи. Пахло луком, перцем, куркумой, жареной рыбой, лепешками и вареным рисом, и сквозь эти крепкие, здоровые ароматы, как напоминание об Ином Береге, доносилось сладостное и утонченно-чистое благоухание многоцветных гирлянд на прилавках возле фонтана.

Стало совсем темно, и вдруг на проволоке, изогнутой в виде арки над площадью, зажглись большие фонари. Залоснилась медно-розовая кожа женщин, и на ней заиграли и замерцали, будто ожив, полированные ожерелья, кольца и браслеты. Льющийся вниз свет подчеркивал силуэты, делая каждую линию более резкой и значительной. Под глазами, носами и на щеках появились тени. Вылепленные игрой света и тьмы груди молодых казались полней, а лица старух – морщинистей и суше. Рука об руку Мэри Сароджини и Уилл прокладывали путь в толпе.

Пожилая женщина поздоровалась с Мэри Сароджини, а потом спросила у ее спутника:

– Это вы попали к нам из внешнего мира?

– Да, из совершенно запредельного мира, – уверил ее Уилл.

Женщина пристально взглянула на него, а затем улыбнулась и потрепала по щеке.

– Мы все беспокоимся о вас, – сказала она.

Они двинулись дальше и наконец подошли к толпе, собравшейся у ступеней храма, чтобы послушать молодого человека, который играл на похожем на лютию инструменте и пел по-паланезийски. Быстрая декламация перемежалась с длинным, напоминающим птичий свист напевом единственной гласной, затем следовал веселый, резкий звук инструмента, и наконец все заканчивалось выкриком. Слушатели разражались громким хохотом. Еще несколько тактов, один-два речитатива, и исполнитель выдал свой последний аккорд. Из толпы раздались аплодисменты, вновь зазвучал смех, сопровождаемый нестройными восклицаниями.

– О чем эта песня? – спросил Уилл.

– О юношах и девушках, которые вместе спят, – ответила Мэри Сароджини.

– А-а, понятно...

Уилл почувствовал замешательство, но, взглянув в безмятежное личико девочки, понял, что его смущение напрасно. По-видимому, и это было здесь в порядке вещей – все равно как ходить в школу, питаться три раза в день или умирать.

– Они засмеялись, когда он сказал, что Будущему Будде не придется покидать свой дом и сидеть под деревом, чтобы получить просветление. Он сможет достичь его, оставаясь в постели вместе со своей принцессой.

– По-твоему, это хорошая мысль?

Девочка утвердительно кивнула.

– Ведь это значит, что принцесса тоже станет просветленной.

– Ты права, – сказал Уилл. – Я, как мужчина, и не подумал об интересах принцессы.

Лютнист взял несколько непривычных веселых аккордов, затем последовала зыбь быстрых арпеджио, и он вновь запел, на этот раз по-английски:

Не верь ни шлюхе, ни анахорету;
Фрейд, Павел – всяк о сексе говорит;
Но губы кто в любви соединит,
Узнает путь к Единому и Свету.

Дверь храма распахнулась. Аромат воскурений смешался с запахами лука и жареной рыбы. Пожилая женщина осторожно спустилась по ступеням на площадь.

– Кто такие были Фрейд и Павел? – спросила Мэри Сароджини, когда они продолжили свой путь.

Уилл вкратце рассказал о первородном грехе и искупительном промысле. Девочка выслушала его с напряженным вниманием.

– Неудивительно, – заметила девочка, – что песенка призывает не верить им.

– А теперь, – сказал Уилл, – я объясню тебе, кто был Фрейд и что такое Эдипов комплекс.

– Эдипов? – повторила Мэри Сароджини. – «Эдип» – это кукольное представление. Я смотрела его неделю назад, а сегодня его дают снова. Хотите посмотреть? Это очень славно.

– Славно? – удивился Уилл. – При том, что престарелая дама, оказавшаяся матерью героя, вешается? А Эдип ослепляет себя?

– Он этого не делает.

– Но там, у нас, все происходит именно так.

– А здесь нет. Он только собирается выколоть себе глаза, а она собирается повеситься. Но их отговаривают.

– Кто?

– Юноша и девушка с Палы.

– Как они появляются в действии?

– Не знаю. Но они там участвуют. Ведь пьеса называется «Эдип на Пале». Так почему бы им и не появиться?

– И они убеждают Иокасту не вешаться, а Эдипа – не ослеплять себя?

– Да, в самый последний момент. Она уже надевает петлю себе на шею, а он достает две огромные булавки. Но юноша и девушка с Палы говорят им, что не стоит делать глупостей. Ведь все произошло случайно. Эдип не знал, что старик – его отец. К тому же старый король первым затеял драку – ударил Эдипа по голове, и тот потерял самообладание. Это потому, что его никогда не учили танцевать «Танец ракшасы». А когда Эдипа сделали королем, ему пришлось жениться на старой королеве. Да, она была его матерью, но ведь ни один из них этого не знал. Все, что им следовало сделать, когда они это узнали, – это разойтись, только и всего. А то, что из-за их брака народу пришлось умирать от вируса, выдумали старые глупые люди по причине своего невежества.

– Доктор Фрейд полагал, что все маленькие мальчики жаждут жениться на своих

матерях и убивать своих отцов. А девочки – девочки, наоборот, желают выходить замуж за своих отцов.

– За которых именно? – спросила Мэри Сароджини. – У нас их довольно много.

– В ваших Клубах Взаимного Усыновления?

– Да: в нашем, например, двадцать две семьи.

– Прилично!

– Но бедняга Эдип не входил в КВУ. И потом, ему вдолбили, что Бог очень сердится, если люди совершают ошибки.

Протиснувшись сквозь толпу, они оказались у входа в маленький, обтянутый веревками открытый зал, где около полусотни зрителей уже заняли свои места. На противоположном конце отгороженного пространства ярко расписанный просцениум кукольного театра сверкал в алых и золотых лучах мощных огней ramпы. Вытащив пригоршню мелких монет, которыми снабдил его доктор Роберт, Уилл приобрел два билета. Они вошли и сели на скамью.

Ударили в гонг; занавес над маленьким просцениумом неслышно поднялся. Зрители увидели фасад дворца в Фивах: белые колонны на бледно-зеленом фоне; а на облаке над фронтоном сидело божество с пышными бакенбардами. Священник, похожий на бога, только ростом поменьше и разодетый, вышел из-за правой кулисы, поклонился публике и пискляво выкрикнул: «Эдип!» Голос его до смешного не вязался с внушительной бородой пророка. Затрубили трубы, дверь распахнулась, и появился король – в короне, на котурнах, подобно герою. Священник почтительно поклонился; марионетка-король жестом повелел ему говорить.

– Склони ухо к нашим бедам, – пропищал жрец. Король склонил голову и прислушался.

– Слышу стоны умирающих, – сказал он, – слышу рыдания вдов, плач матерей, отчаянные молитвы и вопли о помощи.

– Молитвы и вопли! – отозвалось божество на облаке и похлопало себя по груди. – Ай да я!

– У них у всех вирусная инфекция, – шепотом пояснила Мэри Сароджини. – Что-то вроде гонконгского гриппа, но гораздо хуже.

– Мы читаем литании, – недовольно пропищал жрец, – приносим обильные жертвы, мы принудили население к воздержанию и самобичеванию каждый понедельник, среду и пятницу. Но поток смертей ширится и ширится. Помогите же нам, царь Эдип, помогите!

– Только бог способен помочь.

– Правильно, правильно! – воскликнуло председательствующее божество.

– Но как?

– Только бог откроет.

– Верно, – прогудел бог своим *basso profundo*³⁹, – совершенно верно.

– Креон, брат моей жены, отправился спросить оракула. Когда он возвратится, мы услышим совет неба.

– Повеление неба! – внес исправление *basso profundo*.

– Неужто люди были так глупы? – спросила Мэри Сароджини под новый взрыв хохота.

– Да, так оно и было, – подтвердил Уилл.

За сценой включили запись «Похоронного марша» из «Саула». Слева вышла процессия плакальщиц, одетых в черное и несущих накрытые простынями гробы. Одна кукла за другой исчезали в правой кулисе, тут же появляясь из левой: поток их казался бесконечным, количество жертв – неисчислимым.

– Покойник, – сказал Эдип, глядя на проходящих. – А вон еще покойник. Еще один, и еще один.

³⁹ глубокий бас (ит.)

– Я их проучу! – вмешался basso profundo. – Они у меня запоют!
Эдип продолжал свою речь:

Солдат в гробу, и умерла блудница;
Младенец мертвый не осушит грудь;
Юнец, объятый ужасом, не смотрит
В раздувшееся черное лицо
Той, что когда-то при луне, на ложе,
Ему дарила ласки. Все мертвы,
Оплаканный и плачущий, и ныне
Бредут они по проклятому саду.
Где яма вырыта средь кипарисов,
Чтоб поглотить их тлеющие трупы.

Пока он говорил, две новые куклы, юноша и девушка, одетые в яркие паланезийские наряды, вышли рука об руку из правой кулисы и приблизились к процессии плакальщиц.

– А вот мы, – сказал юноша, как только Эдип замолчал:

– Привыкли жить в саду, где много роз;
И там обряд свершается нелепый:
Чрез соприкосновенья и томленья
В душе он открывает Бесконечность.

– Как посмели вы забыть про Меня! – прогремел с небес basso profundo. – Разве я не Всецело Иное?

Процессия плакальщиц все еще плелась по сцене. Но похоронный марш оборвался на половине такта. Вместо него зазвучала одна глубокая нота – туба и контрабас, – которая длилась неопределенно долго. Юноша поднял руку.

– Слушайте!

Печальный, вечный напев. В унисон невидимым инструментам плакальщицы запели:

– Смерть, смерть, смерть...

– Но жизнь не ограничивается одной нотой, – сказал юноша.

– Жизнь, – подхватила девушка, – умеет петь и высоким, и низким голосом.

– И ваш унылый траурный стон взывает к более разнообразной музыке.

– К разнообразной музыке, – повторила девушка. Их голоса – тенор и сопрано – переплелись с басовой нотой, образовав причудливый рисунок мелодии.

Постепенно музыка и пение затихли, плакальщицы исчезли, а юноша и девушка отошли в дальний угол, где никто не мешал им целоваться.

Вновь затрубили трубы – и, облаченный в пурпурную тунику, появился толстяк Креон, который только что прибыл из Дельф со словом оракула. Несколько минут диалог шел на паланезийском, и Мэри Сароджини пришлось служить переводчицей.

– Эдип спрашивает, что сказал бог; а тот отвечает: бог сказал – все из-за того, что убили старого короля, который царствовал до Эдипа, и убийца преспокойно живет в Фивах. Вирус, от которого все гибнут, послан богом в наказание. Не понимаю, зачем наказывать тех, кто ни в чем не виноват, но так именно ответил бог. И эпидемия не прекратится, говорит Креон, пока убийцу старого короля не вышлют из Фив. Эдип, конечно же, обещает сделать все, чтобы найти убийцу и отделаться от него. Из дальнего угла юноша продекламировал по-английски:

Присуще богу говорить невнятно:
Но что за чушь он с облака рычит?
«Покайтесь! Грешникам чума грозит!»

Мыть надо руки – вот совет понятный.

Зрители еще смеялись, когда из-за кулис появилась новая группа плакальщиц и медленно пересекла сцену.

– Каруна, – сказала девушка на авансцене, – сочувствие. Страдание по причине глупости тем не менее остается страданием.

Уилл, почувствовав, что его кто-то тронул за руку, обернулся: рядом стоял, как всегда угрюмый, красавец Муруган.

– Я повсюду ищу вас, – сказал он сердито, как будто Уилл скрывался от него нарочно, чтобы позлить его. Муруган говорил так громко, что многие обернулись и зашикали на них.

– У доктора Роберта вас нет, у Сьюзины нет, – ворчал Муруган, не обращая внимания на протесты зрителей.

– Тише, тише...

– Тише! – загремел с облака basso profundo. – Веселая жизнь у нас началась: бог не может услышать, что сам говорит!

– Вот-вот, – поддакнул Уилл, присоединяясь к общему смеху. Он встал и следом за Муруганом и Мэри Сароджини заковылял к выходу.

– Разве вы не хотите узнать, чем все закончилось? – спросила девочка у своего подопечного. – А ты мог бы подождать, – укорила она Муругана.

– Не лезь не в свое дело! – отрезал юноша. Уилл положил руку девочке на плечо.

– Ты мне так живо пересказала конец, что оставаться нет необходимости. Я словно видел все собственными глазами. И конечно же, – добавил он иронически, – его высочеству необходимо отдавать предпочтение.

Из кармана белой шелковой пижамы, которая некогда ослепила своим блеском маленькую сиделку, Муруган достал конверт и вручил его Уиллу:

– От мамы. Дело первостепенной важности.

– Как вкусно пахнет! – воскликнула Мэри Сароджини, вдыхая сандаловый аромат, который исходило послание госпожи рани.

Уилл развернул три листа почтовой бумаги небесно-голубого цвета, на каждом из которых были вытеснены пять золотых лотосов под короной. Но какое множество заглавных букв, и сколько слов подчеркнуто!.. Уилл принялся читать.

«Ma Petite Voix, cher Farneby, avail raison⁴⁰ – КАК ВСЕГДА! Вновь и вновь мне было сказано, в чем состоит предназначение Нашего Общего Друга, что может сделать он для нашей бедной маленькой Палы (посредством финансовой поддержки, которую Пала позволит ему оказать Крестовому Походу Духа) и для ВСЕГО МИРА. И потому, прочитав телеграмму (она прибыла только что, благодаря нашему преданному Баху и его коллеге-дипломату в Лондоне), я не удивилась тому, что лорд А. наделяет вас всеми, полномочиями (не говоря уж о СРЕДСТВАХ) действовать для его – и нашей пользы, ибо его преуспевание – это и ваш, и мой успех, а также (поскольку все мы, на свой лад, Крестоносцы) преуспевание ДУХА!

Но прибытие телеграммы от лорда А. – не единственная новость, которую я намереваюсь вам сообщить. События (как узнала я сегодня утром от Баху) неотвратимо приближаются к Великой Поворотной Точке в Паланезийской истории. По причинам, отчасти Политическим (необходимость воспрепятствовать начавшемуся снижению популярности полковника Дайпы), отчасти Экономическим (Рендану трудно в одиночку нести бремя Обороны) и отчасти Астрологическим (Знающие Люди называют именно эти дни уникально благоприятными для совместных действий Овна – я и Муруган – и типичного Скорпиона, каковым является полковник Д.), следует поторопиться с Акцией, которую первоначально планировали провести в ноябре, в ночь лунного затмения. Вот почему нам

⁴⁰ Мой Внутренний Голос, дорогой Фарнеби, был прав (франц.)

троим необходимо срочно встретиться и обсудить, что может быть предпринято в этих быстро меняющихся Обстоятельствах, дабы не пострадали наши интересы – как материальные, так и Духовные. Вы уже, наверное, заметили, насколько Очевидно Провиденциальна так называемая Случайность, из-за которой вы оказались здесь именно в Критический Момент. Нам остается только сотрудничать, в качестве преданных Крестоносцев, с этой божественной Силой, которая столь недвусмысленно оказывает поддержку нашему Делу. Итак, ПРИХОДИТЕ НЕМЕДЛЕННО. Муруган на автомобиле доставит вас в наше скромное Бунгало, где, уверяю вас, дорогой Фарнеби, вы найдете самый теплый прием у *bien sincerement votre*⁴¹ Фатимы Р.»

Уилл сложил три благоухающих, исписанных небрежным почерком голубых листка и всунул их обратно в конверт. Лицо его ничего не выражало, но на самом деле он был очень зол. Зол на этого дурно воспитанного мальчишку, столь обольстительного в своей белой шелковой пижаме, и столь ужасающе глупого по причине своей избалованности. Едва ли не бешенство вызывал в нем запах духов от письма, написанного чудищем, а не женщиной, – ибо разве можно назвать женщиной ту, которая губит своего сына во имя материнской любви и непорочности и готова превратить его в крестоносца духа, швыряющего бомбы, под нефтяными знаменами Джо Альдехайда, во имя Бога и всевозможных Просветленных Учителей. Уилл злился также и на себя за то, что позволил этой нелепой и зловещей паре вовлечь его в коварный заговор против всего человеческого, во что он втайне, хотя и не говорил «да» в ответ, верил и чего страстно жаждала его душа.

– Что, идем? – с небрежной доверительностью спросил Муруган.

Для него было аксиомой, что если Фатима Р. распоряжается, повиновение должно последовать полное и незамедлительное.

Уилл, чтобы дать себе остыть, ответил не сразу. Он неторопливо обернулся и бросил взгляд на сцену. Иокаста, Эдип и Креон сидели на ступенях дворца, вероятно, дожидаясь прихода Тиресия. *Basso profundo* в облаке ненадолго задремал. Плакальщицы в черном продолжали пересекать сцену. Возле рампы юноша с Палы начал декламировать белые стихи:

Свет и Сочувствие – как несказанно
Проста ты, Сущность наша! Но Простак
Веками ожидал хитросплетения,
Чтобы Единое постичь во многом,
Всецелое – здесь и теперь,
Факт – в выдумках;
Неизмеримость видя цельнотканой:
Где истина и доброта слились
С работой щитовидки, сердца, почек.
Бор с сытным сочетается обедом
И с голодом, и с колокольным звоном -
Нежданно льющим в бессонный слух.

Громко зазвенели струны и запела флейта.

– Идем? – повторил Муруган.

Но Уилл поднял руку, призывая к молчанию. Марионетка-девушка вышла на середину сцены и запела:

Мозг – клеток три миллиарда,
Где мысль берет рожденье,

⁴¹ искренне вашей (франц.)

На всех шарах бильярда
Знак: «Вера» или «Сомнение»;

Я – это мысль и вера,
Кипящие в реторте.
Кислот, ферментов мера,
Мечты – и ток в аорте;

Я – это небывалый,
Прочувствованный ход,
Где каждый атом малый
Пророчество несет.

Муруган, потеряв терпение, изловчился и пребольно ущипнул Уилла за руку:
– Вы идете или нет? – воскликнул он. Уилл отдернул руку и сердито спросил:
– Что это вы делаете? Глупость какая!
Юноша, испугавшись, переменял тон:
– Я только хотел узнать, собираетесь ли вы идти к моей маме.
– Нет, не собираюсь, – отрезал Уилл. – Я не пойду к ней.
– Не пойдете? – воскликнул Муруган в крайнем изумлении. – Но она ждет вас. Она...
– Передайте своей маме, что мне очень жаль, но я должен нанести более неотложный визит. Умирающей, – добавил Уилл.
– У мамы к вам очень важное дело.
– Что может быть важнее смерти?
– Назревают серьезные события, – зашептал Муруган.
– Что? Я не слышу вас, – крикнул Уилл сквозь гул толпы. Муруган с опаской огляделся и отважился прошептать чуть погромче.
– Серьезные, знаменательные события.
– Наиболее серьезные события происходят сейчас в больнице.
– Мы только что узнали, – сказал Муруган, но осекся и, вновь осмотревшись, покачал головой. – Нет, здесь я не могу говорить. Только не здесь. Вы должны пойти в бунгало немедленно. Нельзя терять ни секунды.
Уилл посмотрел на часы.
– Да, нельзя терять ни секунды. Пора идти, – сказал он Мэри Сароджини. – Ты поведешь меня?
– Да, – ответила девочка, и они пошли, взявшись за руки.
– Погодите, – взмолился Муруган, – погодите!
Мэри Сароджини и Уилл не останавливались, и ему пришлось пробиваться вслед за ними сквозь толпу.
– Что я скажу маме? – канючил Муруган, не отставая от них.
Испуг юноши был до крайности смешон. Уилл почувствовал, что от гнева не осталось и следа; он весело рассмеялся.
– Мэри Сароджини! Что ты ему посоветуешь? – на ходу спросил Уилл у девочки.
– Я бы рассказала маме все, как случилось, – ответила Мэри Сароджини. – Конечно, своей маме, – пояснила она, задумавшись на секунду. – Но ведь моя мама – не госпожа рани.
Девочка посмотрела на Муругана.
– Тыходишь в КВУ?
Конечно же, он не входил. Рани саму идею Клуба Взаимного Усыновления считала кощунственной. Мать дается ребенку Богом. Крестоносица Духа желала оставаться наедине со своей Богом предназначенной жертвой.
– Неходишь в КВУ? Какая жалость! А то бы мог пойти и пожить несколько дней у другой мамы.

Муруган, все еще страшись разговора со своей единственной мамочкой, поскольку поручение не было выполнено, продолжал твердить все то же, но под несколько новым углом.

– Но что мне скажет мама? Что она мне скажет?..

– Это узнать нетрудно, – ответил Уилл. – Иди домой и выслушай ее.

– Пойдемте со мной, – умолял Муруган. – Пожалуйста. – Он схватил Уилла за руку.

– Не трогай меня, кому я сказал! – возмутился Уилл. Муруган поспешно убрал руку.

– Вот так-то лучше, – улыбнулся Уилл. В знак прощания он поднял свой посох. «*Bonne nuit, Altesse*».⁴² Ведите меня, Макфэйл, – добродушно повелел он девочке.

– Вы и вправду рассердились? – спросила Мэри Сароджини. – Или только притворялись?

– Я был зол не на шутку, – уверил ее Уилл. Вспомнив вдруг «Танец ракшасы», он крепко стукнул металлическим наконечником посоха в мостовую и пробормотал несколько соответствующих слов. – Надо было сразу затоптать гнев?

– Да, так было бы лучше.

– Почему?

– Муруган возненавидит вас, едва только страх оставит его.

Уилл пожал плечами. Какая ему разница! Но прошлое отодвигалось, и надвигалось будущее: они миновали увешанную лампами арку на площади и по крутой, извилистой темной улочке направились к больнице. Ведите меня, Макфэйл, – но куда? Впереди – еще одно проявление Вселенского Ужаса, а позади – все сладкие надежды на год свободы, на большой куш от Джо Альдехайда, заработать который оказалось так легко – да и не бесчестно, потому что Пала в любом случае обречена. И если рани нажалуется на него Джо, а Джо рассердится, позади также останется хорошо оплачиваемое рабство в качестве профессионального наблюдателя казней. Может быть, следует вернуться, отыскать Муругана и, принеся извинения, исполнить все повеления той ужасной женщины? Еще сто ярдов подъема, и сквозь деревья засветились огни больницы.

– Погоди немного, – попросил Уилл.

– Вы устали? – заботливо поинтересовалась Мэри Сароджини.

– Да, чуть-чуть.

Уилл, опершись на посох, обернулся и поглядел вниз, на рыночную площадь. В огнях арочных ламп общественное здание отсвечивало розовым, как огромный кусок малинового шербета. На башне храма ярус за ярусом громоздились индуистские скульптурные изображения: слоны, демоны, красавицы со сверхъестественно пышными грудями и задами, выделяющие танцевальные па Шивы и застывшие в экстазе прошлые и будущие Будды. А в пространстве меж шербетом и мифологией кишела толпа, в которой затерялся юноша с угрюмым лицом, в белой шелковой пижаме. Вернуться ли? Это было бы благоразумно. Но его внутренний голос – не тихий, как у рани, к которому надо было прислушиваться, но громоподобный – взывал: «Мерзость! Мерзость!» Был ли то призыв совести? Нет. Нравственности? Боже упаси! Но стараться об исполнении долга, чтобы угодить в отталкивающую, омерзительную грязь, – этого он, как человек со вкусом, не мог себе позволить.

– Пойдем дальше? – спросила Мэри Сароджини.

Они вошли в приемную больницы. Дежурная медсестра передала им распоряжения от Сьюзины. Мэри Сароджини следовало немедленно отправиться к миссис Рао и заночевать у нее вместе с Томом Кришной. Мистера Фарнеби просили сразу же подняться в палату номер тридцать четыре.

– Сюда, – сказала дежурная и открыла дверь в коридор.

Уилл, приученный к вежливости, поблагодарил ее с улыбкой, однако почувствовал в

⁴² Спокойной ночи, ваше высочество (франц.)

животе тянущую, неприятную пустоту. Не спеша он заковылял навстречу неясному будущему.

– Последняя дверь налево, – сказала дежурная ему вслед. Вернувшись на свой пост в приемную, она закрыла за собой дверь, и он остался один.

Один, повторил он мысленно, совсем один, и ожидаемое будущее как две капли воды похоже на преследующее его прошлое: Вселенский Ужас бесконечен и вездесущ. Коридор с зелеными стенами был точь-в-точь как коридор, по которому его вели год назад к умирающей Молли. Кошмар возвращался. Сознавая свою обреченность, Уилл двигался навстречу ужасающему завершению. Снова ему предстоит пережить зрелище смерти.

Тридцать вторая, тридцать третья, тридцать четвертая... Постучавшись, он стоял, прислушиваясь к биению собственного сердца. Дверь открылась, и он лицом к лицу столкнулся с маленькой Радхой.

– Сьюзила ждет вас, – прошептала девушка. Уилл проследовал за ней в комнату. За ширмой он угадал силуэт Сьюзилы, сидевшей боком к лампе у высокой кровати, темное лицо на подушке и иссохшие руки – кости, настолько обтянутые кожей, что они напоминали птичьи лапы. Вот он, Вселенский Ужас. Уилл с содроганием отвернулся. Радха подвела его к стулу возле открытого окна. Уилл сел и закрыл глаза: но, отгородившись от настоящего, он не мог не видеть мысленным взором прошлого. Он перенесся в другую комнату, где умирала тетя Мэри. Или, вернее, та, кто некогда была его любимой тетей Мэри, но со временем так переменялась, что стала совсем другим человеком. И эта новая, незнакомая женщина не ведала милосердия и не обладала мужеством, кои составляли сущность его любимой тети Мэри; напротив – она ненавидела всех без разбору просто за то, что у них не было рака, они не страдали от мучительной боли, и не были обречены на смерть прежде старости. Помимо злобной зависти к здоровью и счастью других, в ней появилась едкая ворчливость: больная неустанно жалела себя и предавалась самому унижительному отчаянию.

– Почему я? Почему это приключилось со мной?

Уилл вновь слышал ее сварливый голос и видел перед собой распухшее от слез, искаженное болезнью лицо. А ведь ее одну он искренне любил, перед ней одной преклонялся. Но любовь – он вынужден был признать – уступила место презрению, едва ли не ненависти.

Чтобы уйти от картин прошлого, Уилл приоткрыл глаза. Радха, скрестив ноги и выпрямив спину, сидела на полу, медитируя. Сьюзила, на своем стуле у кровати, тоже хранила сосредоточенное молчание. Уилл взглянул в лицо, покоящееся на подушке. Оно было безмятежным, но безмятежность эта не была холодной неподвижностью смерти. Вдруг за окном во тьме, в гуще листьев, закричал павлин. Наступившая затем тишина показалась еще таинственней, еще значительней.

– Лакшми, – Сьюзила положила ладонь на иссохшую руку больной. – Лакшми! – позвала она еще раз, громче. Спокойное лицо оставалось безучастным. – Не спи!

Не спать? Но для тети Мэри сон – искусственный сон, наступавший после инъекций снотворного – был единственным прибежищем, где она спасалась от слезливой жалости к себе и нараставшего страха.

– Лакшми!

На неподвижном лице появились признаки жизни.

– Я не спала, – прошептала умирающая, – это просто слабость. Я как будто плыву куда-то.

– Но ты должна быть здесь, – настаивала Сьюзила, – и должна осознавать, что ты здесь. Постоянно.

Она подложила под плечи больной еще одну подушку и взяла со столика пузырек с нюхательной солью. Лакшми чихнула, открыла глаза и взглянула в лицо Сьюзиле.

– Я забыла, насколько ты красива, – сказала больная, – у Дугалда был хороший вкус. – На ее изможденном лице промелькнула озорная улыбка. – Как ты думаешь, Сьюзила? – спросила она задумчиво. – Мы увидимся с ним снова?

Сьюзила молча погладила руку свекрови. И улыбнулась.

– Как бы задал этот вопрос старый раджа? Увидим ли так называемые «мы» так называемого «его» в так называемом «там»?

– Но ты как считаешь?

– Я думаю, что нас ждет тот же свет, из которого мы возникли.

Слова, подумал Уилл, слова, слова, слова. Лакшми с усилием подняла руку и указала на лампу, стоящую на столике.

– Спит глаза, – пожаловалась она.

Сьюзила развязала алую шелковую косынку на шее и накинула ее на пергаментный абажур лампы. Свет, из белого и безжалостного, сделался мягким, розовым, как на измятом ложе Бэбз, когда джин Портера рекламировался в красных тонах.

– Так лучше, – сказала Лакшми. Она закрыла глаза. Наступило продолжительное молчание. Вдруг больная заговорила: – Свет. Свет. Я вижу его снова. – Помолчав еще немного, Лакшми прошептала: – О, как он прекрасен! Как прекрасен! – Она вздрогнула и закусила губу. Сьюзила обеими руками взяла руку больной.

– Очень больно? – спросила она.

– Было бы очень больно, если бы то была моя боль, – пояснила Лакшми. – Но она не моя. Боль здесь, но я уже не с ней. Это как с мокша-препаратом: ничто не принадлежит тебе. Даже боль.

– Свет все еще там?

Лакшми покачала головой:

– Нет. Но я знаю, когда он исчез. Когда я сказала, что боль не принадлежит мне.

– Ты сказала правильно.

– Да, но я сказала это.

Тень непочтительного озорства вновь промелькнула на лице умирающей.

– О чем ты думаешь? – спросила Сьюзила.

– О Сократе.

– О Сократе?

– Он болтал, болтал, болтал – даже когда проглотил яд. Не позволяй мне говорить, Сьюзила. Помоги мне выбраться из моего собственного света.

– Помнишь, как в прошлом году, – начала Сьюзила, – мы все поехали к старому храму Шивы возле Высокогорной станции? Ты с Робертом, я и Дугалд, и наши дети – помнишь?

Лакшми помнила: лицо ее озарилось довольной улыбкой.

– Помнишь ли ты вид, открывающийся из западного окна храма, которое выходит на море? Тени облаков, как чернила – синие, зеленые, пурпурные... А сами облака – белые, свинцовые, угольно-черные, атласные... И когда мы смотрели, ты задала нам один вопрос. Помнишь?

– Да, я спросила о Чистом Свете.

– Да, о Чистом Свете, – подтвердила Сьюзила. – Почему люди называют сознание Чистым Светом? Потому ли, что солнечный свет так прекрасен, что они уподобляют природу Будды самому чистому из всех сияний? Или – наоборот – солнечный свет кажется им прекрасным, потому что они с самого рождения постигают сознание как Свет? Я первой тебе ответила, – сказала Сьюзила, улыбнувшись. – К тому времени я только что прочла книгу одного американского бихевиориста и, продолжая над ней размышлять, дала тебе так называемый «научный ответ». Люди отождествляют сознание (каково бы оно ни было на самом деле) с видением света, потому что находятся под впечатлением множества виденных ими восходов и закатов солнца. Но Роберт и Дугалд не согласились со мной. Чистый Свет, настаивали они, первичен. И вы восторгаетесь солнечными закатами только потому, что они напоминают вам – осознаете вы это или нет – то, что происходит в глубине вашей души, вне пространства и времени. И ты с ними согласилась – помнишь, Лакшми? Ты сказала: «Я обычно предпочитаю быть на твоей стороне, Сьюзила, потому что мужчинам вредно считать себя всегда правыми. Но в данном случае – это очевидно – правы они». Конечно, они были

правы, а я заблуждалась. Но ведь ты заранее знала ответ на свой вопрос!

– Я никогда ничего не знала, – прошептала Лакшми, – я только видела.

– Помнишь, ты рассказывала мне, как впервые увидела Чистый Свет? Хочешь, я напомню тебе об этом?

Больная кивнула головой.

– Тебе было тогда восемь лет. И это случилось с тобой в первый раз. Оранжевая бабочка села на залитый солнцем лист, раскрыла и сложила крылышки. И вдруг Ясный Свет чистейшей Всетождественности засиял сквозь нее, подобно новому солнцу.

– Ярче, чем солнце, – прошептала Лакшми.

– Но гораздо мягче. Можно смотреть на Чистый Свет и не ослепнуть. А теперь вспомни это. Бабочка на зеленом листе, открывающая и складывающая крылышки, – природа Будды, присутствующая повсюду, и Чистый Свет, который ярче, чем солнце. А тебе только восемь лет.

– Чем я это заслужила?

Уиллу вспомнился вечер за неделю до смерти тети Мэри, когда она говорила о тех дивных днях, что они провели вместе в ее скромном доме эпохи Регентства близ Арунделя. Да, славно жилось ему там во время каникул. Они окуривали осиные гнезда серным дымом и устраивали пикники на пригорках или под буками. А пирожки с мясом в Богноре, а цыганка, которая нагадала ему, что он с годами делается канцлером казначейства! Красноносый, облеченный в черное служка выставил их из Чичестерского собора за то, что они слишком много смеялись. «Слишком много смеялись, – с горечью повторила тетя Мэри. – Слишком много смеялись...»

– А теперь, – сказала Сьюзила, – вспомни опять вид из окна храма Шивы. Вспомни полосы света и теней на морской глади, и окна синевы меж облаками. Вспомни – и отбрось все свои мысли и воспоминания. Отбрось все мысли, чтобы могло наступить безмыслие. Вещи канут в Пустоту. Пустота перейдет во Всетождественность. Всетождественность вновь обернется вещами – в твоей собственной душе. Вспомни, что говорится в Сутре. «Твое собственное сознание – сияющее, пустое, неотделимое от великого Сияния, не рождается и не умирает – но пребывает, как неизменный Свет, Будда Амитабха».

– Пребывает как свет, – повторила Лакшми. – Но передо мной снова тьма.

– Это потому, что ты слишком стараешься, – сказала Сьюзила. – Ты видишь тьму, потому что страстно желаешь, чтобы вспыхнул свет. Вспомни, что ты говорила мне, когда была маленькой. «Полегче, девочка, полегче. Ты должна научиться делать все легко. С легкостью думать, совершать поступки, чувствовать. Да, с легкостью, даже если чувства твои глубоки. Пусть все происходит с легкостью, относись к вещам легче». Девочкой я была до нелепого серьезна, этакая кроха-педант без малейшего чувства юмора. Легче, легче – лучшего совета я не слышала за всю жизнь. А теперь я должна тебе сказать те же слова, Лакшми... Полегче, милая моя, полегче. Даже когда наступила пора умирать. Никакой напыщенности, тяжеловесности, излишней подчеркнутости. Не надо ни риторики, ни дрожи в голосе, ни самодовольного подражания знаменитым личностям вроде Христа, Гете или малышки Нелл. И конечно же, никакой теологии и метафизики. Только присутствие смерти и Ясного Света. Выбрось весь свой багаж – и ступай вперед. Ты идешь по зыбучим пескам, готовым поглотить тебя, задавить страхом, жалостью к себе, отчаянием. Вот почему ты должна ступать очень легко. Легче, милая; иди на цыпочках: выбрось все, даже пакетик с туалетными принадлежностями... Полная необремененность.

Полная необремененность... Уилл подумал о несчастной тете Мэри, которая с каждым шагом все глубже и глубже увязала в песках. Все глубже и глубже, борясь и протестуя до последнего, пока наконец ее не вобрал и не поглотил навсегда Вселенский Ужас. Уилл вновь взглянул в лицо больной: Лакшми улыбалась.

– Свет, – проговорила она сиплым шепотом. – Чистый Свет. Он здесь – вместе с болью и несмотря на боль.

– А где находишься ты?

– Вон там, в углу. – Лакшми попыталась показать, но слабая рука, едва поднявшись, безжизненно опустилась на одеяло. – Я вижу там себя. А она смотрит на мое тело, лежащее на кровати.

– Видит ли она Свет?

– Нет. Свет там, где мое тело.

Дверь палаты бесшумно отворилась. Уилл повернулся – и увидел, как сухощавая фигура доктора Роберта появилась из-за ширмы и нырнула в розовую мглу.

Сьюзила поднялась и указала ему на стул, где сидела сама. Доктор Роберт сел возле кровати и, склонившись над женой, одной рукой взял ее руку, а другую положил ей на лоб.

– Это я, – прошептал он.

– Наконец-то...

Дерево, пояснил доктор Роберт, упало на телефонную линию. Связь с высокогорной станцией прервалась. За ним послали человека на машине, но машина в пути сломалась. Почти два часа пришлось потерять, пока устранили поломку.

– Но, слава Богу, – заключил доктор Роберт, – наконец-то я здесь.

Умиравшая глубоко вздохнула, открыла глаза и, взглянув на него с улыбкой, вновь закрыла их.

– Я знала, что ты придешь.

– Лакшми, – ласково позвал он, – Лакшми.

Кончиками пальцев он гладил морщинистый лоб, снова и снова.

– Любимая моя.

Слезы бежали по его щекам, но голос звучал твердо, и в нем слышалась нежность, а не слабость.

– Я уже не здесь, – прошептала Лакшми.

– Она там, в углу, – пояснила Сьюзила свекру, – и смотрит оттуда на свое тело на кровати.

– Нет, я вернулась. Мы вместе – я и боль, я и Свет, я и ты... Все мы сейчас вместе.

Вновь пронзительно закричал павлин, и сквозь гудение насекомых, которые тропической ночью свидетельствуют о тишине, донеслась веселая музыка: флейты, лютня, дробь барабанов.

– Прислушайся, – сказал доктор Роберт. – Слышишь музыку? Там танцуют.

– Танцуют, – повторила Лакшми, – танцуют.

– Танцуют – с такой легкостью, – прошептала Сьюзила, – словно у них есть крылья.

Музыка зазвучала еще слышней.

– Это Брачный танец, – узнала Сьюзила.

– Брачный танец. Роберт, ты помнишь?

– Как можно забыть!

В самом деле, подумал Уилл, как можно забыть! Как забыть ему долетавшую издали музыку и рядом, так близко, неестественно частое, короткое дыхание умирающей! В доме напротив кто-то разучивал вальсы Брамса, которые когда-то любила играть тетя Мэри. Раз-два-три, раз-два-три, и – раз-два-три... Неприятная незнакомка, которая некогда была тетей Мэри, вздрогнула в своем искусственном оцепенении и открыла глаза. На желтом, изможденном лице появилось выражение злобы.

– Иди и скажи им, чтобы перестали, – сказала она мальчику пронзительным, резким голосом. Казалось, она вот-вот завизжит от ненависти. Но вдруг ее злоба перешла в отчаяние, и жалкая незнакомка разрыдалась. Вальсы Брамса – их больше всего любил слушать Фрэнк.

Вновь из окна повеяло прохладой, и с ветром опять донеслась музыка – живая, веселая.

– Они все танцуют, – сказал доктор Роберт. – Там смех, любовь и счастье. И они здесь, Лакшми, – в атмосфере, как силовое поле. Радость и любовь – и моя, и Сьюзила – сочетаясь, усиливают друг друга. Любовь и радость окутывают тебя; они несут тебя к Ясному Свету. Прислушайся к музыке. Ты слышишь ее, Лакшми?

– Лакшми опять уже не здесь, – заметила Сьюзила. – Попытайся вернуть ее.
Доктор Роберт продел руку под истощенные плечи и усадил больную. Голова Лакшми упала на его плечо.
– Родная моя, – шептал он, – любимая...
Глаза ее на миг приоткрылись.
– Ярче, – еле слышно прошептала Лакшми, – ярче...
Лицо ее озарилось улыбкой счастья, едва ли не ликования... Доктор Роберт сквозь слезы улыбнулся ей.
– Теперь ты можешь уйти, дорогая моя. – Он ласково погладил ее седые волосы. – Теперь иди. Иди, – настаивал он. – Выйди из этого бедного старого тела. Тебе оно больше не понадобится. Спадет, как ворох изношенных лоскутьев.
Рот умирающей приоткрылся, дыхание сделалось хриплым.
– Дорогая, любимая... – Доктор Роберт еще крепче прижал ее к себе. – Иди, иди. Оставь тут свое старое, ненужное тело, и уходи. Ты уходишь в Свет, ты уходишь в тишину – живую тишину Ясного Света...
Сьюзила поцеловала бесчувственную руку Лакшми и обернулась к Радхе.
– Пора идти, – шепнула она, тронув девушку за плечо.
Радха, прервав медитацию, открыла глаза, кивнула и поднялась на ноги. На цыпочках она приблизилась к двери. Сьюзила кивнула Уиллу – и оба вышли вслед за Радхой. Молча шли они по коридору. У двери приемного покоя Радха распрощалась с ними.
– Спасибо, что вы позволили мне побыть рядом с вами, – шепнула она Сьюзиле. Сьюзила поцеловала девушку:
– Спасибо тебе за то, что ты помогла мне с Лакшми.
Уилл проследовал за Сьюзилой в приемный покой, вместе они вышли в теплую, благоухающую тьму и направились по улочке к торговой площади.
– А теперь, – сказал Уилл, подчиняясь странному желанию казаться циничным, – она поспешит к своему приятелю, и они займутся мэйтхунной.
– Сегодня ночью она дежурит, – спокойно ответила Сьюзила. – Но, в противном случае, почему бы и не перейти от йоги смерти к йоге любви?
Уилл не нашелся, что ответить. Он подумал о том, как провели вечер он и Бэбз, спустя несколько часов после похорон Молли. То была йога антилюбви – йога опьянения пороком и ненавистью к себе, которая усиливала его эгоизм, отчего ненависть только возрастала.
– Простите, я наговорил вам неприятных слов, – сказал он наконец.
– Это дух вашего отца. Но мы постараемся его изгнать.
Они пересекли торговую площадь и оказались в конце короткой улочки, которая вела на площадку, где они оставили свой джип. Когда Сьюзила выезжала на шоссе, свет фар упал на зеленый автомобиль, который с холма сворачивал в боковой проезд.
– Узнаю королевский «бейби остин», – заметил Уилл.
– Вы не ошиблись, – сказала Сьюзила. – Но куда это рани и Муруган направляются так поздно?
– Это не к добру, – предположил Уилл. И вдруг, поддавшись внезапному порыву, он рассказал Сьюзиле о разбойничьем поручении Джо Альдехайда и о переговорах с рани и мистером Баху. – Вы поступите правильно, если завтра же вышлете меня.
– Зачем же? Ведь вы на все теперь смотрите иначе, – уверила она его. – И потом, что бы вы ни сделали, события будут идти своим путем. Наш враг – это нефть. А кто нас будет эксплуатировать: «Азиатская юго-восточная нефтяная компания» или «Стэндрд оф Калифорния», не имеет значения.
– Знаете ли вы, что рани и Муруган замышляют против вас заговор?
– Они не делают из этого тайны.
– Так почему же вы не отделаетесь от них?
– Потому что их тут же вернет сюда полковник Дайпа. Рани – принцесса Рендана. Если

мы изгоним ее, это будет casus belli⁴³.

– Но можно ли что-нибудь сделать?

– Мы пытаемся ввести их поведение в должные рамки, изменить их мировоззрение. Надо надеяться на счастливый исход – и быть готовыми к худшему. – Помолчав, она добавила: – Доктор Роберт говорил, что вам можно принимать мокша-препарат.

Уилл кивнул.

– Хотите попробовать?

– Прямо сейчас?

– Да. Если, конечно, вы не боитесь всю ночь пробывать под его воздействием.

– Я иного и не желаю.

– Возможно, вам придется туго, – предостерегла его Сьюзила. – Мокша-препарат может вознести вас к самым небесам, но он же способен швырнуть вас прямо в ад. Может случиться и то, и другое – одновременно, либо по очереди. А еще (если повезет или если вы к тому готовились) вы можете оказаться меж раем и адом. А потом вы вернетесь обратно – в Новый Ротамстед, к своим привычным делам. Но вы уже не сможете заниматься ими, как прежде: все потечет по-другому.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Один, два, три, четыре... Часы на кухне пробили двенадцать. Странно звучал их бой, потому что время – казалось – прекратило течь. Нелепый, докучливый звон слышался в сердцевине замершего События, непрерывного Теперь, которое продолжало меняться – вне секунд и минут – в пределах красоты, значимости и сокровенной в глубине тайны.

– Лучезарное блаженство. – Слова поднимались из пустот его сознания, подобно пузырькам, всплывающим на поверхность и лопающимся в бесконечных просторах жизни, которая трепетала и дышала под его опущенными веками. – Лучезарное блаженство.

Уилл приблизился к нему вплотную – ближе и быть не может. Но это бесконечное, неизменно обновляющееся Событие невозможно было выразить словами, не искажая и не обедняя. Уилл переживал не только блаженство, но и понимание всего. Пониманию не сопутствовало знание: знание подразумевает того, кто познает, и множество разнородных познанных и познаваемых вещей. Но под плотно сомкнутыми веками Уилла не было ни созерцаемого, ни созерцателя. Только блаженное переживание слияния с единым.

Откровение сменялось откровением: свет разгорался все ярче, понимание становилось более глубоким, а блаженство росло и росло... «Господи! – сказал про себя Уилл. – О Господи!» Слово из другого мира, до него донесся голос Сьюзилы:

– Тебе хочется рассказать, что происходит?

Уилл ответил не сразу. Говорить было трудно. Но не потому, что не повиновался язык. Нет, но любая речь показалась бы бессмысленной.

– Свет, – прошептал он наконец.

– Ты видишь свет?

– Нет, не то чтобы вижу, – ответил он после долгого размышления. – Я сам стал светом. Да, стал светом, – повторил он убежденно.

Однако присутствие света означало отсутствие Уильяма Асквита Фарнеби. Такого человека больше не было. Существовало только лучезарное блаженство, только понимание без знания, единство с Единым в бесконечном, неделимом постижении. Вот оно, естественное состояние души. И все же он продолжал оставаться и профессиональным наблюдателем казней, и одержимым и ненавистным самому себе любовником Бэбз; три миллиарда разобщенных сознаний уживалось в нем, и каждое мучилось кошмаром собственного мира, где человек зрячий и наделенный хотя бы крупницей совести не способен

⁴³ повод к войне (лат.)

считать ответом «да». Но что за зловещее чудо обратило естественное состояние души в эти острова дьявола, полные убожества и преступлений?

На сияющей тверди блаженства и понимания, словно летучие мыши против солнца, сновали воспоминания и остатки пережитых им некогда чувств. Мысли – летучие мыши о Плотине и гностиках, о Едином и его эманациях – ниже, ниже в тошнотворный ужас. И подобные летучим мышам чувства гнева и отвращения, потому что тошнотворный ужас обернулся воспоминаниями всего, что несуществующий Уильям Асквит Фарнеби увидел, совершил и перенес.

Но свет блаженства, мира и понимания все же продолжал окружать и пронизывать даже эти мерцающие видения. Летучие мыши мелькали в небе перед закатом, но зловещее чудо творения было приостановлено. Неестественная, убогая, преступная самость сделалась чистым сознанием, сознанием в его естественном состоянии бесконечности, неразделимости, лучезарного блаженства и понимания без знаний.

Свет, свет – здесь и теперь. Но поскольку «здесь» безгранично, и «теперь» беспредельно, некому созерцать этот свет снаружи. Бытие стало сознанием, а сознание бытием. Из другого мира, откуда-то справа, снова донесся голос Сьюзины.

– Ты счастлив? – спросила она.

Мерцающие мысли и воспоминания окружало теперь все ярче разгоравшееся свечение. Не существовало ничего, кроме кристально чистого блаженства. Уилл молча, не открывая глаз, улыбнулся и кивнул.

– Экхарт называл это Богом, – продолжала Сьюзила. – Блаженство столь восхитительное, столь невообразимо сильное, что его невозможно описать. И в нем блистает и вечно пламенеет Бог.

Бог блистает и пламенеет... Это были такие до смешного верные слова, что Уилл расхохотался.

– Бог как дом, охваченный пламенем, – выговорил он, задыхаясь, – Бог Четырнадцатого июля.

Уилл вновь зашелся в приступе вселенского хохота.

Под закрытыми веками поток лучезарного блаженства тек вверх, будто перевернутый водопад; устремляясь вверх от единства к более совершенному единству, от безличности к более полному отрешению от самости.

– Бог Четырнадцатого июля, – сказал он из толщи водопада со смешком одобрения и понимания.

– А как насчет пятнадцатого июля? – поинтересовалась Сьюзила. – Это завтрашнее утро.

– Завтра не будет никакого утра.

Сьюзила покачала головой:

– Ты говоришь, как достигший нирваны.

– А что тут плохого?

– Чистейшая Духовность стопроцентной крепости – напиток для чрезмерно пристрастившихся к созерцанию. Бодисатвы разбавляли свою нирвану любовью и трудом в равном соотношении.

– Нет, лучше так, – настаивал Уилл.

– Ты хочешь сказать, что так вкусней? Вот почему это испытание превосходит всякую меру. И его жертвой может сделаться только Бог. Это плод незнания добра и зла. Что за небесный вкус у этого манго! Бог наслаждался им миллиарды миллиардов лет. И вдруг, откуда ни возмись, выскочил Homo sapiens, а с ним и познание добра и зла. Ты только что отдал небесного манго и потому способен посочувствовать Богу.

Скрипнул стул, послышалось шуршание юбок и деловитые щелчки и шорохи, значения которых он не мог распознать. Чем она занялась? Можно было просто открыть глаза и посмотреть. Но какая ему разница, что она там затевает! Самое важное теперь – это поток блистающего блаженства и понимания.

– От небесного манго к плодам познания, – сказала Сьюзила. – Но я постараюсь, чтобы переход был не трудным.

Послышался шипящий звук. Из пустот памяти пузырьки поднялись на поверхность сознания. На круглом столике стоял граммофон: Сьюзила включила его и поставила пластинку.

– Иоганн Себастьян Бах, – сказала она. – Музыка эта, несмотря на сложность композиции, необыкновенно близка к тишине и чистейшей, неразбавленной Духовности.

Шуршание крутящейся пластинки сменилось первыми звуками музыки. Вновь пузырьки воспоминаний стремительно всплыли на поверхность: Уилл узнал Четвертый Бранденбургский концерт.

Это был тот самый Бранденбургский концерт, который Уилл так часто слушал в прошлом; тот самый, и все же – совершенно иной. Вот Аллегро – он знал его наизусть. Но это Аллегро он не слышал никогда прежде. Ведь он уже не был больше Уильямом Асквитом Фарнеби. Это Аллегро входило в великое теперешнее Событие как неотъемлемая часть, как проявление единого потока лучезарного блаженства. Нет, это определение слишком приблизительно. Аллегро, в новом своем явлении, и было само лучезарное блаженство, постижение без знания, хотя и через слой знаков; оно было нераздельным постижением, разбитым на ноты и музыкальные фразы, но не утратившим своей всепостигающей сущности. Но музыка была ничьей. Она была одновременно здесь, везде и нигде. Музыка, которую он, как Уильям Асквит Фарнеби, слышал сотни раз, переродилась в осознание без осознающего. Вот почему он слушал ее сейчас словно впервые. Четвертый Бранденбургский концерт, звучащий ни для кого, был воплощением красоты и глубинного смысла; он был исполнен величия, которого Уилл не замечал прежде, когда был просто слушателем.

«Несчастный недоумок», – на поверхность всплыл пузырек иронического замечания. Бедный недоумок, который ни в одной области не говорил «да»; если дело не касалось эстетики. Так, будучи собой, он постоянно отрицал красоту и истину, которых жаждала его душа, Уильям Асквит Фарнеби был всего лишь испачканным фильтром, на выпуклости которого люди, природа и даже его любимое искусство появились темными от грязи и не донесшими себя полностью. Сегодня впервые он слушал музыку беспрепятственно. Меж душой и звуками, меж душой и рисунком мелодии и смыслом не наблюдалось теперь вавилонского столпотворения: музыка не тонула в биографических подробностях, они не вносили дисгармонии, не лишали слушателя восприимчивости. Сегодняшний Четвертый Бранденбургский концерт был чистейшим фактом – или, вернее, благословенным даром, не извращенным ни частными событиями жизни, ни мимолетными наблюдениями, ни застарелой глупостью, по причине которой несчастный недоумок, как и всякая особенная личность, не желал (а в искусстве, очевидно, и не мог) считать ответом «да» и отвергал дары непосредственного опыта.

Но сегодняшний Четвертый Бранденбургский не был просто никому не принадлежащей вещью в себе; каким-то непонятным образом он сделался также событием настоящего в его бесконечной длительности. Или – что еще более невероятно, поскольку он состоял из трех частей и исполнялся в обычном темпе, – он вовсе не имел никакой длительности. Над каждой музыкальной фразой властвовал метроном, но сумма всех фраз не измерялась продолжительностью минут и секунд. В концерте имелся темп, однако не было времени. Но что же было вместо времени?

«Вечность», – вынужден был ответить Уилл. Это было грязное метафизическое слово, которое благопристойно мыслящий человек не смеет произнести даже про себя, а не то чтобы вслух. «Вечность, братие, – сказал он вслух. – Вечность, трам-там-там...» Острота получилась довольно плоской. Сегодня слово это обладало столь же конкретным значением, как и любое другое, запрещенное общественным вкусом. Уилл опять засмеялся.

– Что тебя рассмешило? – спросила Сьюзила.

– Вечность, – ответил Уилл, – согласишься ли, она так же реальна, как и дерьмо.

– Превосходно! – отозвалась Сьюзила.

Уилл сидел неподвижно и слушал, следуя внутренним взором за переплетающимися потоками света, которые, вместе с потоками музыки, текли в бесконечности от секвенции к секвенции. И в каждой фразе донельзя знакомой мелодии открывалась небывалая красота, восходящая вверх, будто фонтан из множества струй, к новому откровению, столь же незнакомому и удивительному, как сама эта музыка. В едином потоке сливались солирующая скрипка и две флейты, переливы арфы и оркестр разнородных струнных. Раздельные, различные, обособленные – но неотделимые друг от друга, и каждый голос выявлялся по отношению к целому, частицей которого он являлся.

– О Господи! – прошептал Уилл.

Во, всей изменчивости переходов флейты тянули одну-единственную долгую ноту. Она была без верхних призвуков – ясная, чистая, божественно пустая. Нота (слово всплыло из глубины) чистейшего созерцания.

Это была еще одна вдохновенная непристойность, которая приобрела теперь конкретное значение, и ее также можно было упоминать без стыда. Чистейшее созерцание, незаинтересованное, не затрагивающее (разве только случайно) никаких моральных догм. В потоке поднимающегося света Уилл, как проблеск воспоминания, уловил сияющий профиль Радхи; девушка говорила о любви как о созерцании; и снова Радха – в позе медитации сидящая на полу, у постели умирающей Лакшми. Чистая, долгая нота – это смысл ее слов, слышимая суть ее молчания. Но вместе с божественной пустотой созерцательных флейт плыл насыщенный, вибрирующий, страстный звук скрипки. И флейты, и скрипку (переплетавших отрешенную созерцательность со страстной увлеченностью) пронзали сухие звуки, извлекаемые из струн клавесина. Дух и инстинкт, деятельность и созерцание – окутанные паутиной интеллекта. Дискурсивная мысль постигает их – но только внешне, в понятиях упорядоченного опыта, в корне отличного от того, что она тщится объяснить.

– Он – логик-позитивист, – сказал Уилл.

– Кто?

– Этот клавесин.

И сам Уилл, в пустотах своего сознания, мыслил как логик-позитивист – даже находясь в глубинах Света и текущей в вечности музыки. Как логик-позитивист, рассуждающий о Плотине и Жюли де Леспинас.

Музыкальный поток чуть изменился: долгую ноту размышления поддерживала теперь страстная скрипка, а две флейты вели тему активного действия, но играли по-прежнему отрешенно, – субстанция каждого голоса была отлита в новых формах. А вокруг трио – то наскაკивая, то удаляясь, – танцевал логик-позитивист: нелепый, но нужный всем, и пытался объяснить происходящее на неподходящем для этого языке фактов. В вечности, реальной, как дерьмо, Уилл слушал переплетающиеся потоки звуков и созерцал переплетающиеся потоки света, будучи – здесь, везде и нигде – всем тем, что видел и слышал. И вдруг видение света переменилось. Переплетающиеся потоки и видоизменения отдаленного постижения всяческих частных перестали представлять собой единый континуум. Потоки света преобразились в бесконечную последовательность отдельных форм. Формы эти продолжали нести в себе лучезарное блаженство нераздельного бытия, но уже обособленного, ограниченного, индивидуализированного. Серебристые, розовые, желтые, бледно-зеленые, голубые, как генцианы, – неисчислимо количество сияющих сфер выплывало из некоего скрытого источника форм и, вместе с музыкой, выстраивалось в узоры невообразимой сложности и красоты. Неистоцимый фонтан, струи которого складывались в осмысленные рисунки, в кристаллы живых звезд. Глядя на них, он жил их жизнью и жизнью музыки, которая была то же, что они, а они уже перерастали в иные формы, заполняя трехмерное внутреннее пространство и непрестанно меняясь в иных, бессчетных измерениях качеств и значимостей.

– Что ты слышишь? – спросила Сьюзила.

– Слышу зримое; и вижу слышимое.

– Как бы ты это описал?

– Это выглядит, – поразмыслив, ответил Уилл, – как сотворение. Но не ограниченное кратким сроком, а безостановочное, вечное сотворение.

– Вечное создание из ничто – нечто?

– Да.

– Ты делаешь успехи.

Если бы только слова приходили легче и не были такими бессмысленными, Уилл объяснил бы ей, что понимание без знания и лучезарное блаженство неизмеримо превосходят даже Иоганна Себастьяна Баха.

– Делаешь успехи, – повторила Сьюзила. – Но впереди еще долгий путь. Не хочешь ли открыть глаза?

Уилл упрямо покачал головой.

– Пора наконец уяснить для себя истинный смысл вещей.

– Я и так его вижу, – пробормотал Уилл.

– Да, ты видишь истинный смысл, – согласилась Сьюзила. – Но надо взглянуть и на вещи. Тогда словосочетание сложится полностью. Истинный смысл вещей. Открой же глаза, Уилл. Открой и смотри как можно внимательней.

– Хорошо, – сказал он и с большой неохотой, тревожимый предчувствием неминуемого несчастья, открыл глаза. Внутреннее сияние растворилось в иного рода свете. Неиссякаемый источник форм и цветных шаров, осмысленно выстраивающихся в ряды и сложные узоры, сменился статичной композицией вертикалей и диагоналей, плоских граней и цилиндров, вырезанных из материала, который казался живым агатом; а чуть дальше жила и дышала перламутровая гладь. Подобно прозревшему слепцу, впервые столкнувшемуся с таинством света и красок, Уилл смотрел и смотрел, недоумевая и изумляясь. Но через два десятка тактов Четвертого Бранденбургского на поверхность сознания из памяти всплыл пузырек. Уилл понял, что перед ним маленький квадратный столик, за которым – кресло-качалка, а за креслом-качалкой – пустое пространство выбеленной стены. Объяснение успокоило его; потому что в течение вечности, протекшей с момента, как он открыл глаза, и до момента, когда он понял, на какие вещи смотрит, Уилл переживал не таинственную, невыразимую красоту, но сияющую отчужденность, испытывая при этом метафизический ужас. И весь этот метафизический ужас заключался в двух предметах мебели и куске стены. Теперь страх улегся, но удивление многократно увеличилось. Как могут знакомые, обыкновенные вещи нести в себе это? Возможно ли такое? Да, возможно и даже очевидно.

Уилл перевел взгляд с конструкции из темно-коричневого агата на перламутровое пространство за ними. Сейчас он знал, что это «стена» – таково было название; но как факт опыта она представляла собой живой процесс, непрерывный ряд перевоплощений от штукатурки и известки в субстанцию сверхъестественного тела, в божественную плоть, которая, прямо на глазах, переходила от великолепия к великолепию. При помощи слов-пузырьков Уилл пытался объяснить себе, что это просто известковый раствор, но некий дух-творец неустанно продолжал порождать бесчисленное множество тончайших оттенков, которые были нежны и яркие; они возникали неведь откуда и пробегали, мерцая, по дивно сияющей коже божества. Дивно, дивно! Но рядом еще немало чудес, и немало слов-победителей, которые будут побеждены. Уилл посмотрел налево, и там (соответствующие слова всплыли немедля) увидел большой стол с мраморной столешницей, за которым они ужинали. Забурлили, поднимаясь, крупные пузырьки. Это дышащее откровение, называемое «стол», могло быть создано таинственным кубистом, неким вдохновенным Жуаном Грисом, наделенным душой Трэхерна и обладавшим даром создавать чудесные картины из живых жемчужин и прихотливых лепестков водяных лилий.

Еще чуть-чуть повернув голову, Уилл был потрясен сверканием драгоценных камней. Что за дивные драгоценности! Тонкие пластины изумрудов, топазов, рубинов, сапфиров, ляпис-лазури сверкали, выстроившись рядами – один над другим, – словно стена Нового Иерусалима. И потом пришло слово. Оно пришло потом, а не в начале; в начале были только драгоценности, витражные стекла, стены рая. И только потом – далеко не сразу – перед ним

предстало название: «книжный шкаф».

Насмотревшись на книги-драгоценности, Уилл поднял глаза и оказался в самой сердцевине тропического ландшафта. Откуда? Почему? Но потом он вспомнил, что, войдя в комнату (в другой жизни), заметил над книжным шкафом большую, дурно написанную акварель. Меж песчаных дюн и пальм устье реки, ширясь, впадало в море, а над горизонтом в бледном небе громоздились горы облаков. «Мазня», – всплыл пузырек слова. Творение не слишком одаренного любителя. Но сейчас это было неважно, потому что ландшафт перестал быть картиной и превратился в сам предмет изображения: настоящую реку, настоящее море, настоящий песок, сверкающий на солнце, и не менее реальные деревья под настоящим небом. Они были реальны до последнего штриха, реальны безусловно. И эта реальная река, сливающаяся с реальным морем, была его собственным растворением в Боге. В так называемом «Боге»? – всплыл иронический пузырек. Или в Боге(!) в модернистском, не буквальном смысле? Уилл покачал головой. Бог – это просто Бог, в которого нельзя верить, но который является самоочевидным фактом. Так же, как река – это одна из рек, а океан – это Индийский океан. Настоящие, а не фантастические. Настоящие река и океан – и они же – настоящий, существующий как факт Бог.

– Где ты теперь? – спросила Сьюзила.

– В небесах, полагаю, – ответил Уилл, не оборачиваясь, и указал на пейзаж.

– Все еще в небесах? Когда же ты спустишься сюда, на землю?

С наносов в глубине памяти поднялся новый пузырек:

– Нечто глубинное, что обитает в свете чего-то там...

– Но Вордсворт также говорил о тихой, грустной музыке человечности.

– К счастью, – откликнулся Уилл, – здесь, близ этой реки и пальм, нет ни одного человека.

– Тут даже животных нет, – с улыбкой согласилась Сьюзила. – Только облака и обманчиво-невинная растительность. А теперь погляди, что находится на полу.

Уилл посмотрел вниз. Волокна древесины представляли собой светло-коричневую реку, а река была клубящимся, живым изображением мировой божественной жизни. Посередине этого изображения помещалась его правая нога – босая под ремешками сандалии и пугающе объемная, подобно мраморной ступне античной статуи, на которую вдруг упал луч изыскательского фонарика. «Пол», «древесина», «ступня» – сквозь гладкость поясняющих слов просвечивала тайна, непроницаемая и на удивление внятная. Внятная тому постижению без знаний, которое он, несмотря на восприятие предметов и припоминание их имен, открыл для себя.

Вдруг краешком глаза он уловил, как что-то резко шевельнулось. Уилл понял, что открытость блаженству и постижению есть также открытость ужасу и слепоте неведения. Сердце его, будто птица в силках, забилося с такой силой, что он задрожал. С недоброй уверенностью приготовившись к встрече со Вселенским Ужасом, Уилл повернул голову и взглянул.

– Это одна из ящериц Тома Кришны, – ободряюще проговорила Сьюзила.

Яркость света не уменьшалась, но значение его сделалось иным. Сиянием зла лучились серо-зеленые чешуйки ящерицы, ее мутно-стеклянные глаза, темно-красное пульсирующее горло, защищенные броней ноздри и щелевидная пасть. Уилл отвернулся. Бесполезно! Вселенский Ужас излучало все, на что бы он ни глядел. Композиции таинственного кубиста превратились в запутанные механизмы, созданные для неких злых дел. Тропический пейзаж, глядя на который он переживал свое тождество с Богом, стал тошнотворной викторианской олеографией, сущим воплощением ада. Книги-драгоценности в шкафу с мощностью в несколько тысяч ватт излучали теперь зримую тьму. Но какой дешевкой казались теперь ему эти сокровища тьмы, какой невообразимой пошлостью! Золото, жемчуг и драгоценные камни обернулись рождественской мишурой, обманчивым блеском жести. Вокруг по-прежнему пульсировала жизнь, но в основе ее была заложена бесконечная пошлость. И все это – утверждала музыка – Всемогуший творит постоянно: вселенский Вулворт вкупе с

массовым производством ужасов. Ужасы пошлости и боли, жестокости и безвкусицы, идиотизма и злобы.

– Это не геккон, – сказала Сьюзила, – те такие милые, домашние. А этот – неуклюжий чужак из кровопийц. Но они, конечно, не сосут кровь. Их прозвали так за красное горло; а при возбуждении у них и голова краснеет. Глупейшее название. Посмотри! Она опять шевельнулась.

Уилл вновь посмотрел на ящерицу. Неестественно реальный, чешуйчатый ужас с черными пустыми глазами и пастью убийцы, с жадностью раздул кроваво-красное горло, неподвижно застыв на полу почти у самой ступни Уилла.

– Он заметил свой обед, – продолжала Сьюзила. – Взгляни-ка чуть левей, на край циновки. – *Gongylus gongyloides*, – продолжала она. – Помнишь?

Конечно же, он помнил. Богомолы – точь-в-точь такой же сидел тогда на его кровати. Но сейчас все происходило в другом бытии. Тот богомол был всего лишь причудливого вида насекомым. А теперь Уилл наблюдал пару жадно совокупающихся чудовищ, каждое в дюйм длиной. Бледно-голубые крылышки были испещрены розовыми пятнами и прожилками, а по краям обведены каймой; они то открывались, то складывались, словно лепестки цветка на ветру. Мимикрия под цветок. Но очертания насекомых были неподдельны. Что же касается сходства с цветком – и оно претерпевало изменения. Трепещущие крылышки казались боковыми придатками двух ярких эмалированных поделок, крохотных кошмарных призраков, миниатюрных механизмов для совокупления. Одно из этих чудовищ, самка, вытянув длинную шею, повернула плоскую головку, всю состоящую из ротовой щели и выпуклых глаз, и (о Господи!) принялась пожирать голову самца. Она сжевала пурпурный глаз и половину голубого лица. Левая часть головы упала на пол. Обкусанная шея, не обремененная весом глаз и челюстей, дико извивалась. Самка перекусила сочащийся обрубок, поймала его и принялась жевать, предоставив обезглавленному самцу без помех являть собою пародию на Арея в объятиях Афродиты.

Уилл, краем глаза уловив новое резкое движение, быстро обернулся и увидел, как ящерица подбирается к его ноге. Все ближе, ближе. Он в ужасе отвел глаза и тут же почувствовал прикосновение к большому пальцу и щекотку чуть выше. Щекотка прекратилась, но теперь нога ощутила тяжесть и прикосновение к коже чего-то жесткого и шершавого. Ему хотелось кричать, но голос пропал. Уилл был не в силах даже шевельнуться.

Музыка текла в вечности, переходя в финальное Presto. Ужас на марше, ужас, пляшущий в причудливых одеяниях в стиле рококо.

Воплощение неподвижности (помимо алого пульсирующего горла) – чешуйчатый ужас лежал поверх его ступни, впившись бесстрастным взглядом в предназначенную ему жертву. Переплетенные тела двух кошмарных призраков продолжали трепетать, будто лепестки цветка на ветру и сотрясаться в конвульсиях совокупления и смерти. Бесконечность длилась и длилась – и веселый танец смерти продолжался такт за тактом. Вдруг кожу Уилла царапнули крохотные коготки. Кровопийца перебрался с ноги на пол. Хищник вновь замер – и пока он так лежал, казалось, протекла целая жизнь. Неожиданно, молниеносным броском он метнулся через циновку. Щелевидная пасть открылась и захлопнулась. Протаскиваемые сквозь жующие челюсти, края окаймленного фиолетовым крылышка все еще трепыхались, как лепесток орхидеи под дуновением ветра; две ножки насекомого беспорядочно задержались, но тут же исчезли из виду.

Уилл содрогнулся и закрыл глаза; но перейдя из мира воспринимаемых вещей в память и воображение, Вселенский Ужас продолжил свое преследование. В флуоресцентном мерцании внутреннего света колонна блестящих, как жемчуг, насекомых и сверкающих рептилий маршировала по диагонали, слева направо, появляясь из скрытого источника кошмаров и шествуя к неизвестному, чудовищному завершению. Миллионы *Gongylus gongyloides* и бесчисленное множество кровопийц. Чтобы жрать и быть пожираемыми – на протяжении вечности.

И на протяжении вечности скрипка, флейты и клавесин – финальное Presto Четвертого

Бранденбургского – неустанно стремились вперед. Залихватский марш смерти в стиле рококо!левой-правой, левой-правой... Но как командовать шестиногими? И вдруг они перестали быть шестиногими; они сделались двуногими. Бесконечно длинная колонна насекомых превратилась в колонну солдат. Они маршировали, точь-в-точь как коричневорубашечники по Берлину, когда Уилл был там за год до войны. Тысячи и тысячи, с развевающимися знаменами, с амуницией, сверкающей inferнальным блеском, словно залитые светом экскременты. Их не меньше, чем насекомых, и каждый двигается четко, как механизм; заученно, как дрессированная собака. А лица, лица! Он видел когда-то эти тесно сомкнутые ряды в немецкой кинохронике – и вот они опять маршировали перед ним, сверхъестественно реальные, объемные, живые. Он увидел чудовищное лицо Гитлера – орущее, с открытым ртом. А потом – лица слушателей. Огромные лица идиотов, внимающих не раздумывая. Лица сомнамбул, спящих с широко раскрытыми глазами. Лица барочных святых, впавших в экстаз. Лица любовников на грани оргазма. Единый народ, государство, властитель. Единство пчелиного рая. Постигание без знаний – абсурда и дьявольщины. Камера крупным планом показывала их ряды, свастики, духовой оркестр и орущего на трибуне гипнотизера. И вновь коричневая колонна насекомоподобных двигалась в бесконечном марше под музыку ужаса в стиле рококо. Вперед, солдаты: нацисты и христиане, коммунисты и мусульмане; вперед, избранные народы, крестоносцы, воители священных войн! Вперед к нищете, к злодеяниям, к смерти. И вдруг Уилл увидел, во что обращается бесконечная колонна, достигнув цели: в трупы в корейской грязи, в бесконечные груды падали, разбросанные по африканской пустыне. И там же (картины сменяли одна другую с лихорадочной скоростью) Уилл увидел пять облепленных мухами трупов, которые лежали лицом вверх, с перерезанными глотками, во дворе алжирской фермы. А вот – двадцатью годами ранее – голая мертвая старуха, которую он видел в сложенной из булыжника, оштукатуренной хижине в Сент-Джон Вуд. И затем – его собственная серо-желтая спальня, и в зеркале на дверце шкафа отражения двух бледных тел, его и Бэбз, неистово совокупающихся под аккомпанемент воспоминаний о похоронах Молли и аккорды из «Парсифаля» – передача Штутгарт-Радио, ведущего «музыкальные пятницы».

Вновь сцена переменялась: обрамленное жестяными звездами и волшебными фонарями, появилось лицо тети Мэри; тетушка весело улыбнулась Уиллу – и тут же превратилась в хнычущую, злобную незнакомку, которой она стала в те ужасные несколько недель перед окончательным превращением в груды падали. Только что сияла любовь и доброта – но вот ставни закрыли, опустили засов, повернули ключ в замке – и тетя Мэри уже в могиле, а он в тюрьме своего одиночества, приговоренный к пожизненному заключению и рано или поздно к смерти. Агония пошлости. Распятие посреди дешевых рождественских декораций. Хоть с закрытыми, хоть с открытыми глазами – выхода не было. Выхода нет, прошептал он, и слова его обрели плоть, превратились в чудовищную несомненность злобной вульгарности, распространяющейся вширь и вглубь в адские бездны бессмысленных страданий.

И эти страдания – открылось ему с апокалиптической убедительностью – не были просто бессмысленными: они были повсеместными и бессрочными. Неотвратимо и ужасно было то, что, подобно Молли, тете Мэри и всем прочим, и он когда-то умрет. Он умрет, но никогда не исчезнет его страх, его тошнотворное отвращение к жизни, никогда не прекратятся муки раскаяния и ненависть к себе. Бесконечные в своей бессмысленности, страдания будут длиться и длиться. Во всех других отношениях человек смехотворно и жалко конечен – но только не в отношении к страданиям. Темный комочек плоти, называемый «я», способен страдать постоянно – и, несмотря на смерть, вечно. Страдания жизни и страдания смерти, тягостная рутина повседневной пошлости, и наконец – последнее распятие, отраженное и тем самым продленное и увеличенное поверхностями дешевых жестяных поделок. И эту боль нельзя передать – одиночество полное. Осознание существования есть осознание одиночества. Уилл был одинок в мускусном алькове Бэбз, как одинок человек, страдающий воспалением в ухе или с переломом руки, как одинок

умирающий от рака, постигший, что все конечно – и только страдание бессмертно.

Вдруг он понял, что музыка стала иной. Темп переменялся. *Rallentando*.⁴⁴ Близился финал. Конец всего и всех. Смерть, весело наигрывая, заманивала марширующих на самый край пропасти. Вот они уже на краю, занесли ногу над обрывом. *Rallentando, rallentando*. Последнее падение, падение в смерть. Четко, неотвратно зазвучали два аккорда, предваряющие исход. Ожидаемая доминанта – и, наконец, *finis*⁴⁵, громкая недвусмысленная тоника. Царапающий резкий щелчок – и наступила тишина. Слышно было, как вдали квакают лягушки и пронзительно-монотонно гудят насекомые. И все же – неким таинственным образом – тишину ничто не нарушало. Подобно мошкам в янтаре, звуки обволакивались прозрачным безмолвием – целостным, неизменным, отчужденным. Безмолвие углублялось с течением вечности. Тишина, прячущаяся в засаде, настороженная, притаившаяся тишина казалась куда более зловещей, нежели только что отзвучавший марш смерти в стиле рококо. Это была та самая пропасть, на край которой заманила его музыка. На край – и за край, в вечно длящееся молчание.

– Бесконечные страдания, – прошептал Уилл. – И невозможно ни пожаловаться, ни заплакать.

Скрипнул стул, зашуршала шелковая юбка. Он почувствовал движение воздуха и близость человеческого тела. Не открывая глаз, он угадал, что Сьюзила опустилась рядом с ним на колени. Руки ее коснулись его лица – ладони прижались к щекам, пальцы легли на виски.

Часы на кухне заскрежетали и начали бить. Один, два, три, четыре. В саду от порыва ветра зашуршала листва, закричал петух, и тут же вдали ему ответил другой, третий, еще и еще... Петухи продолжали неустанную переключку. Они словно соревновались друг с другом. К их хору присоединился новый голос – членораздельный, но не человеческий.

– Внимание, – зазвучало сквозь петушиный крик и гудение насекомых. – Внимание. Внимание. Внимание.

– Внимание! – повторила Сьюзила. Уилл почувствовал, как ее пальцы переместились ему на лоб. Легкое поглаживание от лба к волосам, от висков к середине лба; вверх – вниз, туда и обратно, заглаживая раздоры души, борозды растерянности и боли.

– Сосредоточься на этом! – Сьюзила сильнее надавила ладонями на его скулы, кончики пальцев легли поверх ушей. – На этом! – повторила она. – На сейчас! Твое лицо меж моих ладоней. – Давление ослабло, и пальцы вновь задвигались по лбу.

– Внимание! Внимание! – доносилось сквозь рваный контрапункт петушиного пения. – Внима... – Голос оборвался на середине слова.

Внимание к ладоням на его лице? Или к ужасному сиянию внутреннего света, к блеску жестяных звезд и – и в потоке вульгарности – к груди падали, некогда звавшейся Молли? К зеркалу в борделе? К бесчисленным трупам в грязи, пыли, щебенке?

И вновь появились миллионы ящериц и *Gongylus gongyloides*, марширующих колоннами, и восхищенные, истовые лица слушателей, нордических ангелов.

– Внимание! – послышался голос минаха с другой стороны дома. – Внимание!

Уилл покачал головой.

– Внимание к чему?

– К этому. – Она вонзила кончики ногтей в кожу его лба. – К «здесь» и «теперь». Нет ничего романтичней страдания или боли. Даже от укола ногтей. Бывает и похуже, но никакая боль не может длиться вечно. Ничто не вечно – всему есть предел. Кроме разве что Природы Будды.

Кончики пальцев вновь заскользили по его лбу и, наконец, коснулись век. Уилл

⁴⁴ замедляя (итал.)

⁴⁵ финал (лат.)

вздрагнул от смертельного страха: не собирается ли она выцарапать ему глаза? Ему захотелось отпрянуть, вскочить на ноги. Однако ничего не случилось. Понемногу его страхи улетучились, но осталось осознание близкого, непривычного, несущего в себе опасность прикосновения.

Чувство это было таким пронзительным и – но той причине, что глаза чрезвычайно уязвимы – таким всепоглощающим, что он позабыл и о внутреннем свете, и об ужасах пошлости, которые этот свет выявлял.

– Будь внимателен! – шепнула Сьюзила.

Невозможно было не быть внимательным. Пальцы ее мягко и ненавязчиво проникали в каждый уголок его сознания. И какими они были живыми, эти пальцы! Что за дивное, покалывающее тепло исходило от них!

– Это похоже на электричество, – удивился Уилл.

– Но, к счастью, – заметила Сьюзила, – нет нужды в проволоке. Ты касаешься – и тебя касаются. Полное единение, без посредника. Обмен жизненной силой – вот что это такое. – Помолчав, она добавила: – Как получилось, Уилл, что за все время, пока мы здесь, а для тебя за эти несколько часов протекли столетия, ты ни разу не взглянул на меня? Ни разу. Или ты боишься того, что можешь увидеть?

Немного подумав, Уилл кивнул.

– Наверное, – сказал он, – мне страшно увидеть что-либо, затрагивающее меня, побуждающее к неким поступкам.

– И потому ты занялся Бахом, картиной и Чистым Светом Пустоты?

– Ты не позволила мне смотреть на них, – пожаловался Уилл.

– Потому что в Пустоте нет проку, пока ты не научишься видеть Свет в *Gongylus gongyloides* – и даже в людях. Что гораздо трудней, – подчеркнула Сьюзила.

– Трудней? – Уилл подумал о марширующих колоннах, о телах в зеркале, о трупах с лицами, запачканными грязью, и покачал головой. – Да это просто невозможно!

– Нет, не невозможно, – настаивала Сьюзила. – Суньята предполагает каруна. Пустота – это свет, но это также и сочувствие. Жадные до созерцаний желают обладать Светом, не заботясь о сочувствии. Просто хорошие люди склонны сочувствовать, но не думают о Свете. Вопрос в том, как эти слова сделать словосочетанием. А теперь, – заметила она, – пора тебе открыть глаза и взглянуть, что в действительности представляют собой люди.

Кончики пальцев Сьюзилы скользнули с век на лоб, передвинулись к вискам и, погладив щеки, тронули уголки челюстей. Через секунду Уилл почувствовал, что они прикасаются к его пальцам. Сьюзила взяла его руки в свои. Уилл открыл глаза – и впервые после того, как он принял мокша-препарат, взглянул ей в лицо.

– Господи! – прошептал он. Сьюзила рассмеялась.

– Что, страшнее, чем ящерица-кровопийца? – спросила она. Но Уиллу было не до шуток. Нетерпеливо покачав головой, он продолжал смотреть. Глаза Сьюзилы скрывала таинственная тень, и вся правая сторона лица угадывалась только по полумесяцу света на скуле. Зато левая сияла золотистым, дивным сиянием – необыкновенно ярким, но не таким, как зловещее, пошлое блистание видимой тьмы, и не таким, как ослепительное сверкание зари вечности под его закрытыми веками или в книгах-драгоценностях, в рисунках таинственного кубиста и в видоизмененном пейзаже. Ныне он созерцал парадоксальное сочетание противоположностей: свет, лучащийся из тьмы, и тьму, гнездящуюся в сердцевине света.

– Это не солнце, – сказал он наконец, – и не Шартр. И, благодарение Богу, не inferнальная дешевка. Но это – все вместе взятое. И ты сейчас – это ты, а я – это я, хотя оба мы совершенно другие. Мы словно созданы кистью Рембрандта, но Рембрандта в пятитысячной степени.

Уилл помолчал – и, кивнув головой в подтверждение своих слов, продолжал.

– Да, это так. Солнце в Шартрском соборе сквозь витражи – это свет пошлости. И эта пошлость – камера пыток, концлагерь и склеп с дешевым рождественским убранством.

Пошлость видоизменяется и превращается в Шартр и ломоть солнца, а потом – в тебя и меня, написанных Рембрандтом. Ты понимаешь?

– Да, понимаю, – уверила она его. Но Уилл был слишком поглощен созерцанием, чтобы уловить смысл ее слов.

– Ты невероятно красива, – сказал он. – Но даже если бы ты была безобразна, – все равно, ты и тогда была бы созданием кисти Рембрандта в пяти тысячной степени. Но ты прекрасна, прекрасна. И тем не менее, я не хочу спать с тобой. Нет, неправда. Я хотел бы лечь с тобой в постель. Очень. Но если этого не случится, неважно. Я все равно буду любить тебя. Любить так, как должны любить христиане. Любовь, – сказал он, – любовь. Еще одно грязное словцо. «Влюбиться», «заниматься любовью» – это слова как слова. Но просто «любовь» – это такое неприличное слово, что я раньше не мог выговорить. Но сейчас, сейчас... – Уилл улыбнулся и покачал головой. – Поверишь ли, теперь я понимаю, что значит: «Бог есть любовь». Очевиднейшая чепуха! И все же это – правда. Твое лицо необыкновенно. – Он склонился над ней, чтобы рассмотреть получше. – Я словно вижу перед собой хрустальный шар, – недоверчиво добавил Уилл. – Постоянно меняющийся. Ты не представляешь...

Но она могла представить.

– Не забывай, – сказала Сьюзила, – что я тоже была там.

– И смотрела на человеческие лица?

Сьюзила кивнула.

– На собственное лицо в зеркале. И на лицо Дугалда, конечно. О Господи! Ведь в последний раз мы принимали мокша-препарат вместе. Поначалу он предстал, как герой невероятного мифа – индеец в Исландии или викинг с Тибета. Но потом неожиданно он стал Майтреей – Будущим Буддой. Да, Будда Майтрея. Какое сияние! Я как сейчас вижу...

Сьюзила осеклась, и Уилл вдруг увидел перед собой Воплощение Утраты, с семью мечами, пронзившими сердце. Созерцая боль в ее темных глазах, в уголках выпуклых губ, Уилл понял – и понимание это отозвалось болью в его сердце, – что рана была почти смертельной и все еще сочится кровью... Он сжал ее руки. Сказать было нечего: не нужно было ни слов, ни философских рассуждений; только таинство прикосновения, соприкосания кожи с кожей в текущей бесконечности...

– Так легко пасть духом, – сказала она наконец. – Слишком легко. И это бывает довольно часто.

Сьюзила глубоко вздохнула и распрямила плечи.

Сейчас Уилл видел ее совершенно иной. В этом хрупком существе, понял он, достаточно силы, чтобы противостоять любому страданию; и воля ее способна противиться всем кинжалам, которые судьба вонзает в это сердце. Теперь перед ним была не Mater Dolorosa, но опасная и невозмутимая темнокожая Цирцея. Ему вспомнилось, как тихо и певуче она рассказывала ему о лебедях, плывущих по водной глади, о соборе и облаках в голубой вышине. Уиллу показалось, что лицо Сьюзилы сияет сознанием триумфа. Он ощутил грозное присутствие ее силы и внутренне поежился.

– Кто ты? – прошептал он. Сьюзила молча взглянула на него и весело улыбнулась:

– Не бойся, я не самка богомола.

– Слава Богу! – сказал Уилл и почувствовал, как любовь, которую чуть было не вытеснил страх, вновь переполнила его душу.

– За что ты благодаришь Его?

– За то, что ты наделена даром чувственности.

Сьюзила вновь улыбнулась:

– Так, значит, это уже не секрет?

– С твоей властью, – продолжал Уилл, – и удивительной, необыкновенной волей ты могла бы стать Люцифером! Но, к счастью, провиденциально... – Указательным пальцем он осторожно коснулся ее губ. – Благословенный дар чувственности – в нем твое спасение. Половина спасения, – добавил он, вспомнив отвратительные, не имеющие никакого

отношения к любви безумства в розовом алькове. – Половина спасения, – продолжал он. – Потому что вторая половина заключается в осознании, кто ты есть в действительности. – Помолчав, он сказал: – Мария с клинками в сердце; Цирцея, Нинон де Ланкло и – в настоящий миг – Джулиана из Нориджа или Екатерина Генуэзская. Все они – в тебе, это верно?

– А помимо них добавь еще идиотку, довольно суетливую, но не слишком удачливую мать, и наконец – маленькую мечтательницу и педантку, каковой я была в детстве. Не забудь и про умирающую старуху, которая взглянула на меня из зеркала, когда мы с Дугалдом принимали мокша-препарат в последний раз. Потом в зеркало посмотрелся Дугалд и тоже увидел себя стариком. Но не прошло и месяца, как он погиб, – добавила Сьюзила.

Пасть духом так легко, так просто... Лицо ее, наполовину поглощенное таинственной тьмой, наполовину озаренное таинственным сиянием, вновь являло собой скорбную маску. Веки Сьюзилы, залитые мглой, были плотно сомкнуты. Она перенеслась в другое время и пребывала там одна, с кинжалами в сердце. За окном продолжали петь петухи, и еще один минах, на полтона выше первого, призывал к сочувствию.

– Каруна.

– Внимание. Внимание.

– Каруна.

Уилл снова тронул ее губы.

– Слышишь, что они говорят?

Сьюзила ответила не сразу. Наконец, сжав его указательный палец, она приложила его к своей нижней губе.

– Спасибо, – сказала она и открыла глаза.

– За что ты благодаришь меня? Разве не ты сама научила меня этому?

– А теперь ты учишь свою учительницу.

Словно два соперничающих гуру, каждый из которых расхваливает собственный путь духовной жизни, минахи кричали наперебой:

– Каруна! Внимание! – И наконец, голоса их слились в перекличке: – Рунаманиерунакамарувнима...

Доказывая, что он является неутомимым собственником всех своих жен и непобедимым соперником всех ложных претендентов, петушок в соседнем саду пронзительно возгласил свою божественность.

Сквозь маску страдания на лице пробилась улыбка; из замкнутого мира боли и воспоминаний Сьюзила вернулась в настоящее.

– Петел, – сказала она. – Я его очень люблю! Он точь-в-точь как Том Кришна, который просит всех пощупать его мускулы. А эти смешные минахи, старательно повторяющие советы, значения которых сами не понимают! Они такие же милые, как мой забияка.

– А как насчет представителя иного семейства двуногих? – поинтересовался Уилл. – Куда менее обожаемого...

Вместо ответа Сьюзила наклонилась и, схватив Уилла за волосы, притянула к себе и поцеловала в кончик носа:

– Пора тебе встать на ноги.

Поднявшись, она подала ему руку и помогла встать со стула.

– Скептическое кукареканье и бессмысленное повторение чужих слов, – сказала Сьюзила. – Вот что присуще иному семейству двуногих.

– А вдруг пес опять вернется на свою блевотину?

– Возможно, так оно и будет, – заверила она его. – Или ты вернешься вот к этому.

Уилл почувствовал, как кто-то шевельнулся у ног, и засмеялся.

– Старый знакомец, недавнее воплощение зла!

Сьюзила взяла Уилла за руку и подвела к раскрытому окну. Легкий ветерок, предвестник рассвета, шуршал в пальмовых ветвях. Под пальмами, зарывшись невидимыми корнями во влажную, остро пахнущую землю, рос куст гибискуса, щедро изобилующий

яркой листвой и пламенно-алыми раструбами; свет лампы из комнаты пробудил его от двойной тьмы – ночного мрака и тени, падающей от деревьев.

– Невероятно! – проговорил Уилл. Он вновь вернулся в Четырнадцатое июля.

– Невероятно, – согласилась она, – но факт, как и все в этом мире. А теперь, когда ты окончательно признал мое существование, я позволю тебе взглянуть, что творится в твоём собственном сердце.

Уилл стоял молча, не шевелясь, и вглядывался, вглядывался в бесконечную последовательность нарастающих и углубляющихся ощущений. Слезы наполнили его глаза и покатались по щекам. Достав носовой платок, Уилл вытер их.

– Ничего не могу с собой поделать, – извинился он. Он не мог ничего с собой поделать, потому что не было другого способа для выражения переполнявшего его чувства благодарности. Благодарности за то, что он живет и видит чудо, окружающее его, более того – участвует в нем. Благодарности за лучезарное блаженство и постижение без знаний, за то, что он, пребывая в единении с божественным единством, в то же время остается лишь тварью среди прочих тварей земных.

– Почему люди плачут от благодарности? – спросил Уилл, вновь доставая носовой платок. – Бог знает отчего. Но это так. – Пузырек слова поднялся из ила впечатлений от прочитанного. – «Благодарность – это сами небеса», – процитировал он. – Чистейшая чепуха! Но теперь я вижу, что Блейк попросту фиксирует факт. Да, благодарность – это и есть небеса.

– Но куда божественнее, – сказала она, – когда можно быть божеством на земле, и небожеством – в небе.

Вдруг, сквозь петушиный крик и кваканье лягушек, сквозь гудение насекомых и дуэт соперничающих гуру, донеслись звуки выстрелов.

– Что там происходит? – удивилась Сьюзила.

– Мальчишки устроили фейерверк, – весело ответил Уилл. Сьюзила покачала головой:

– У нас это не допускается. Да и пиротехники мы не держим.

На дороге близ Экспериментальной станции послышался рев тяжелых мотоциклов; он становился все громче и громче. Сквозь рев мотоциклов донесся скрежет и визг громкоговорителя.

Листья в бархатном полумраке напоминали тонкие пластинки нефрита и изумруда, и в сердцевине блистающих драгоценностей сверкали рубиновые остроконечные звездочки. Благодарность, благодарность. Слезы продолжали течь по его щекам.

Обрывки ревущего визга складывались в слова. Поневоле Уилл вслушался в них.

– Народ Палы, – услышал Уилл; затем речь вновь сделалась нечленораздельной. Визг, вой, скрежет, и опять: – С вами говорит ваш раджа... сохраняйте спокойствие... приветствуйте своих друзей из-за пролива...

Наконец, пришло узнавание:

– Это Муруган.

– И с ним – солдаты полковника Дайпы.

– Прогресс, – взволнованно выкрикивал громкоговоритель, – современная жизнь... – От каталога Сирза и Роубака он перешел к арсеналу рани и Кута Гуми. – Истина, – слышался визг, – ценности... подлинная духовность... нефть.

– Взгляни! – сказала Сьюзила. – Взгляни! Они приближаются к станции.

Сквозь прогалину меж двух островков бамбука Уилл увидел, как свет фар едущих друг за другом машин отразился на левой щеке каменного Будды у пруда лотосов и, минуя его, намекнул на блаженную возможность освобождения и вновь ушел в сторону.

– Трон моего отца, – ревел и визжал громкоговоритель, – присоединяется к трону предков матери... Два братских народа двинутся в будущее рука об руку... О нас узнают как о Едином Королевстве Рендана и Палы... Первый министр Объединенного Королевства, великий политический и духовный лидер, полковник Дайпа...

Цепочка фар исчезла за длинным рядом построек, и слышался лишь невнятный

отрывистый шум. Но вскоре огни опять появились, и голос обрел членораздельность.

– Реакционеры, – раздался яростный вой, – противники принципов перманентной революции...

– Они остановились у бунгало доктора Роберта, – в ужасе прошептала Сьюзила.

Громкоговоритель выкрикнул последние слова, огни погасли, шум затих. Наступила тишина и мрак; лягушки и насекомые продолжали свои беспечные монологи, и минахи не уставали выкрикивать советы:

– Внимание. Каруна.

Уилл взглянул на пылающий под окном куст и увидел Всетождественность мира и свое собственное внутреннее сияние вместе с Чистым Светом, который также (что несомненно!) являлся и сочувствием; Чистый Свет, который Уилл – как и многие другие – старался не замечать, и сочувствие, которому он предпочитал муки пошлости – не важно, терпел ли он их сам или причинял другим; предпочитал жалкое одиночество с живой Бэбз или умирающей Молли, одиночество с Джо Альдехайдом, муки одиночества в окружении огромной вселенной, где действуют надличные силы и царит всеобщая паранойя, вкупе с культом сатаны. И повсюду громко вопящие либо молчаливо авторитарные гипнотизеры, и вдобавок к этим правящим советчикам – отряды фигляров и торгашей, профессиональных лгунов и поставщиков оглуляющей развлекательности. Натасканные с колыбели, пребывающие под постоянным гипнозом, их жертвы, облаченные в мундиры, покорно продолжают маршировать и маршировать, убивая и умирая со сноровкой дрессированных пуделей. И все же, несмотря на более чем оправданный отказ говорить в ответ «да», непреложная истина состоит в том, что даже параноики способны сострадать, а поклонники сатаны – любить; и что единая природа всего проявляется и в цветущем кусте, и в человеческом лице; что существует свет, и этот свет – сочувствие. Послышался одинокий выстрел; за ним последовала автоматная очередь.

Сьюзила закрыла лицо руками. Она вся дрожала. Уилл обнял ее за плечи и притянул к себе.

Труд столетий был уничтожен за единую ночь. Но горестям приходит конец; это столь же непреложно, как то, что они случаются.

Заскрежетали стартеры, один за одним взревели моторы. Включились фары, и через минуту стало видно, как колонна медленно возвращается к автотрассе.

Из громкоговорителя зазвучала мелодия, воинственная и сладострастная, в которой Уилл узнал государственный гимн Рендана. Затем вурлицер выключили, и послышался голос Муругана.

– С вами говорит ваш раджа, – взволнованно объявил он.

После чего, *da caro*⁴⁶, повторилась речь о Прогрессе, Ценностях, Нефти, Истинной Духовности. Неожиданно, как и прежде, колонна машин скрылась из виду, и звуки из громкоговорителя стали не слышны. Минуту спустя машины появились опять – и дрожащий фальцет провизжал сообщение о первом министре нового Объединенного королевства.

Колонна медленно двигалась обратно: свет фар первой машины – на этот раз справа – осветил улыбающееся лицо просветленного. Луч скользнул и исчез во тьме. Но за первым появился второй Татхагата, а за ним – третий, четвертый, пятый. Проехала последняя машина. Но и неразличимый во тьме, просветленный оставался все там же. Рев моторов сделался тише, визгливая риторика превратилась в неразборчивое бормотание, и наконец неразбериха звуков смолкла. Вновь послышалось кваканье лягушек, неумолчное гудение насекомых, выкрики минахов:

– Каруна. Каруна.

И на полтона ниже:

– Внимание.

⁴⁶ с начала (итал.)

